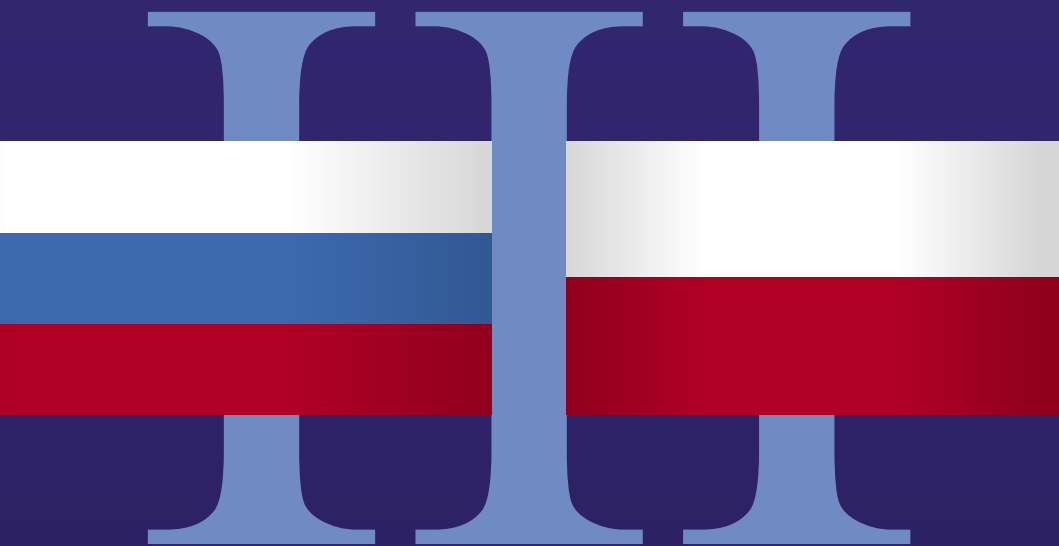


# Россия и Польша



память империй /  
империи памяти

Коллективная  
монография

электронное издание

ЭС



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРОЛОГИИ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

*Д. Спивак (председатель), А. Венкова (зам. председателя), А. Васильев,  
К. Вацьковски, А. Запалец, Д. Ивашинцов, А. Конева, К. Пиотровская, М. Степанов,  
А. Чикишева, В. Чистякова, С. Юзефяк.*

**Р76 Россия и Польша: память империй / империи памяти** / Отв. ред. Д. Л. Спивак. — СПб: Эйдос, 2013. — 325 с.

ISBN 978-5-904745-45-5

Издание выпущено при содействии Постоянного представительства Польской Академии наук при Российской Академии наук

Международная коллективная монография посвящена разработке фундаментальных проблем в современном российско-польском культурном диалоге. В числе ключевых тем книги — теоретико-методологические проблемы исследования исторической памяти, актуальные стратегии и тактики в изучении имперской истории и идеологии, узловые проблемы истории российско-польских отношений.

Монография предназначена как для ученых-гуманитариев, так и для более широкой читательской аудитории.

ISBN 978-5-904745-45-5

© Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, 2013  
© Коллектив авторов, 2013  
© Издательство «Эйдос», 2013



Санкт-Петербург 2013



## СОДЕРЖАНИЕ

*Д. Л. Спивак*

Память империй / Империи памяти. Предисловие ..... 6

### ЧАСТЬ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

*К. Заморски*

История жизни у истоков. Итальянские корни. Historia życia u źródeł.  
Włoskie korzenie ..... 10

*К. П. Шевцов*

Воображаемое прошлое. О памяти и категории прошлого ..... 19

*Н. Л. Мухелишвили*

Историческая память в диалоге православия и католицизма ..... 29

### ЧАСТЬ II. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ИМПЕРСКОЙ ИСТОРИИ И ИДЕОЛОГИИ

*Г. Л. Тульчинский*

Постимперский потенциал: связь прошлого и настоящего.  
Польско-российская компаративистика ..... 33

*Р. Ныч*

Новые словари — старые проблемы?  
Другие вопросы — новые ответы?  
Польские и российские дискурсы памяти в перспективе новой  
гуманистики ..... 39

*Б. В. Марков*

Имперское и национальное самосознание  
в истории России ..... 50

*А. П. Люсый*

Империкритицизм: память жанра ..... 66

### ЧАСТЬ III. УЗЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИСТОРИИ РОССИЙСКО- ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

*М. Б. Свердлов*

Имперские амбиции раннесредневековых государств:  
Русь и Польша в X–XI вв. .... 85

*В. Г. Вовина-Лебедева*

Образ польских интервентов в советской историографии смуты и его разрушение..... 94

*П. Крокош*

Рост мощи России в центральной и восточной Европе на стыке XVII и XVIII веков  
Wzrost potęgi Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie XVII i XVIII w..... 108

*Н. А. Хренов*

«Оттепель» в Российской Империи рубежа XVIII–XIX веков в оценках князя А. Чарторыйского..... 138

*М. М. Сафонов*

Речь Посполитая и декабризм ..... 162

*С. М. Фалькович*

Поляки в сердце российской империи: участие в экономической, общественно-политической, культурной и научной жизни Санкт-Петербурга в XIX — начале XX в..... 181

*А. Ю. Баженова*

Образ Императорского Варшавского университета в российской и польской историографической традиции..... 195

*В. А. Нардова*

Городовое положение для городов Царства Польского и его обсуждение в законодательных органах Российской Империи ..... 211

*И. В. Лукоянов*

Польское коло в Государственной думе..... 229

#### ЧАСТЬ IV. ДИАЛОГ РОССИИ И ПОЛЬШИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСТОРИИ ИСКУССТВ

*В. В. Прозерский*

Империя и архитектура..... 245

*М. Куля*

Собор св. Александра Невского исчез, дворец культуры остался до наших дней: улицы Варшавы как отражение отношений с Россией  
Sobór św. Aleksandra Newskiego padł,  
Pałac Kultury przetrwał ..... 257

*П. М. Степанова*

Система К. С. Станиславского как идеологическая основа развития  
польского театра 1950–1960-х годов.....284

*Д. Г. Вирен*

Деконструкция соцреалистического канона  
в польском кино 1970–1980-х.....292

*А. Питрус*

Ольга Чернышева: другая сторона империи.  
Olga Chernysheva: inna strona imperium .....301

*К. Р. Пиотровская*

Памяти профессора Р.Г.Пиотровского.  
Via scientiarum Р.Г.Пиотровского.....311

Сведения об авторах.....322

Д. Л. Спивак

Санкт-Петербургское отделение Российского института  
культурологии, Санкт-Петербург, РФ

## ПАМЯТЬ ИМПЕРИЙ / ИМПЕРИИ ПАМЯТИ. ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая коллективная монография содержит тексты докладов ряда ключевых участников III Международного конгресса «Россия и Польша: память империй / империи памяти», исправленные, дополненные и/или переработанные специально для настоящей публикации. Сам конгресс был проведен весной 2012 года на базе Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии, в историческом помещении Санкт-Петербургского Научного центра Российской академии наук на Университетской набережной (а также ряда других научно-образовательных и научно-просветительных учреждений города на Неве), и вызвал значительный интерес у представителей научной общественности России и Польши, а также ряда других стран<sup>1</sup>.

Конгресс продолжал магистральную линию форумов российских и польских ученых, начатую в 2009 году проведением в Москве Международной научной конференции «Россия и Польша: долг памяти и право забвения», и продолженную представительным Международным конгрессом, прошедшим под общим заглавием «Польша — Россия. Трудные вопросы. Три нарратива: история, литература, фильм» в Кракове осенью 2010 года. Конгрессы являлись стратегическим проектом Российского института культурологии, выступавшего в содружестве с Педагогическим университетом имени Комиссии народного образования в Кракове, и рядом других заинтересованных научно-исследовательских, научно-образовательных и научно-просветительных организаций обеих стран.

---

<sup>1</sup> Более подробную информацию о концепции и программе третьего (петербургского) Международного конгресса «Россия и Польша: память империй / империи памяти» можно найти в его официальных публикациях, см. напр: [http://www.spbric.org/index.php?action=polish\\_congress](http://www.spbric.org/index.php?action=polish_congress)

Ключевая тематика III Международного конгресса определялась местом его проведения: на протяжении первых без малого двух столетий своего исторического существования, Санкт-Петербург был столицей империи, оказавшей неизгладимое влияние на судьбы как русских, а с ними и прочих народов, входивших в круг «российской цивилизации», так и поляков. Петрограду же суждено было стать местом революции, давшей начало советскому государству и его первой столицей: как много раз уже отмечалось в научно-публицистической литературе, политика и идеология этой державы — как, впрочем, и более широких инициированных ей межгосударственных образований, типа Варшавского договора — по ряду существенных признаков проявляли признаки имперской ориентации.

Распад Советского Союза, произошедший не без влияния со стороны польской «Солидарности», в свою очередь, снова решительно перестроил положение в Восточной Европе, открыв для обоих государств новые возможности культурного и политического взаимодействия, богатый потенциал которого только еще начинает осмысляться и осваиваться. При переходе к постсовременности, особую роль для наших народов стали играть многообразные отношения с Европейским Союзом, с одной стороны, и с Содружеством независимых государств — с другой, воплощающих разные типы над- и межгосударственного устройства.

Необходимо отметить, что перспективу культурно-исторического сопоставления вполне допустимо и конструктивно будет продлить и далее, за пределы последних трех столетий: как помнят историки, Московское царство прилежно осваивало в свое время уроки Византийской империи, равно как налаживало взаимовыгодные отношения со Священной Римской империей. Что же касалось политики правящих кругов Речи Посполитой, то на ряде этапов своего исторического развития она могла проявлять черты квази-имперского типа, также заслуживающие углубленного анализа и переосмысления.

Вот почему, собравшись на свой новый конгресс в новом, «втором Петербурге», представители академической науки и политической мысли, литературы и искусства, общественных движений и масс-медиа России и Польши, а также ряда других заинтересованных стран и международных организаций, сосредоточили свое внимание в первую очередь на тех многообразных путях, которыми «имперской идее» суждено было встроиться в политическую и общественную, интеллектуальную и культурную жизнь Польши и России, проследить в ней черты как *operis contra naturam*, так и *artis magnaе*, и оценить ее значение для формирующейся на глазах культуры нового типа, основанной на принципах

культурного многообразия и всемерного освоения креативного потенциала как регионального, так и мирового культурного наследия

С должным вниманием была рассмотрена роль политики памяти / забвения в формировании и функционировании империй. В частности, ряд участников конгресса нашел целесообразным рассмотреть имперские образования в качестве значимых «мест памяти» в России и Польше. В рамках дискуссий конгресса нашло свое место и обсуждение общего вопроса о реконструкции «имперского хронотопа» как места общей, билатеральной памяти России и Польши. Уделив должное внимание когнитивным и поведенческим аспектам имперской памяти, ряд докладчиков нашел конструктивным затронуть также ее эмоциональную составляющую, выявить элементы ностальгии и рессентимента в отношении сближающихся в типологическом отношении эпизодов имперского прошлого в рамках обеих культур.

Говоря об империи, как явлении, принадлежащем предметным областям культурной памяти, коллективной индивидуальности и социального воображения, ряд участников нашли оправданным и целесообразным остановиться и на его имажинативной составляющей. В связи с этим, возникла необходимость более точного определения процессов и форм (пре/ре)медиатизации имперской памяти, традиционным и современным практикам ее художественной репрезентации. С особым вниманием участники отнеслись к феномену имперской памяти в рамках современной глобализации, «новой локализации / регионализации» и кризиса национальных идентичностей в целом.

Как видим, тематика петербургского конгресса была широкой и разнообразной, что легко можно проследить по материалам публикуемых в настоящем издании текстов. Что же казалось дискуссий конгресса, то они были живыми, открытыми и доброжелательными, что также вполне соответствовало лучшим традициям академической науки как Польши, так и России. Практически каждый доклад, помимо своей узкой исследовательской проблематики, затрагивал и обширную смежную тематику, включая иной раз достаточно смелые и далекие экскурсы во времени и пространстве — как географическом, так и идейном. Как следствие этого, предпринятое в настоящем издании разделение текстов на несколько крупных предметных областей представляется вполне условным и до известной степени факультативным. Как легко можно видеть, к таким областям мы отнесли изучение закономерностей организации [исторической] памяти (в контексте, в частности, так называемых «memory studies»), пост-имперские исследования, историю российско-польских отношений в целом — и, в частности, ее отражение в истории искусств. Текст книги завершается кратким очерком



жизни и творчества профессора Р.Г.Пиотровского — выдающегося лингвиста и культуролога, равно как ведущего представителя российской Полонии<sup>1</sup>.

Рабочими языками конгресса были русский и польский. Соответственно, представленные редакционной коллегии и публикуемые в составе настоящей коллективной монографии тексты также написаны на одном из двух этих языков. Редакционная правка была максимально корректной и во всех случаях была согласована с авторами. Дополняющие текст книги сведения об авторах воспроизводят текст биографических справок, предоставленных ими рабочей группе организационного комитета конгресса.

Представляя свой труд международному научному сообществу, равно как широкой читательской аудитории в целом, члены авторского коллектива, а также редакционной коллегии, выражают свою надежду на то, что им удастся таким образом внести свою лепту в дальнейшее расширение и углубление проводящегося в последние годы во все более конструктивном ключе российско-польского межкультурного диалога.

---

<sup>1</sup> Памяти профессора Р. Г. Пиотровского была посвящена особая дискуссионная панель конгресса, проведенная под эгидой Культурно-просветительного общества «Полония» им. А.Мицкевича, под названием «Польский микрокосмос в Санкт-Петербурге». Еще ранее, память выдающегося петербургского ученого почтили участники одного из пленарных заседаний второго (краковского) Российско-польского конгресса (2010), которое было проведено по инициативе и при участии петербургской Кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога.

# ЧАСТЬ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

**К. Заморски**

Ягеллонский университет, Краков, Польша

## ИСТОРИЯ ЖИЗНИ У ИСТОКОВ. ИТАЛЬЯНСКИЕ КОРНИ.

### HISTORIA ŻYCIA U ŹRÓDEŁ. WŁOSKIE KORZENIE

Z perspektywy zakończonej już pierwszej dekady XXI wieku wydaje się, że rozwój historiografii od momentu wykształcenia się historyzmu doświadczył dwóch znamienych zmian jakościowych. Pierwsza, to zwrot przełomu XIX i XX wieku spowodowany sporem o metodę (*Methodenstreit*) zapoczątkowany słynnym sporem Carla Mengera z Georgiem Simmlem. Doprowadził on do ukształtowania się modernistycznego paradygmatu uprawiania historii, zwanego w literaturze paradygmatem HSS/SSH (*Historie Science Sociale/Social Science History*). Druga zmiana ma miejsce prawie dokładnie w sto lat później i polega na wprowadzeniu do myślenia o historii najistotniejszych aspektów zwrotu językowego. Wyraziła się najpełniej w debacie określanej mianem tzw. „rewolucji postmodernistycznej” a była wyrazem i integralną częścią „zwrotu kulturowego”. Ośmielam się sądzić, że ten kolejny zwrot jakkolwiek bardzo przybliżył nam bardziej realne ramy postrzegania historii jako takiej, pozostał w sferze metod na etapie i poziomie niewiele odbiegającym od tego, co oba paradygmaty (historyzm i HSS) wniosły do arsenału badania przeszłości.

Jest jednocześnie oczywiste, że ani ukształtowanie się paradygmatu HSS, ani rewolucja postmodernistyczna nie nastąpiła nagle i nie można w rozwoju historiografii dziewiętnastowiecznej nie dopatrzeć się elementów dominujących na kolejnym etapie rozwoju. Podobnie można (i należy) moim zdaniem patrzeć na rozwój historiografii

w XX wieku. Po pierwsze, często wbrew szumnym zapowiedziom odrzucenia historii faktograficznej nie udało się całkowicie odejść od rudymetów uprawiania historii zdefiniowanych w epoce historyzmu. Z dzisiejszej perspektywy patrząc nie miało to zresztą sensu. Po drugie sam paradygmat HSS ulegał zmianom tak dalece, że znakomity historyk idei Donald Keelly widzi wiek XX w historiografii jako wiek trwałej innowacyjności, innowacyjności tak daleko posuniętej, że wręcz fetyszyzowanej fetyszem „nowej historii”, co raz to odkrywanej i jeszcze częściej ogłaszanej<sup>1</sup>.

Stoję na stanowisku, że efektem tego rozwoju w przyszłości będzie swoista fuzyja tego, co dzisiaj nazywamy i rozumiemy pod nazwą „antropologii historycznej” oraz niektórych idei epoki HSS. Chciałbym widzieć efekt tej fuzyji w koncepcie, który dla potrzeby własnej, może i trochę niezdarnie, nazywam „historią życia”. Ewa Domańska w jakimś sensie myśli podobnie w ostatniej swej książce nazywając ten rodzaj historii „historią egzystencjalną”. Wychodząc od pojęcia wprowadzonego do analiz historiograficznych przez Jerzego Maternickiego odróżnia ją od historii egzystencjalistycznej i tak określa jej zadania: „Jest to raczej perspektywa badawcza, która w dociekaniaх на temat historii oraz teorii i historii historiografii, prowadzonych przez pryzmat autorów i ich tekstów, szuka meandrów ludzkiej kondycji. Kieruje zatem swe zainteresowania на zawarte w tych dziełach egzystencjalne motywy, które je odsłaniają”<sup>2</sup>. Chcę jednak pozostać przy nazwie historii życia, bo — jak sądzę — lepiej oddaje ona cele badawcze, metody i źródła którymi należy się posłużyć aby dzieje ludzkiego życia przedstawić, bliżej jej do terminu *life history*. Poza tym lepiej jest osadzona w tradycji historiograficznej i tradycji innych nauk.

Pojęcie „historii życia” funkcjonuje в науках społecznych, в socjologii, demografii czy nawet в ekonomii. Nie jest там traktowane до końca jednakowo i jednoznacznie. Różni się od pojęcia *life history* przyjmowanej в науках przyrodniczych, szczególnie в ewolucjonistyce, co nie znaczy, że nie znajdzie się тутaj punktów stycznych.

W naszej dziedzinie wiedzy koncepcja historii życia за пункт wyjścia przyjmuje perspektywę życia człowieka. Nie odrzuca jednak odwołania się do ogólnokulturowych i społecznych jego konotacji tyle tylko, że postrzega je jako swoistą siatkę powiązań, sieć w którą uwikłane jest życie każdego człowieka. W tym sensie nie neguje sensowności badań над danymi antropometrycznymi ustalonymi в toku badań demograficznych, czy szczególnie demograficzno-historycznych, ale istotą swych poszu-

---

<sup>1</sup> Kelley D., Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, PWN, Warszawa, 2009, s. 217.

<sup>2</sup> Domańska E. Historia egzystencjalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s. 12.

kiwań czyni człowieka, któremu bez jego wiedzy i woli przypisano tą charakterystykę, którego potraktowano jako „człowieka średniego”. Nieufnie odnosi się do sztucznej perspektywy tradycyjnej narracji historycznej, tam gdzie możliwe jest życie idei bez odniesień do konkretnej ludzkiej egzystencji, istnienia partii politycznych dla partii politycznych, państwa dla państwa, kryzysu ekonomicznego dla samego kryzysu czy klimatu dla klimatu, wojny dla wojny.

Historia życia zjawiska społeczne kontekstualizuje odniesieniem do konkretnego ludzkiego doświadczenia. Historię życia interesuje bowiem przede wszystkim jak polityka instytucji wpłynęła na konkretne ludzkie życie, jak wpłynął na nie kryzys ekonomiczny czy klimatyczny, jak ludzie je odbierali i przeżywali. Historia życia bardziej się pyta o to, jak ideę człowiek przyjął i zrozumiał, jak dalece był w stanie kierować się jej zasadami aniżeli to, co można byłoby ewentualnie wywieść z samej idei.

W niniejszej pracy chcę zatrzymać się na dokładnej analizie pojęcia „historii życia” tak, jak je rozumieli włoscy historycy, kiedy na łamach „*Quaderni Storici*” deklarowali potrzebę rozwinięcia historii dokładnie w tym kierunku. Przedmiotem szczególnej analizy uczynię tu kultowy już tekst Carlo Ginzburga i Carlo Poniego *Il nome e il come: scambio inegale e mercato storiografico*<sup>1</sup>. Chciałbym zatem skupić uwagę na epizodzie dziejów historiografii powszechnej, który ma dla omawianego tu konceptu szczególne znaczenie. To bardzo ciekawe świadectwo powolnego odchodzenia od modernistycznej wizji historii.

#### KONCEPT HISTORII ŻYCIA CARLO GINZBURGA I CARLO PONIEGO. WARTOŚĆ MIKROHISTORII

Poni i Ginzburg napisali ten artykuł w momencie wielkiej dominacji konceptualnej szkoły Annales. Zdawali sobie sprawę z wielości idei i podejść metodologicznych annalistów. Dominujący wówczas koncept historii serii prowadził do postępującej kwantyfikacji badań historycznych<sup>2</sup>. Kwantyfikacja badań zaś wymagała stałego i poważnego wzrostu nakładów na naukę. Tak bliska Braudelowi idea pracy grupowej, grup badawczych, zbliżała historię kwantytatywną do wzorca nauk przyrodniczych. Badania masowe określały i preferowały wyraźnie jeden rodzaj źródeł, źródła o cha-

---

<sup>1</sup> „Quaderni storici”, no 40 (1979), s. 181–90. Dla potrzeb tych rozważań posługuję się angielskim tłumaczeniem, zob. Ginzburg C., Poni C. *The Name of the Game: Unequal Exchange and Historiographic Marketplace*, [in:] *Microhistory and the Lost people of Europe*. Muir E. and Ruggiero G. [red.], Baltimore University Press, 1991, s. 1–10.

<sup>2</sup> O koncepcie historii serii w momencie jego narodzin miałem okazję wówczas pisać. Por. Zamorski K, Czym jest historia serii Pierre Chaunu?, «*Zeszyty Naukowe UJ.Prace Historyczne*», z.66, R:1980, s. 139–150.

rakterze masowym pozostawiając na boku wiele innych bogatych, ale o odmiennym charakterze. Podejście długiego trwania doskonale odpowiadało strukturalizmowi i odkrywało struktury. Obaj uczeni nie negują wartości odkryć mechanizmów kierujących kryzysami maltuzjańskimi, co więcej twierdzą, że uczyniło historię nauką wg terminologii Kuhna dając jej paradygmat. Stwierdzają jednak, że podejście długiego trwania przy wszystkich swoich zaletach spycha na margines żywe ludzkie doświadczenia: „*Lived experience (undoubtedly an ambiguous expression) is largely relegated to the margins*”<sup>1</sup>.

Nadzieją napawały ich te nurty badań, które wyrosły niejako obok ówczesnego makrostrukturalnego mainstreamu. Zwrócili bowiem uwagę na rolę badań regionalnych, monografii małych miejscowości, analiz docierających do historii poszczególnych rodzin czy indywidualnych ludzkich doświadczeń. Mieli zresztą na gruncie włoskim już wówczas doskonale punkty odniesienia. Stanowiły je zarówno same „Quaderni Storici” jak i w szczególności Giovanni Levy z jego oryginalną propozycją mikrohistorii<sup>2</sup>. Rozwój perspektywy mikrohistorycznej i jej sukcesy zderzały się w ich przekonaniu z narastającymi wątpliwościami co do ustaleń makrohistorycznych wykazując ich małą przydatność w ukazaniu szeregu aspektów ludzkiego życia.

Już w chwili powstania tego artykułu Carlo Ginzburg i Carlo Poni widzą narastające więzy między historią i antropologią. Daleko tu jeszcze do prób dyskusji z Clifordem Geartzem, to stało się przede wszystkim udziałem Giovanniego Levy’ego. Zwracają natomiast uwagę na narastające zainteresowanie historią ze strony antropologów wskazując w szczególności Jacka Goody’ego i jego opublikowane wówczas (1977) „Poskromienie myśli nieoswojonej”<sup>3</sup>. Antropologia jest w stanie zaoferować historii- jak się obaj spodziewali- nowe i ciekawe problemy badawcze „od związków krewniaczych po kulturę materialną, od rytuałów symbolicznych po magię”<sup>4</sup>. Ponad wszystko dostrzegli wówczas wielką rolę antropologii w wyznaczeniu nowego obszaru odniesienia konceptualnego badań historycznych. Byli pewni, że „*Only an anthropology saturated with history Or, what is the same, a historiography saturated with anthropology will be adequate to the task of rethinking the multimillennial endurance of the species Homo sapiens*”<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Tamże, s. 3.

<sup>2</sup> O mikrohistorii Levy’ego zob. przede wszystkim: Górczan K. Giovanniego Levy’ego koncepcja mikrohistorii, „Historyka”, T.XXXVII-XXXVIII: 2007–2008, s.77–90; Domańska E. Mikrohistorie. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999 (wyd. drugie 2005).

<sup>3</sup> Goody J. Poskromienie myśli nieoswojonej, PiW, Wraszawa, 2011.

<sup>4</sup> Ginzburg C., Poni C. The Name...s.4.

<sup>5</sup> Tamże.

Dostrzegają problemy w konwergencji badań obu dyscyplin. Historia dysponuje bowiem ograniczonym i zdeterminowanym społecznie i kulturowo zasobem źródeł. Antropologia posługuje się bogatszym zestawem świadectw. Mówią o społecznym i kulturowym zdeterminowaniu źródeł mam na myśli znany doskonale historykom fakt, że źródła pisane są przez wieki wytworzone przez elity nie przez masy ludzkie, powstały dla celów instytucji, które to cele są często odmienne od badanych. Wytworzone w modernizmie metody badawcze skupiają uczonych na obserwacji serii danych. Ginzburg i Poni proponują jednak, żeby obok serii danych zawartych na przykład w rejestrach parafialnych dostrzec przede wszystkim to, co pozwala zauważyć losy jednostki, co odróżnia człowieka od człowieka; nazwisko.

Chodzi tu nie tylko o sukces modernistycznej przeciw metody rekonstrukcji rodzin stworzonej w demografii historycznej przez Louis Henry'ego. W zachowanych rachunkach i inwentarzach nazwa i nazwisko powinny stać się wyznacznikiem w poszukiwaniu sieci stosunków kulturowych, społecznych, ekologicznych. Ważny jest „nazwany” człowiek, ale i nazwy jego przyjaciół i wrogów, jego znajomych, wreszcie domu, nazwy miejsc w których przebywał, jego przydomki i określenia przypisywane przestrzeni, w której żył. Człowiek z jego indywidualnym doświadczeniem będącym wyrazem i wynikiem jego uwikłania w sieć powiązań. W swoistą grę. W ten sposób można zrekonstruować serię faktów wewnętrznie powiązanych ze sobą, odnoszącą się zazwyczaj do niewielkiej przestrzeni czasowej. Pamiętać jednak należy, że ciężar analizy w tak pojętych badaniach nie spoczywa w odkryciu serii, ale w wyznaczeniu sieci powiązań kontekstualizujących ludzkie doświadczenie. *„The lines that converge upon and diverge from the name, creating a kind of closely woven web, provide for the observer a graphic image of the network of social relationships into which individual is inserted”*<sup>1</sup>. Samą analizę można zacząć praktycznie w każdym z punktów sieci i poprzez jej określenie przechodzić od jednych do drugich powiązań. Punktem spajającym grę, jej centrum i podmiotem jest człowiek, a jego nazwisko jest nazwą gry.

Zamiarem w pełni świadomym stało się dla Ginzburga i Poniego stworzenie historii, która przełamie bariery historiograficzne wówczas silnie dostrzegane i dyskutowane. Chodzi o społeczną niedakwatność analizy jakościowej i ilościowej. Zwracają na nią uwagę posługując się stwierdzeniem Laurence Stone'a, iż w historiografii mamy do czynienia z dominacją jakościowych badań elit i ilościowych badań warstw niższych<sup>2</sup>. Chcieli odwrócić tendencję, upowszechnić — jak to nazywali- „perspektywę nieeli-

<sup>1</sup> Tamże, s.6.

<sup>2</sup> Warto na marginesie zauważyć, że w Polsce na ten aspekt ograniczeń źródłowych zwracał wówczas uwagę Witold Kula, zob. Tenże, Problemy i metody historii gospodarczej, PWN, Warszawa 1983.

tarną” („*nonelitist perspective*”). Marzyli o „prozopografii oddolnej” („*prosopography from below*”). Wyobrażali sobie, że postęp badań wyrazi się w wielu studiach typu „*case study*”. Szereg badań tego typu ukaże niuansowość i wyjątkowość historii życia. To pojęcie wyjątkowości zasługuje na pewne omówienie. Otóż poszukują tego, co inny włoski historyk Edoardo Grendi nazwał „zwykłym wyjątkiem”. Studiując na przykład wyroki sądów przed rokiem 1800 we Włoszech, ale przecież równie dobrze możemy to sobie wyobrazić i w Polsce, historyk spotyka się najczęściej, by tak rzec, ze zwykłymi przestępstwami, takimi jak bójki, drobne kradzieże. Rzecz jednak w tym, jak twierdzą Ginzburg i Poni, że te zwykle przestępstwa popełniane są przez niezwykle ludzkie indywidua. „Zwykły wyjątek” ma też w ich opinii i inne znaczenie. Docieranie do wyjątków pozwala historykom dostrzec wartość źródeł specyficznych, nie mieszczących się w pojęciu serii. Pozwala inaczej traktować informacje zawarte w źródłach masowych. „Zwykły wyjątek” może naprowadzić nas na odkrycie tych sfer niegdyśszego życia ludzi, które z perspektywy analizy typowej dla historyzmu ale i modernizmu są niezauważalne.

Perspektywie mikrohistorycznej w chwili pisania omawianego tu artykułu wyznaczają dwa „fronty” poznania. Twierdzą, że zredukowana skala obserwacji, konieczna przecież i tak typowa dla badań mikrohistorycznych, daje okazję do poznania „rzeczywistego życia”, nie do poznania w innych rodzajach historiografii. Z drugiej strony zaś otwiera historyka na badania niewidzialnej struktury, w której artykułuje się ludzkie życie. Między jednym i drugim aspektem poznania przeszłości zachodzi taka sama relacja, jak twierdzą Ginzburg i Poni, jak między językiem (*langue*) i słowem (*parole*) de Saussure’a. Struktury w których żyje człowiek są nieuświadomione, podobnie jak struktury języka, ale historyk musi zauważyć i czuć ową różnicę. Takimi przesłankami kierowani proponują zdefiniować mikrohistorię i historię w ogólności jako naukę o realnym życiu (*the science of real life/ scienza del vissuto*)<sup>1</sup>.

#### UWAGI DO KONCEPTU HISTORII ŻYCIA CARLO GINZBURGA I CARLO PONIEGO

Obaj Autorzy określają bardzo wyraźnie inspiracje filozoficzne do powstania swego konceptu. Odwołują się do Marksa i Freuda. Ideę poszukiwania „prawdziwej historii życia” opierają na stwierdzeniu Karola Marksa, który wg nich miał powiedzieć: „Ludzie tworzą swoją historię, ale nie wiedzą o tym”. Nie jestem specjalistą z zakresu filozofii marksistowskiej, choć bardzo lubię go czytać i cenię sobie jego teksty. Zapewne świad-

---

<sup>1</sup> Ginzburg C., Poni C. The Name..., s.8.

moim odczytaniu, ale zdanie w tym brzmieniu przeczytałem po raz pierwszy w omawianym tekście. Nie to jest jednak istotne. Wydaje się, że opinią oddającą pełniej Marksowskie przekonanie w tej mierze, często powtarzaną zresztą przy analizach jego koncepcji historii, jest słynne stwierdzenie zwarte w „18 Brumaire’a Ludwika Bonaparte”, gdzie Karol Marks pisze dosłownie: „Ludzie sami tworzą swoją historię, ale nie tworzą jej dowolnie, nie w wybranych przez siebie okolicznościach, lecz w takich, w jakich się bezpośrednio znaleźli, jakie zostały im dane i przekazane”<sup>1</sup>. To zdanie prawidłowo przytoczone oddaje pełniej zagadnienie sieci powiązań, które zdaniem Marksa decydują w istocie o ludzkim działaniu i które jednoznacznie determinują zakres jego wolności. Jak sądzę omawiany tekst historyków włoskich w istocie ideowo odbiega od sensu myśli Marksa. Historia „realnego życia” w koncepcji Ginzburga i Poniego dostrzega problem uwikłania doświadczenia człowieka w społeczną sieć powiązań, ale autorzy, jak się wydaje, bardziej intuicyjnie niż świadomie, zakładają rodzaj współzależności ludzkiego działania i społecznego otoczenia tego działania. Piszę intuicyjnie, bo świadomie chcą pozostać w nurcie myśli marksistowskiej. Marks tymczasem nie pozostawia wątpliwości, iż to sieć powiązań a nie ludzka wola decyduje w tym przypadku.

Ta myśl prowadzi nas zresztą i w kierunku drugiej istotnej ideowej przesłanki w rozumowaniu Ginzburga i Poniego. Otóż, podejmują oni polemikę z historiografią współczesną artykułowi wychodząc z przekonania, że nie jest ona w stanie dotrzeć do myśli, doświadczeń i wizji świata milczącej w dziejach większości społeczeństw. Chcą postawić przed historykiem zadanie przełamania tej bariery. Twierdzą, nie bez podstaw, że stan źródeł archiwalnych przynajmniej do epoki nowożytnej przy zmianie punktu ciężkości analizy umożliwia przełamanie tej bariery milczenia. Różnie dzisiaj możemy na te sprawę spojrzeć. Istotą idei historia życia w moim przekonaniu jest obecnie nie klasowo warunkowana potrzeba poznania doświadczeń człowieka w przeszłości, ale konieczność pełniejszego poznania człowieka jako takiego. Jego sytuacja społeczna, ekonomiczna, jego otoczenie kulturowe ma znaczenie dla układu sił, dla gry w której zatopione jest jego życie, w ludzkim działaniu i wynikającym z niego doświadczeniach, jakie doznaje w sieci powiązań, ale nie może być traktowana jako determinanta ludzkiej wolności. Historia życia musi koncentrować się na indywidualum i na osobie ludzkiej, jak tego chcą Autorzy, na nazwisku, na konkretnym ludzkim życiu. Nie powinna taka historia przyjmować klasowych wyróżników tematu, choć wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak pociągające dla warsztatu historyka jest przełamanie bariery milczenia otaczającego życie tak wielu ludzi w przeszłości.

---

<sup>1</sup> Marks K. 18 Brumaire’a Ludwika Bonaparte, Książka i Wiedza, Warszawa 1949, s. 15.



Jeśli dalej iść tym tropem, to można byłoby powiedzieć, że Carlo Ginzburg i Carlo Poni zauważyli wśród problemów w swoim kultowym tekście dla współczesnej mikrohistorii zagadnienie metodologicznie najważniejsze. Chodzi mianowicie o wzajemną relację tego, co oni nazywają relacją między „formą” a „substancją”, między „*langue*” a „*parole*”. Skupienie się na sieci powiązań, wyłącznie na sieci powiązań, wyzbycie się indywidualnego kontekstu zdarzeń jest słabością analizy makrostrukturalnej. Z kolei pozostanie na poziomie indywidualnego ludzkiego doświadczenia w przeszłości jest wyzbyciem się czynnika racjonalnego, tłumaczącego i wyjaśniającego ludzkie zachowania w przeszłości. Cenić w moim przekonaniu trzeba, że problem ten obaj historycy zauważyli. Pozostaje on do dzisiaj jednym z istotnych punktów kontrowersji co do przyszłości mikrohistorii. Stawia pytanie, czy rzeczywiście mikrohistoria osłabiając zainteresowania perspektywą makro nie stawia swej przyszłości pod znakiem zapytania? Poni i Ginzburg są przekonani, że nie. Że przyjęcie strategii ograniczonego pola obserwacji skróci niewątpliwie okres, bo niekoniecznie zakres obserwacji, ale poprzez powtarzalność badań wniesie do naszej wiedzy szereg informacji nieskrępowanych sztywnymi ramami, tak modnych w modernizmie, modeli rozwojowych.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego zdecydowałem się na analizę tego artykułu. Jest on w moim przekonaniu wspaniałym źródłem do dziejów najnowszej historii historiografii. Tekst ten Carlo Ginzburg napisał mając za sobą wspaniałe prace, dzisiaj uważane za klasykę mikrohistorii. Opublikował już przecież „*Il Benandanti*” (1972) czy „*Ser i robaki*” (1976) <sup>1</sup>. Carlo Poni z kolei miał za sobą pionierskie wydanie materiałów z sesji naukowej poświęconej wzajemnym relacjom historii i antropologii („*Fonti orali*” 1978) <sup>2</sup>. Czytając ten tekst można doskonale analizować warsztat badawczy obu historyków. Powiedziałbym, że jest to szczególnie przydatna lektura dla rzeszy współczesnych zwolenników mikrohistorii zainspirowanych „*Serem i robakami*”. Gdy Ginzburg i Poni omawiają aspekty techniki pracy ze źródłem chcąc nie chcąc ma się przed oczyma całe partie „*Sera i robaków*” czy „*Il Benandanti*”. Stwierdzenie to nie jest bez znaczenia. Historia ‘realnego życia człowieka’ nie jest tu wyłącznie konceptem. Posiada za sobą wielkie i ciekawe doświadczenia badawcze.

Pozostaje na koniec jeszcze jedno. Omawiany tekst oddaje w całej pełni ewolucyjny charakter przemian historiografii. Jakkolwiek prace Ginzburga zostały ogłoszone w wielu środowiskach początkiem „nowej historii”, ton jego wypowiedzi i punkty odnie-

<sup>1</sup> Ginzburg C. *Il benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, G. Einaudi, Torino, 1972.; Tenze: *Il formaggio e i vermi: il cosmo di un mugnaio del '500*, G. Einaudi, Torino, 1976..

<sup>2</sup> Poni C, *Convegno internazionale antropologia e storia fonti orali*, F. Angeli, Milano, 1976.

sienia usytuowane są nie w przyszłości, ale tkwią głęboko w doświadczeniu metodologicznym epoki. Tak też, nie znajdziemy w omawianym artykule ani grama wątpliwości co do tego, że historia jest nauką społeczną, znajdziemy poważne acz krytyczne podejście do historii serii i podziw dla tak modernistycznej historiografii jak choćby ta wyrosła w oparciu o metodę Henry'ego. Nie ma to jednak większego znaczenia. Dla mnie „The Name of the Game” wyznacza przede wszystkim istotny punkt odniesienia dla konceptu „historii życia”.

К. П. Шевцов

Санкт-Петербургский государственный университет

## ВООБРАЖАЕМОЕ ПРОШЛОЕ. О ПАМЯТИ И КАТЕГОРИИ ПРОШЛОГО<sup>1</sup>

1. Вспоминая, мы отсылаем к моменту времени, который завершен, отступил в прошлое и отсутствует. Образы ушедшего, следы и знаки, — все это обслуживает работу воспоминания, но в конечном итоге неразрешимой трудностью остается отношение памяти к тому, чего нет, отсутствующему событию прошлого. Проверка свидетельских показаний, уточнение данных памяти с помощью записей или инсценировки случившегося, упираются в невозможность подтверждения самого опыта прошлого, а вместе с тем — и любой мысли, претендующей на удержание прошлого в действительности настоящего. Закономерно, что недоверие и подозрительность в отношении памяти часто сопровождаются признанием ее несомненной, прямо-таки безоговорочной надежности, и как быть иначе, если именно память и определяет осуществление любых проверок, распознавание образов и интерпретацию знаков.

В философии Нового времени, занятой инвентаризацией познавательных способностей и поиском принципа ясного и надежного знания, память утрачивает ренессансный ореол магического искусства, обращающего душу к припоминанию первопричин, но уже Декарт, при всем своем недовольстве обманчивой памятью, вынужден признать, что действие памяти обладает собственной самоочевидностью, и хотя, если возникает сомнение в том, хорошо ли она служит, стоит пользоваться записями, само оперирование именами, а вместе с тем и знание универсалий, опирается на деятельность интеллектуальной памяти<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Исследование осуществлено при поддержке гранта РГНФ, № гранта: 12-03-00192а

<sup>2</sup> Лживой Декарт называет память во втором из своих *Размышлений*. О достоверности памяти и назначении интеллектуальной памяти см. *Беседу с Бурманом* [7, с. 449].

Локк и вовсе видит в памяти условие тождества Я, хотя ему прекрасно знакомы сомнения относительно истины воспоминаний. Сознание «не есть один и тот же отдельный акт», в нем настоящее связано с прошедшим, и «почему какая-нибудь мыслящая субстанция не может представить себе в качестве своего собственного действия то, чего она никогда не делала и что, быть может, было сделано каким-нибудь другим существом» [10, с. 390]. В этом вопросе ощущается не меньшая опасность, чем в декартовском предположении о кознях злого гения, но Локк спешит признать, что этот неразрешимый вопрос требует веры в «благость Бога», которая, таким образом, и есть другое имя нашего безусловно доверия памяти, каким бы наивным оно ни казалось законченному скептику.

Еще более определенно вопрос ставит Лейбниц, когда признает, что воспоминание легко подвержено ошибке, если пытается вернуть нас к отдаленному прошлому, но «непосредственное воспоминание или же воспоминание о том, что произошло непосредственно перед теперешним моментом, т.е. сознание, или рефлексия, сопровождающее внутреннее действие, не может естественным образом обмануть, в противном случае нельзя было бы быть уверенным даже в том, что мы думаем о том или другом, так как это тоже говорят себе только о прошлом действию, а не о том действии, которое это говорит. Но если непосредственный внутренний опыт недостоверен, то нет такой фактической истины, в которой можно быть уверенным» [9, с. 239]. И в самом деле, поскольку работа памяти определяет рефлексия настоящего, ее истина подтверждается уже тем, что есть вообще какая-то истина, будь то фактическая истина опыта или логическая истина исчисления, но стоит нам обратиться к самому по себе прошлому, вопрос об истине теряет прежнюю определенность, а вместе с этим ослабевает и наше доверие к памяти.

Стоит напомнить, что в *Первоначалах философии* Декарт признает все свои гипотезы по поводу изначального состояния мира заведомо ложными, поскольку они не соответствуют свидетельству Библии, и пусть это признание не говорит ни о чем ином, кроме политической осторожности самого Декарта, оно вполне гармонирует с той моделью знания и мира, в которой прошлое принципиально неотлично от мифа. При этом нет никаких оснований принижать значение мифа, если он способен рассказывать не только о прошлом, но и о самом настоящем, что собственно и утверждает Декарт в оправдание ценности предложенных им гипотез [6, с. 390]. И если теперь отступить к более древней мифологеме памяти, к платоновскому анамнезису, то хотя мы и здесь найдем ту же подозрительность в отношении неразборчивых знаков на восковой дощечке памяти, и связанных с ними ошибок узнавания, на первом месте окажется не

эта подозрительность, а, напротив, совершенное доверие Платона к мгновению припоминания, а вместе с тем и к мифу о странствии души, каким бы фантастическим или даже ложным в своих деталях ни согласился признать его автор.

2. Мы имеем дело как бы с двумя видами памяти. Одна настолько встроена в нашу концепцию истины и настолько необходима на практике, что исключает всякое сомнение в собственной надежности, другая же, напротив, настолько отделена от нее своим вниманием к прошедшему, что установление ее собственной истины кажется делом почти невозможным. Попыткой разрешения этой проблемы можно считать аристотелевский анализ памяти, явным образом направленный против платоновского мифа о припоминании. В книге *О памяти* Аристотель определяет эту способность души как часть общего чувства, а еще точнее — как часть воображения, которое фиксирует и отслеживает свои образы в последовательности временного порядка от прошлого к настоящему [3, с. 139–141]<sup>1</sup>. Настоящее (в его чувственном, материальном смысле) не может быть универсальной истиной природы, находящейся в непрерывном движении, в динамике причинно-следственных отношений, но при этом только настоящее действительно есть, тогда как прошлое значимо лишь отношением предшествования к настоящему. Традиция, начатая Аристотелем, получит свое дальнейшее развитие в философии Канта, в которой память и вовсе изгоняется из числа познавательных способностей, а проблема прошлого разрешается в деятельности воображения и порядке временной последовательности как формы чистого созерцания<sup>2</sup>. Подчинение внутреннего чувства деятельности рассудка позволяет оправдать *прошлое*, но исключительно в качестве *конструкции* самого разума.

Еще более радикальную форму подчинения (и оправдания) прошлого предложит Гегель. Поскольку Гегель отталкивается от внутренней истории разума, задача присвоения и подчинения прошлого приобретает совершенно новый смысл и уже не ограничивается установлением внешней хронологии, порядка последовательности в смысле Канта, но требует введения прошлого в символический универсум настоящего. В *Философии духа* Гегель, прежде всего, отказы-

---

<sup>1</sup> В связи с этим сведением памяти к части воображения можно вспомнить и знаменитое сопоставление в *Поэтике* истории и трагедии: трагедия дает пример общего, тогда как история занимается лишь частными случаями прошедшего.

<sup>2</sup> Подобно Аристотелю, Кант подчиняет память воображению, различая в последнем собственно репродуктивную способность, воспроизводящую эмпирический материал прошлого, и продуктивную способность, определяющую наше созерцание времени [8, с. 188].

вает в первичности формам пространства и времени. Разделение чувственности и рассудка, значимое для Канта, оценивается Гегелем как внутренняя разорванность духа, как умопомешательство, которое впервые обращает дух к самому себе и заставляет его искать способ пока еще бессознательного господства над многообразием опыта. Такой формой господства, всеобщей и в то же время единичной, устойчивой в целом и изменчивой в частностях, должна быть признана привычка, которая распределена во временности опыта, но в отличие от кантовской формы времени не проводит абсолютного разделения предшествующего и последующего, а как раз наоборот делает прошлое собственностью настоящего, удерживает его в работе восприятия или навыках тренировки и обучения<sup>1</sup>.

Чем является привычка в области простого чувства себя, тем в сфере духовного являются воспоминание и память. В согласии с Аристотелем и Кантом, Гегель видит в воспоминаниях единичные образы прошлого, однако, ставя выше воспоминания память, Гегель предназначает этим образам стать в памяти материалом совершенно нового осуществления, а именно необходимым условием рождения символического. Уже воображение способно к некоей ограниченной символизации, поскольку соединяет знак и значение ассоциативным отношением сходства, но эта связь все еще удерживает дух в рабстве у чувственности, единичного. Чтобы ворваться в область свободы, необходимо совершить беспрецедентный акт, совершенно свободный и произвольный акт связывания внешне безразличных друг к другу и не имеющих никакого сходства значений и знаков. Именно здесь свобода, язык и память рождаются в едином движении и образуют существенное сцепление. Гегель указывает как на особое достоинство звуковой стихии слова на то, что это средство дано всегда в своем исчезновении, в мерцании, отзвуке. Это дает возможность говорящему всматриваться *сквозь* словесную оболочку в само значение слова, и при этом наделяет внутренним различием, своего рода внутренним экраном, позволяющим видеть самого

---

<sup>1</sup> Привычка является результатом «преодоления существующего в помешательстве внутреннего противоречия духа, посредством снятия полной разорванности нашей самости. Это у-самого-себя-бытие мы и называем привычкой» [5, с. 206]. «Привычка есть механизм чувства самого себя, подобно тому как память есть механизм интеллигенции». [5, с. 202]. Определение привычки у Гегеля формально вполне соответствует определению, которое Канта дает рефлектирующей способности суждения в третьей *Критике*. Речь идет о подчинении единичности ощущений формальной всеобщности рефлексии, которая не вносит еще никакого определенного порядка (даже пространства и времени), но лишь связывает многообразие опыта в единство простой определенности, в качестве первой еще бессознательной идеальности созерцания [5, с. 201].

себя в каждом видении другого. Слово образует ту ускользающую границу духа, на которой субъект непрерывно исчезает и припоминает самого себя, «внутреннее внешнее» [5, с. 303], в котором прошлое как завершение и исчезновение полностью подчиняется членораздельности символического порядка, внутреннему государству духа.

Попытка придать памяти и прошлому статус истины приводит, таким образом, к полному подчинению прошлого актуальности разума и его растворению в символическом порядке настоящего. То же самое происходит с субъектом памяти в философии Ницше. В его рассуждениях о происхождении чувства долга и нечистой совести из *Генеалогии морали* мы находим своеобразную версию кантовской концепции памяти как разновидности воображения. Ницше говорит о субъекте морали как продукте варварских мнемотехник, вписавших напоминание о долге непосредственно в человеческое тело. Длинная воля, позволяющая человеку обещать и держать свое слово, рождается из жестокого подчинения чувственности, которое имеет много общего с насилием кантовского рассудка над внутренним чувством. Буквально о насилии рассудка над чувством Кант говорит в своей третьей *Критике* в связи с переживанием возвышенного, а во второй *Критике* речь идет о пробуждении чувства долга из страдания. Безусловно, источник и природа насилия мыслятся Кантом и Ницше совершенно по-разному, но функции мнемотехники в ницшеанском смысле вполне совпадают с функцией кантовской формой времени, поскольку именно она делает человека переживающим и измеряющим время, трансформирующим прошлое во внутренний голос долга перед настоящим и будущим.

3. Программа широкого включения прошлого в символический порядок настоящего в XIX-XX вв. способствовала формированию исторического знания и обосновывала претензии истории на строгую научность, но вместе с ней появилась и постепенно обрела силу совершенно иная концепция, в основе которой лежит идея не символической, а скорее фантазматической природы прошлого, прошлого как грезы, а не голоса долга, скорее как утраты и возможности, нежели обладания или обетования. Оставим в стороне размышления Ницше о вечном возвращении, или обращение к личной истории в духе Фрейда и различных версий психопатологии. Обратимся к учению Бергсона о длительности и его концепции чистого прошлого, тем более что Бергсон предлагает и свой взгляд на соотношение двух видов прошлого или, что здесь то же самое, двух видов памяти. В *Материи и памяти* мы находим знакомое нам понятие привычки, которое так же, как и у Гегеля, служит способом подчинения многообразия опыта

целям действия. Механичность привычки обеспечивает повторение прошлого в настоящем, но, поскольку речь идет о действии, это присвоение не замирает в завершенной форме господства настоящего, а раз за разом разворачивается в порядок повторения временных моментов, как это предполагалось кантовской формой времени. Этой форме памяти соответствуют навыки измерения времени, поскольку здесь опыт времени опосредован опытом пространства, символизирован пространственными объектами и процессами и, в конечном итоге, подчинен настоящему. Однако, с точки зрения Бергсона, даже повтор однообразных мгновений предполагает непрерывность опыта, определяемую как длительность, как слияние отдельных моментов в единстве образа, в своеобразной грезе прошлого, лишенной пространственной определенности и фиксированного места во времени [4, с. 269].

Эта греза, конечно, не отделена абсолютной границей от деятельного настоящего и его привычек. Бергсон вполне определенно указывает на ту связь, которая соединяет два вида памяти, а вместе с тем и два вида прошлого. Его размышления в какой-то мере продолжают мысли Ницше о субъекте морали, о фигуре так называемого *ressentiment*. «Ресентимент» Ницше — человек, который не способен действовать сам, но при этом все его существо определяется реактивностью по отношению к чужим действиям, накоплением неотыгранной силы, направленной тем самым на самого субъекта. Бергсон создает свою модель природного «ресентимента», придавая ей совершенно иную направленность и исключительно положительный смысл. В отличие от чисто пространственных элементов материи, лишенных собственной активности и поэтому существующих лишь в реакции на бесконечное множество внешних воздействий, живой организм способен свои реакции тормозить, выбирая приоритетные действия и отсрочивая все остальные. Таким образом, каждое действие несет в себе виртуальную глубину действий не совершенных, но все еще возможных, нечто вроде непрерывности возможных развилок и выборов, позволяющих мгновенно ориентироваться в изменчивой среде и принимать неординарные решения [4, с. 179]. Эта виртуальная глубина действия и есть отправная точка всякого опыта длительности, способность длить восприятие, отсрочивая простые реакции, ради выбора наилучшего ответа.

В отличие от механической привычки виртуальность не подчиняет прошлое настоящему, напротив, она обнаруживает, что сам образ действия определен нереализованным прошлым, бездейственным, но влиятельным, способным ворваться в настоящее, придать ему широту и мощь или дезориентировать его и лишить внутренней непрерывности и единства. Можно сказать, что греза про-



шлого свидетельствует о некоей одержимости разума прошлым, поскольку, как утверждает Бергсон, мы всегда уже в прошлом и поэтому только и можем знать о нем<sup>1</sup>. Субъект, которому открыто такое прошлое, не может быть просто наличным, настоящим субъектом, он должен еще только возникнуть, еще только производиться вместе со своим настоящим, быть существенно разделенным между прошлым и настоящим. Его настоящее определяется из существа его прошлого, будь то память о счастье или травматический опыт, а истина прошлого открывается не в припомненной и встроенной в нарратив истории, но скорее в том, о чем мы помним только как о *забытом*, несоразмерном настоящему, неподвластном припоминанию<sup>2</sup>. Разумеется, мы можем символизировать сам разрыв и попытаться вывести из этого чистого означающего весь порядок символического. В этом случае греза памяти может снова предстать неким долгом припоминания, заботой интерпретации и перезахоронения прошлого<sup>3</sup>. Однако идея Бергсона, по-видимому, состоит не столько в том, чтобы связать разнородные уровни прошлого и настоящего структурой нового символического порядка, сколько в том, чтобы показать возможность рождения субъекта совершенно нового типа, соединившего прошлое и настоящее не в силу своего знания, но в силу действия.

Будет точнее сказать, что виртуальность отсроченных, неотреагированных реакций определяет знание присущее самому действию, интуицию, особенность которой заключается в том, что она никогда не отделена от внешнего мира и его воздействий, всегда разворачивается из того места, которое в действительности есть место другого, след чужого присутствия. Действие невозможно без этого буквального следования вдоль границы с другим, без распознавания себя в непрерывности интенсивностей, для которых прошлое — не отсутствующий объект, но мера собственного воспроизведения. В какой-то мере Бергсон здесь возвращается к традиционной философской оценке памяти. Уже у Аристотеля память представляет собой складку двух начал: чувственной пассивности, которой соответствует образ воска и сохраненных в нем отпечатков, и самодвижущей силы припоминания и исследования, истолкования прошлого [3, с. 146]. Эта двойственность памяти в точности повторяет структуру платоновского мифа о памяти, подверженной забвению в мире чувственности и становления, и о припоминании, в котором пробуждается самодвижущая сила души.

---

<sup>1</sup> «Мы никогда не достигли бы прошлого, если бы сразу не были в нем расположены» [4, с. 244].

<sup>2</sup> Ср. рассуждения Августина о памяти в X книге *Исповеди* [1, с. 254].

<sup>3</sup> О подобном «долге памяти» говорится, например, в исследовании Рикера [11, с. 503].

Существенно, что душа пробуждается не сама по себе, а в силу одержимости богами, в результате охваченности любовью, наконец, под руководством наставника, но при этом именно внутри этой одержимости она становится самой собой, источником собственного действия, вечным началом, со-правителем мировой души. Таким образом, она всегда пребывает в чем-то/ком-то другом, но никогда не растворяется в подчинении; движима, но также движет саму себя; претерпевает, но в самом своем претерпевании открывает источник действия. Природа души определяется включением в порядок других душ, но не утрачивает самостоятельности, и точно так же она включена в историю мира, если вспомнить миф из *Государства*, согласно которому не только тело, но и бестелесный эйдос души несет в себе образ прежних жизней, представляя тем самым свое собственное живое прошлое. Следы подобного понимания памяти читаются еще в декартовской двойственности телесной и интеллектуальной памяти, как и в концепции Локка, у которого именно память располагается между восприятием и рефлексией, а удержанием прошлого в воспоминании, по сути, впервые пробуждается активность разума. Речь идет о том, что субъект памяти не представляет собой ни чистой активности автономного разума, ни тела, детерминированного материальным порядком мира, но всегда располагается на границе, где восприятие соотносено с утратой, и само это соотношение несоизмеримого, утраченного и воспринятого, как раз и есть действительность субъекта, его ориентация в мире, мера соотношения с другим.

4. Чтобы помнить, необходимо уметь забывать, и в этом смысле субъект памяти никогда не удерживает себя от потери, но именно потеря оказывается местом пробуждения субъекта, следом, в котором прошлое предъявляет свои требования новому. Беспокойная память подобна требовательному Иову, который не ожидает возвращения к прошлому, но требует соразмерного возмещения утраченного, невозможного, но единственно справедливого. Требование памяти всегда несоразмерно, однако именно это и позволяет находить меру соотношения с порядком мира, отстаивать собственное место в восприятии внешнего, в действии, которое вырастает из отсроченных реакций. Прошлое не существует без этого соотношения, скорее оно всего лишь есть то, что указывает на нас, поскольку мы сами всегда находимся в прошлом, обращая из него свои требования к миру и господствующему в нем порядку. Это указание прошлого, в котором субъект памяти опознает себя, стоило бы назвать *необратимостью*, существованием всегда в определенном месте, в качестве такого-то, всегда в той

или иной зависимости от другого<sup>1</sup>. Потеря необратима, потому что она происходит уже в узнавании самих себя, в восприятии, которое приходит на смену утраченному, и тем самым отделяет от него узнаванием себя и воспоминанием прошлого. Но необратимость — это также продолжение утраченного в самом *качестве* настоящего, в его явлении в качестве нового, в знании, которым оно располагает в отношении себя. Таким образом, память всего лишь внутренний голос этой необратимости, прошлое, которое живет нашим знанием самих себя, не потому, что мы оказались жертвами этого прошлого, но потому что именно оно позволяет нам быть другими, продолжаться по ту сторону самих себя, обживать пространство, рассеивая по нему знаки своего присутствия.

Прежде всего, память — это не множество отдельных воспоминаний, увязанных порядком последовательности, скорее, это обжитая территория, каждая деталь которой обладает своим лицом и готова служить напоминанием, мгновенным оживлением прошлого. Поэтому новое место так легко рассеивает и вгоняет в оцепенение, но само это рассеяние, подобно болезни, в которой тело распадается, чтобы затем собраться снова, позволяет обжить место, стать частью его и тем самым превратить его части в части собственного тела. Таким своеобразным «местом» памяти является для нас и лицо другого человека, знакомство с которым никогда не исчерпывается припоминанием отдельных черт и компоновкой из них целостного образа. Скорее, стоит сказать, что знакомство с другим пробуждает к жизни новый *орган чувства*, и именно этот орган, сохраняя неизвестную прежде способность чувствовать другого, побуждает память к припоминанию отдельных черт, чтобы тем самым сохранить единство опыта и включить память в структуру настоящего. В развитии ребенка «прошлое» представляет собой, по-видимому, довольно позднюю идею, обязанную своим появлением навыкам рассказа и расширению внутренней хронологии, однако нет оснований считать эту идею только лишь нарративной конструкцией, оторванной от первоначального опыта себя и другого, от опыта сопоставления и соизмерения себя с другим, необратимости утраты собственной позиции в другом и восполнением этой утраты в формировании самого субъекта памяти.

В заключение можно сказать, что культурные модели «прошлого» не исчерпываются существующими техниками нарратива или принятыми в культуре формами воображаемого. Индивидуальный опыт прошлого предполагает не только готовность воспринимать чужое свидетельство о прошедшем, но и

---

<sup>1</sup> Агамбен пишет о необратимости как преданности вещей их бытию-такому, характеризуя его, впрочем, как бытие абсолютно покинутое [2, с. 42].

желание спрашивать о праве свидетельствования. Сама необратимость обращенного к нам голоса прошлого определяется природой основания или поверхности, сквозь которую проступают знаки и передаваемые ими сообщения. Известно, что представление о прошлом как хранилище следов появляется вместе с письменностью, системой налогов и государственных запасов, а эпоха книгопечатания приводит к революционному пониманию прошлого как системы непрерывной трансляции, перепечатки и исправленного переиздания прошлых событий. Современные медиа, бесконечно сокращая разрыв между настоящим и прошлым, делают прошлое одновременно повсеместным и неуловимым, наделяя его статусом незаконного вторжения, насилия, совершенного у самого порога настоящего и определившего динамику происходящих в нем событий. Сегодняшняя проблематика медиа, по сути, возвращает в новой форме традиционную проблему основания и во многом есть результат утраты несимволизируемой субстанции прошлого, лежащей в основе наследования и традиции. Наверное, то же самое можно было бы сказать и относительно роли музеев, статуса шедевров и навязчивого разыскивания реликтов, которые должны открывать за поверхностью символического порядка истории глубину некоего иного прошлого, отвечающего внутреннему опыту утраты и продолжающего свое скрытое существование в основании настоящего.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Августин А. Исповедь. М.: Издательство «Ренессанс», СП ИВО — Сид, 1991.
2. Агамбен Дж. Грядущее сообщество. М.: Три квадрата, 2008.
3. Аристотель. Протрептик. О чувственном восприятии. О памяти. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2004.
4. Бергсон А. Материя и память// Бергсон А. Собр. соч. Т. 1. М.: «Московский Клуб», 1992.
5. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. М., «Мысль», 1977.
6. Декарт Р. Сочинения в 2 т. Т. I. М.: Мысль, 1989.
7. Декарт Р. Сочинения в 2 т. Т. II. М.: Мысль, 1994.
8. Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 7. М.: Чоро, 1994. С. 188.
9. Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1983.
10. Локк Дж. Сочинения в 3-х т.: Т. 1. М.: Мысль, 1985.
11. Рикер П. Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004.

Н. Л. Мухелишвили

Институт философии, теологии и истории св. Фомы,  
Москва, РФ

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В ДИАЛОГЕ ПРАВОСЛАВИЯ И КАТОЛИЦИЗМА

Во время арабского владычества, охватившего множество стран от Туркестана на Востоке и до Испании на Западе, идейные столкновения в христианском мире продолжали происходить, а порожденные ими разделения сохранялись. Для мусульманского исследователя христианство было собранием разных исповеданий, воплощенных в разных культурах. Основными выделявшимися в этом многообразии конфессиями было восточно-сирийское христианство в Персии, православие «ромеев», то есть греко-римского мира, и группа общин, заявивших о свое противостоянии Халкидонскому собору, позже полемически названная монофизитским сообществом.

Мусульманские книжники, изучавшие религии Халифата, отмечали преобладание этих трех конфессий, составлявших, по их словам, «основу» христианства. Обзорные труды, в которых христианство было представлено складывавшимся в основном из трех названных исповеданий, датируются достаточно ранним периодом в истории арабо-мусульманской литературы. К примеру, мусульманский автор ал-Хашими в своей апологии ислама, написанной около 820 года, сообщает, что имел беседы с патриархом восточно-сирийской Церкви Тимофеем I, а также с представителями «трех выделившихся христианских сообществ». «Мелькиты, — пишет он, — это принявшие [сторону] царя, во время раздора, случившегося между Несторием и Кириллом; это ромеи. Яковиты — наиболее неверные, учение которых наиболее дурное, и исповедание самое плохое, они наиболее удалившиеся от истины, говорящие по учению Кирилла Александрийского, Якова Барадея и Севира, владыки престола Антиохийского. Несториане, твои сотоварищи, — они, клянусь

жизнью, наиболее близки к суждениям тех, кто беспристрастен из наших людей богословия и рассуждения, более склонны к тому, что говорим мы, мусульмане»<sup>1</sup>.

Схожим образом внутрехристианское деление засвидетельствовано в трактате известного шафитского правоведа и философа Мухаммада аш-Шахрастани (1076–1153) «О религиях и сектах»: «Затем разошлись христиане на семьдесят два отделения, — и больших отделений из них три — мелькиты, несториане и яковиты». Подобно хорасанскому исследователю, высказывался и мусульманский полемист из Андалусии Абу Мухаммад Али ибн Хазм (994–1064), в своем пространном сочинении «Разбор религий, ересей и сект». Приступая к рассмотрению христианских догматов, он замечает: «В основе их [т.е. христиан] сегодня — три отделения», предлагая далее обзор взглядов «мелькитов», «несториан» и «яковитов»<sup>2</sup>.

Мусульманские книжники, однако, не только свидетельствовали о разделениях среди христиан, но и указывали на принципиальную общность разных христианских исповеданий. При обращении к истории объединительного движения в христианстве, прежде всего привлекает внимание межконфессиональное сближение в эпоху расцвета арабского халифата. Восточно-христианские сообщества тогда пошли на тесное взаимодействие, и христианские мыслители того времени отчетливо высказывали идеи общехристианского единства.

Примером может служить сочинение христианина-сирийца X века Аль-Арфади, который в своей «Книге общности веры» пишет: «Когда посмотрел я на великолепие веры христианской [с точки зрения] истинности веры в Бога, — велик Он и славен! — надлежащего совершения служб Создателю неба и земли, и того, что на ней, по закону водительства, заповеданному Создателем милостивым; проповедуя на востоках земли и западах ее, среди народов и народностей, рассеянных по странам дальним и всем краям, [причем] каждый народ из них гордится тем, что у него есть от религии христианской, общей всем на земле, и [своим] вероисповеданием; тогда увидел я, что некоторые [из] этих народов, из-за козней диавола, постигло такое состояние, вследствие которого [произошел] отход одних из них от других, по пути прихоти, противной разуму, и разошлись они на многие разделения, о чем можно долго толковать. Но хотя они и суть, при всей своей многочис-

---

<sup>1</sup> Слезнев Н.Н. «Мелькиты» в арабо-мусульманском традиционном религиозоведении // Точки/Puncta, 3–4/10/2011, С. 27–28.

<sup>2</sup> Op. cit.

ленности, объединяющиеся во мнениях, различающиеся в прихотях, всё же, сводятся они к трем сообществам и восходят к трем толкам, как бы к [трем] корням»<sup>1</sup>.

Можно подумать, что стимулом к такому сближению было давление внешней силы — мусульманского господства. Этот фактор нельзя снимать со счетов. Но был и другой, более мощный стимул. Обширное государство арабов обнаружило стремление к созиданию новой культуры, и христиане разных исповеданий были активно вовлечены в этот творческий процесс. Создавались университеты, как на Востоке, так и в южной Европе, где шла интенсивная работа по переводу интеллектуального и духовного наследия доисламских цивилизаций на арабский язык, ставший новой *lingua franca*.

Культурный подъем, обусловленный успехами арабских завоевателей, стал таким образом средой соединения и объединения разошедшихся христианских традиций.

«...Историческое разделение церквей — все еще не зажившая рана. Произнося в базилике Св. Петра в Риме, 17 марта 1926 г., католический символ веры, Вячеслав Иванов<sup>2</sup> впервые почувствовал себя, как он пишет Шарлю дю Босу<sup>3</sup>, “православным в полном смысле этого слова, обладателем священного клада, который был моим со дня моего крещения, но обладание которым до тех пор, в течение уже многих лет, омрачалось наличием чувства какой-то неудовлетворенности, становящейся все мучительней и мучительней от сознания, что я лишен другой половины живого того клада святости и благодати, что я дышу наподобие чахоточных одним только легким”. Это те же слова, кои я поведал представителям христианских некатолических общин в Париже 31 мая 1980 г., вспоминая мой братский визит Вселенской Константинопольской патриархии: ”Не возможно христианину, более того, католику дышать одним легким: нужно иметь два легких Восточное и Западное”»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Селезнев Н.Н. Западносирийский книжник из Арфада и иерусалимский митрополит Церкви Востока. «Книга общности веры» и ее рукописная редакция на каршуни // Символ № 58: Syriaca & Arabica. Париж-Москва, 2010, С. 73–74.

<sup>2</sup> Иванов Вячеслав Иванович (1866, Москва — 1949, Рим) — русский поэт, философ, филолог.

<sup>3</sup> Шарль Дю Бос (Charles Du Bos, 1882–1939), известный французский писатель по вопросам религии, философии, литературы, переводчик и исследователь Библии.

<sup>4</sup> Иоанн Павел II. Речь к участникам Римского симпозиума «Вячеслав Иванов и культура его времени»//Вячеслав Иванов. Собрание сочинений. Т.4. Брюссель, 1987, С. 702.

Рассмотрение западного и восточного христианства как двух лёгких, основано на универсальном видении судеб человечества. Наше время настоятельно требует универсального мышления, способного обеспечить взаимопонимание культур. Следовательно, перед нами обнаруживается необходимость в новом культурном строительстве. Именно культурное творчество оказывается той средой, где вдохновение христиан разных сообществ соединяется в едином устремлении к возобновлению универсальных ценностей.

Как следствие, участникам Круглого стола «Стены храмов не доходят до неба: Актуальные проблемы межконфессионального диалога между католицизмом и православием, а также другими мировыми религиями, в России и Польше», проведенного в рамках конгресса под эгидой петербургской Кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога, были предложены для обсуждения следующие вопросы:

- Актуальное состояние католическо-православного диалога в Польше и в России
- Идея постсекуляризма: её судьба и отношение к ней в католичестве и православии
- Трансформация этничности и её религиозные следствия
- Ключевые фигуры в пространстве польско-русского культурного диалога
- Перспективы христианской Европы: взгляд из Польши и из России
- Религиозное воспитание и богословское образование в XXI веке: вызовы и ответы
- Личность и наследие Иоанна Павла II: сохраняют ли они актуальность для Польши? а для России?



## ЧАСТЬ II. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ИМПЕРСКОЙ ИСТОРИИ И ИДЕОЛОГИИ

Г. Л. Тульчинский

Национальный исследовательский университет —  
Высшая школа экономики, Санкт-Петербург, РФ

### ПОСТИМПЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: СВЯЗЬ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО. ПОЛЬСКО-РОССИЙСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА

В отечественной — и не только — историософии, империи связываются с колониальными захватами, экспансией (империализм), империалистическими войнами, угнетением народов... Имперская экспансия осуществляется с претензией на глобальные масштабы — в отличие от «нормальной страны» с государством — «ночным сторожем». Помимо стремления к экспансии, в набор характеристик империй обычно включаются также:

- полиэтничность, иногда с доминированием одного этноса, силой удерживающего другие;
- наличие центра и периферии (провинций, колоний) — этим империи отличаются от унитарного государства, федерации;
- автократия в сочетании с бесправием населения — в отличие от демократии и гражданского общества.

Не оспаривая эти квалификации, тем не менее, нельзя не признать неоднозначность, если не парадоксальность исторической роли империй.

#### ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ РОЛЬ ИМПЕРИЙ

Все известные в истории империи (Александра Македонского, Древний Рим, Византия, империи древнего и средневекового Китая, Священная Римская им-

перия, Австро-Венгерская империя) оставляли после себя великие культуры. Можно утверждать, что прорывы и «разливы» цивилизации в истории осуществлялись именно империями. Несомненен цивилизационный вклад Римской империи, в новое время великие культуры оставили Британская империя, империя Габсбургов. Даже недолгий век наполеоновской империи оставил заметный вклад: от распространения метрической системы и «кодекса Наполеона», легшего в основу ряда европейских конституций, до правостороннего движения, введенного Бонапартом в пик Британии. Даже империя Чингизидов оставила после себя не только несколько долговременных династий с определенной системой государственного управления, но и эффективную систему почтового сообщения на просторах Евразии. Более того, империи — включая дореволюционную Россию и СССР — были государствами со своей подданнической (гражданской?) идентичностью.

### ИМПЕРИИ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ

В постимперской культуре есть много конструктивного, объединяющего, способствующего снятию противостояний, раздробленности, развитию государственности и просвещению, гуманитарного развития, личностной реализации. Не случайно М. Уолцер, один из крупнейших теоретиков современного либерализма, рассмотрев все исторические формы государственности, пришел к удивившему его самому выводу, что наиболее толерантными из них были империи.<sup>1</sup> В империях представители этнических меньшинств делают политические, научные, художественные, деловые, военные и прочие карьеры, которые просто немислимы в условиях национальных государств.

### ИМПЕРИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Мало изучена (хотя и отмечена) связь империй и глобализации. Дело в том, что претензия имперской экспансии на глобальные масштабы позволяет рассматривать их как глобалистские проекты, претендующие на общечеловеческую универсальную культуру, выступают ростками («пробами пера») глобализации, создавая надэтническую и надконфессиональную политическую культуру. Тем самым открываются новые перспективы рассмотрения самой глобализации, ее содержания — с точки зрения имперской культуры. Это тем более актуально

---

<sup>1</sup> См. Уолцер М. О толерантности. М., 2000.

в настоящее время, когда новые национальные государства (не только «неудачные») остро нуждаются в наднациональном патронаже для своего социального и экономического развития. В этой связи сама глобализация приобретает несколько иной смысл и глубину: как выход к общемировому цивилизационному «фронтиру». Не интегрированные на этом уровне страны и народы оказываются на обочине мирового развития. И речь идет не столько об экономике и технологиях, сколько именно о развитии социальном, о качестве жизни. Но и в этом плане, именно особенности имперской и постимперской культуры оказываются ключом к пониманию современной ситуации.

### ИМПЕРСКАЯ КУЛЬТУРА КАК КОЛЫБЕЛЬ И BACKGROUND ЛИБЕРАЛИЗМА

В этой связи, становится особенно понятно то, почему либерализм вызрел и развился именно в контексте имперских культур Британии и Франции. США взяли этот комплекс идей уже в качестве «готового продукта».

Хорошо известно, что социальной базой формирования и продвижения идей и ценностей либерализма является, прежде всего, научная среда.<sup>1</sup> И дело даже не в исторических реалиях, таких как связь либерализма с философией позитивизма и утилитаризма. Сами эти реалии порождены глубокой и интимной укорененностью идей свободы и ответственности в научной деятельности. По очень точному наблюдению А.И.Бродского, возникновение и развитие либерализма предполагает возможность автономного существования различных сфер деятельности и соответствующих нормативно-ценностных подсистем культуры: нормы ценности и цели одной сферы деятельности не могут быть обоснованы нормами, ценностями и целями, принятыми в другой.<sup>2</sup> Поэтому собственно либеральная идеология может опираться только на сознание этой относительности человеческих знаний и стремлений, влекущее обязанность уважать всех людей и свободу, предполагая разумно (рационально) выстроенный скептицизм и критицизм. Ценность науки как раз и состоит в возможности признать некие утверждения в качестве истинных или ложных независимо от авторитета и властных возможностей людей, высказывающих эти утверждения. И это — великое благо для цивилизации, которое дала последней наука.

---

<sup>1</sup> Тульчинский Г.Л. Наука и культура толерантности // Философская и правовая мысль. Вып.3. Саратов-СПб, 2002, с.105–113.

<sup>2</sup> Бродский А.И. Об одной ошибке русского либерализма. //Вопросы философии. — 1995. -№.10. — с.154–159.

Обоснованность и строгость научного знания имеют еще и другую сторону: чем более глубокое и полное знание вырабатывается наукой, тем глубже и полнее ответственность носителей этого знания. Более того, концепции и результаты научно-технической деятельности выступают своеобразными провокаторами нравственности, ставя перед нею все новые и новые проблемы в силу все более глубокого проникновения в причинно-следственные связи. Но и с этой точки зрения наука оказывается отличной школой ответственности и толерантности, вынуждая исследователя соотносить свои цели и намерений с возможными последствиями для окружающей природы, общества, других людей.

Нетрудно заметить, что само построение мировоззрения либерализма строится в нормативно-ценностной системе, близкой имперской: главенство закона, признание многообразия и терпимости к нему, в рамках этого закона.

Кроме того, не следует забывать, что и сама наука для своего развития предполагала и предполагает мощные ресурсы, которые могли дать только империи

Все это, кстати, было весьма наглядно продемонстрировано на примере правозащитного движения в СССР. Научно-техническая интеллигенция по данным авторитетных и обстоятельных социологических исследований в советское время была наиболее продвинутой («опережающей») социальной группой<sup>1</sup>. Практически все социально-культурные нововведения (от авторской песни до оздоровительного движения и от самиздата до видео) инициировались и осуществлялись научными работниками и ИТР, занятыми в непроизводственной сфере. Свободомыслие в этой среде было наиболее аргументировано, рационально<sup>2</sup>, позитивистски ориентировано, в наибольшей степени тяготело к классическому либерализму, выдвинуло такие яркие фигуры общенационального масштаба как В.С.Есенин-Вольпин, А.Д.Сахаров, С.А.Ковалев.

Не случайно и такое количество нынешних успешных предпринимателей являются выходцами именно из этой социальной группы. К сожалению, в интересующем нас плане, постперестроечные реалии лишили эту социальную среду ближайших перспектив — оказались подрванными сами физические

---

<sup>1</sup> Художественная культура и развитие личности. М., 1987; Фохт-Бабуркин В.У. Художественная культура: проблемы изучения и управления. М., 1986.

<sup>2</sup> В этом плане специального внимания заслуживает роль советского логического научного сообщества и распространения логического образования, интереса к методологии науки. См. Тульчинский Г.Л. Логическая культура и свобода. // Философские науки. 2009, № 4, с.46–61. Кстати, Польша всегда отличалась чрезвычайно развитой логической школой, давшей миру выдающихся логиков, что также давало дополнительные импульсы формированию либерализма в Польше — как в политической теории и философии, так и политической практике.

условия существования этой среды, которая могла стать основой действительного возрождения страны. И дело не только и не столько в пущенном на ветер научно-техническом потенциале, сколько в потенциале интеллектуально-нравственном, имевшейся критической массе социальной базы реформ, оставшейся невостребованной «реформаторами».

Даже такой эскизный набросок выявляет далеко не однозначную историческую роль империй и имперской культуры, ее несомненный потенциал в плане модернизации и инновационного развития.

## ПОЛЬСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

Особый интерес представляет сравнительный анализ различного имперского и постимперского опыта, позволяющий выявить факторы успешной реализации потенциала такого опыта в условиях современного массового информационного общества. Вне всякого сомнения, показательно в этом плане и сравнение исторического опыта Польши и России. Бросаются в глаза два обстоятельства.

Первое связано с историческим прошлым двух стран. Российская империя строилась с идеологическим мессианским посылом «Святой Руси» — формирования и развития универсальной православной державы. Польский имперский импульс никогда не переходил границы понимания Речи Посполитой как части христианского (католического) мира, в чем-то — одного из его форпостов.

Второе обстоятельство характеризует настоящее Польши и России, их самоопределение и позиционирование в современном мире глобализированного экономического, информационного пространства, а в чем-то и политического пространства. Такое самоопределение с неизбежностью связано с фиксацией исторической памяти, обеспечивающей сохранение и выражение уникальной неповторимости польской и российской культур.

Очевидное внимание заслуживает связь указанных двух обстоятельств, выявляются особенности содержания уникальности российской и польской культур, связанные с имперским прошлым двух стран, роль долгого развития этих культур в рамках Российской империи. Компоненты культурно-исторического опыта, обеспечивающие предрасположенность к вхождению этих стран в современный мир, сохраняя свою уникальность, а также выступающих барьером в этом процессе, с очевидностью, различны.

Польша достаточно конструктивно относится к имперскому опыту — не только своему собственному, но и доставшемуся в наследство от других империй, в состав которых входила Польша. Российская Федерация удивительным

образом пренебрегает этим наследием, апеллируя не столько к культуре имперского наследия, сколько к идее империи, культивируя фантомные постимперские боли. Польская интеллигенция нашла путь к обществу. Российская — все еще его ищет.

Жизнь показывает необходимость сознательного — внятного и вменяемого осмысления результатов компаративистики этого опыта.

**Р. Ныч**

Ягеллонский университет, Краков, Польша

## НОВЫЕ СЛОВАРИ — СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ? ДРУГИЕ ВОПРОСЫ — НОВЫЕ ОТВЕТЫ? ПОЛЬСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ДИСКУРСЫ ПАМЯТИ В ПЕРСПЕКТИВЕ НОВОЙ ГУМАНИСТИКИ

### I. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Свой доклад я рассматриваю только как введение в предмет. Его целью является определение основных условий, в которых может возникнуть пространство действительно открытых споров, переговоров, диалога, различных дискурсов памяти и формул идентичности сообществ. Во-первых, необходимо, я думаю, учесть современный опыт человеческой временности, который действительно стал сегодня своеобразной империей памяти. Его можно определить даже несколько точнее, как я предлагаю ниже, то есть как опыт настоящего времени, как пост-прошлое. Память империи — вторая часть названия конгресса — понимается как определение профиля исследования данной проблематики, однако, на мой взгляд, в этом содержится не более чем третья доля истины. Во-вторых, для того, чтобы пост-имперские исследования могли справиться со своей задачей, они должны быть тесно связаны, по крайней мере, с двумя другими направлениями — пост-колониальными и пост-зависимыми исследованиями. Создание концептуального пространства для эффективного межкультурного диалога на такую «чувствительную» тему, как национальное самосознание сообщества, выходит из болезненного опыта, отношения господства и подчинения, встречи политик памяти — это еще одна важная исходная задача. В-третьих, с этой целью я выдвигаю некоторые предложения, которые направлены как раз на смещение акцентов в понимании идентичности личности и сообществ, но, похоже, они могут также успешно открыть новые горизонты для более конструктивных возможностей такого диалога.

## II. ВРЕМЯ ПАМЯТИ: НАСТОЯЩЕЕ КАК ПОСТ-ПРОШЛОЕ

Несмотря на то, что дискурсы памяти продолжают играть важную роль в формировании и стабилизации идентичности личности отдельных лиц и сообществ, их характер меняется с течением времени — не столько, чтобы вписаться в рамки конкретных исторических образований, сколько для формирования их специфики. Вполне вероятно, что с такого рода ситуаций мы сталкиваемся и сегодня, когда господствовавшая в эпоху современности модель опыта человеческой временности подвергается критике и переоценке, а новая — кристаллизирующаяся в последние десятилетия, все еще ищет для себя названия, хотя вполне возможно, что она скрывается в навязчивых временных определениях, в которых доминирует приставка «пост».

С определённой можно сказать следующее: современность оставила нас с наследием понимания человека как «незавершённого проекта» (перефразированная формула Хабермаса), погруженного в «расколдованный» мир, лишенный трансцендентной, религиозной основы, и сосредоточенный принципиально на будущем — стремящийся управлять им, предвидеть его и подчинить его своему настоящему. Сегодня же — назову три ключевых социально-философских диагноза — мы являемся свидетелями коренного преобразования и этих отношений, и человеческого опыта временности.

«Мы живем, — утверждает Энтони Гидденс, — в пост-традиционном обществе, в котором прошлое перестало быть традицией, унаследованными культурными образцами, которые организуют настоящее и моделируют мышление о будущем».

«Мы живем в пост-утопическом «обществе риска»; — констатирует Ульрих Бек — в обществе, которое разочаровалось в любых рационалистических взглядах на будущее (в том числе и в идеологической утопии), подчиняющем себе настоящее и закрывающем прошлое в изолированной от настоящего сфере закрытых дел и законченных событий, к которым (знание того, что произошло на самом деле), честно говоря, ученый имеет доступ благодаря своей самоотверженной, профессиональной, чисто познавательной аналитической процедуре.

Мы живем, наконец, — согласно Юргену Хабермасу, — в пост-светском обществе. Это действительно пост-светское общество, потому что — хотя оно и светское, — всё же признает легитимность существования религиозных общин в эпоху возрастающей светскости, а также потому, что оно раскрывает скрытое или затёртое, — но именно религиозное — измерение прошлого, которое суще-



ствуует в самом невидимом слое настоящего, т.е. рутинных, привычных и бес-  
сознательно используемых концептуальных словарях, отношениях и практике.

Эти три наиболее известные сегодня в области гуманистики формулы и до-  
минирующие модели современной общественной жизни упорно диагностиру-  
ют дух времени как эпохи, лишенной собственного (положительного) имени.  
Именно поэтому она может быть определена в соответствии с приходящей на  
ум навязчивой номенклатурой как пост-традиционность, пост-утопичность,  
пост-светскость, в крайнем случае, как пост-прошлое; в соответствии с тем, из  
чего она выходит, чем не является, но тем, что упорно её преследует, что она  
ретроактивно упорядочивает, в неизвестно в чём находит основу, направление  
и смысл направленной в будущее деятельности. Хотя это разные понятия, од-  
нако, они формулируют с разных точек зрения всеобъемлющие изображения,  
кажется, что они скорее являются дополнительными (а не альтернативными)  
попытками описания связанных и взаимодополняющих измерений временного  
опыта.

Таким образом, представленный опыт пост-прошлого, особенности кото-  
рого придают менталитету эпохи знамя исключительности и новизны, — это  
на самом деле опыт трёх способов присутствия прошлого в настоящем: насто-  
ящего, преследуемого призраками (или привидениями) прошлого; настоящего,  
занятого и даже очарованного возможностью, необходимостью, опасностями,  
ретроактивной организацией прошлого; настоящего, которое в собственном  
общественном прошлом находит своё основание, являющееся столь же ста-  
бильной поддержкой в вихре быстротечности, что и основой для конструктив-  
ного действия.

### III. ВРЕМЯ ПОСТ-ТЕОРИИ, ИЛИ ПОСТ-КОЛОНИАЛЬНЫЕ, ПОСТ-ЗАВИСИМЫЕ, ПОСТ-ИМПЕРИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Именно такого типа опыт человеческой временности, признающий на-  
стоящее как пост-прошлое, определяет, я думаю, концептуальные рамки для  
различных специалистов, работающих по проблемам (часто травматическим)  
общественной идентичности, которые поддаются анализу тремя новыми тео-  
ретическими «словарями» с чисто пост-теоретическим характером. В отличие  
от стандартных теорий, они не предлагают новой, системной (иногда система-  
тической), концептуальной сетки, показывающей ранее скрытые составные  
проблематики данной дисциплины. Словари скорее напоминают популярные  
в последнее время методологические «фразы», если под этим модным терми-

ном рассматривать рациональную попытку определения новой теоретической ситуации. Такая ситуация рождается в результате «взрыва» рамок дисциплины, который провела слишком богатая и слишком сложная проблематика для того, чтобы сложившаяся ситуация позволила методам и исследовательским процедурам одной дисциплины «овладеть собой»; она стремится изменить конфигурацию новых границ дисциплины, или ищет новые инструменты для разработки этой трансдисциплинарной проблематики, напоминающей научные положения так называемой новой гуманистики. И это происходит именно из-за их политических в общем плане — а на практике ревиндикационных и эманципационных стратегий, а также целей деятельности.

В мои планы не входит обсуждать их более подробно. Стоит, однако, выделить их особые генеалогии и концептуальные сетки, которые накладываются, пересекаются и проникают друг в друга в связи с общим проблемным синдромом — и то таким образом, который не позволяет проведения разделений между отдельными областями дисциплин.

Пост-колониальные исследования выросли, в действительности, из литературных и культурных исследований, однако, уже в книгах их «отцов-основателей» — Эдварда Саида и Франца Фанона — заметно стремление выйти за рамки этих дисциплин к общественным, историческим и политическим вопросам. В первый период — примерно два десятилетия — они развивались исключительно в границах проблематики западного мира — а точнее, на основе анализа сложных и меняющихся со временем отношений господства-подчинения между так называемым первым и третьим миром (бывшие колонии этого первого мира). Только под конец 90-х годов из-за некоторых статей, а прежде всего, благодаря монографическим исследованиям американских русистов и славистов Евы Томпсон *Трубадуры империи. Русская литература и колониализм* (издание на английском языке вышло под заглавием *Imperial Knowledge* в 2000 г., на польском — 2002 г., на украинском — 2006 г., белорусском — 2009 г., китайском — 2009 г., на русском языке первый раздел появился в 2007 г.), — которое является «основательной» разработкой — таким образом пост-колониальная проблематика входит в так называемый второй мир (отношения между Россией, затем СССР и покорёнными ими странами и соседними народами) и постепенно прокладывает себе путь в науке в качестве полноправного предмета гуманитарных исследований. Следует отметить, что в Польше, например, похожую роль «основателя» в изучении бывшей Речи Посполитой как колонизатора сыграло исследование французского историка Даниэля Бэвуа *Украинский треугольник: дворянство, царизм и люди на Волыне, Подоле и Киевщине 1793–1914* (Люблин 2005).

Обсуждение этого вопроса, которое уже несколько лет ведётся среди польских исследователей, к сожалению, не привело к полному консенсусу по вопросу о целесообразности использования этого термина, привело, однако, к тому, что описанная ими проблематика стала одной из самых важных для научных исследований — а это, в свою очередь, порождает первые подробные монографические работы. В целом можно сказать, что этот процесс «институционализации» пост-колониальных исследований, проводящийся в Центральной и Восточной Европе, всё ещё продолжается на разных стадиях в разных странах. Пожалуй, самый трудный путь для «прорыва» наблюдается в исследованиях российских ученых, если можно судить преимущественно по негативным и очень эмоциональным реакциям на книгу Евы Томпсон.

Вторая ориентация — пост-зависимые исследования — берёт своё начало в экономических и социологических исследованиях, а более конкретно — в изучении ситуации в Южной Америке, которая первоначально была эмпирической основой теории зависимости. Она объяснила механизмы благодаря которому страны оставались в фазе замедленного развития — не по внутренним, а по внешним причинам: стратегией деятельности имперских центров по отношению к периферии. Её самую известную модель разработал Иммануил Валлерстайн, сделав из неё теорию глобальных изменений в экономике и социальной структуре.

В последние годы также произошла критическая переоценка теории зависимости, с одной стороны, с другой же — наблюдается её влияние на социально-культурные и историко-политические исследования. Примером могут служить книги Ларри Вульфа *Изобретая Восточную Европу* (1994) и Ричарда Вортмана *Сценарии власти* (2006). В этом течении содержится также анализ польского пост-зависимого дискурса, понимаемого как собирательный термин институциональной группы значимых артикуляционных практик, способных организовать человеческий опыт; проекты идентичности, социальные отношения, политические и культурные, ценностные и символические общественные воображения; формы восприятия реальности, которые были приняты после завершения ситуации зависимости, но, вместе с тем, как правило, носили на себе её следы. Результатом этой работы, сочетавшей в себе пост-колониальные и пост-зависимые влияния, стали многочисленные коллективные работы, а также две оригинальные книги авторства Ханны Госк *Истории «колонизированного/ колонизатора* (2010) и Джона Сова *Призрачное тело короля* (2012)

Наконец, самые молодые из них — пост-имперские исследования. Они вытекают из историко-политологического анализа современности и, как было

указано выше, из критики зависимых теорий. Похоже, что эта точка зрения все еще доминирует — насколько можно судить хотя бы на основании появившихся недавно книг Стивена Э. Хансона *Пост-имперские демократии*. (2010) и Дмитрия Трентина *Пост-империя: евразийская история* (2011). Тем не менее, они имеют свои — сильнее и интереснее — ответвления также в других дисциплинах. В качестве примера позволю себе вспомнить вдохновляющую работу Риты Сакры *Монументальное пространство в пост-имперском романе* (2012), предлагающей, с одной стороны, прочтение палимпсестового монументального пространства, насыщенного культурной памятью, идеологическими миссиями, символическими памятниками господства и насилия, с другой же — подрывной практикой эмансипационных и демократизационных действий отдельных лиц и общин в общественной сфере.

Рита Сакра не анализирует ни поистине монументальных пространств, ни российских романов. Однако о том, как познавательльно благодарна может быть перспектива, следующая из слияния логических исследований, геопоэтики и пост-имперской литературы, убеждает нас раздел книги *Империя* Рышарда Капусьцинского под заглавием *Храм и дворец*, в котором представлены меняющиеся статусы и функции московской площади, на которой во время царизма был воздвигнут храм Христа Спасителя, а затем (решением Сталина) он был снесен, чтобы освободить место для планируемого Дворца Советов, который, однако, не удалось построить, а оставшиеся основания храма были окончательно отданы под строительство бассейна для москвичей (но всё же не окончательно: в последние годы, чего уже Капусьцинский не мог уже ни увидеть, ни описать, храм был восстановлен — по-видимому, мы живем в пост-светские времена...). Вполне вероятно, что эта тема и этот тип исследований могли бы составить предмет изучения не только российских литературоведов и культурологов. Наконец, нельзя исключить и того факта, что сама *Империя* Капусьцинского, а также резкая критика её со стороны русского читателя, в будущем могут сыграть свою роль в области культурных пост-имперских исследований, проводимых русскими исследователями: представляется важной та ситуация, когда книги «чужих» авторов рассматривают темы, прежде считавшиеся «забронированными» для «своих».

#### IV. ВРЕМЯ САМОПОЗНАНИЯ? ПОЛЬША, РОССИЯ: „НЕ ОБЩЕЕ ПРИСУТСТВИЕ”, „ВНЕАХОДИМОСТЬ”

Извержение травматического прошлого, интенсивность и разнообразие конкурирующих друг с другом политик памяти, реактивация религиозных и

пара-религиозных потребностей и практик в области как общественной, так и частной жизни, составляет новое проблемное пространство современного менталитета, которое в последнее время разрабатывают и прорабатывают пост-колониальные, пост-имперские и пост-зависимые исследования. Тем не менее, их эффективность во многом зависит от принятия общей сравнительной перспективы, противостояния дискурсов памяти, обмена опытом посредством диалога, обсуждения смысла, отношений между народами и культурами. Те, в свою очередь, и далее остаются в глубоком тупике.

Это происходит, быть может, по той причине, что существовавшие до сих пор программы познания других культур, национальных образов прошлого, образцов идентичности сообщества, основывались на силе благородного искусства убеждения, аргументирующего в пользу обогащения познанием ценности Другого — и потому, наверное, не отличались необычайной эффективностью. Я считаю, что следует изменить направление аргументации, то есть признать, что существенной, неотъемлемой частью нашего самопознания — на уровне как общин, так и отдельных лиц — и является наш образ в глазах других и способность занять внешнюю точку зрения, противопоставив его культивируемому нами внутреннему образу нас самих. Я убежден, что только эта простая, хотя, может быть, трудная для проведения процедура может привести к развитию межкультурных отношений, встреч и диалогов, станет чем-то существенным, необходимым на каждый день, составляющим принадлежность личных интересов отдельных лиц и сообществ.

Очень полезной категорией, которая может приблизить нас к этой цели, мы обязаны Михаилу Бахтину, с полной уверенностью относимому к наиболее оригинальным научным исследователям литературы и культуры XX века. Речь идёт о «внезаходимости» — одном из ключевых понятий бахтинского словаря. Этот трудный для перевода термин Цветан Тодоров в своей работе о Бахтине предложил заменить словом «умеждународнить» (ссылаясь на греческие источники) и называть «экзотопией», в то время как польская переводчица Данута Улицка дала другое название — «необщее присутствие» („niewspółobecność”). Этот термин Бахтин ввёл в своих работах ещё в 20-е годы, а затем многократно использовал, систематически расширяя сферу его применения. С технического термина, описывающего «внутри литературные» отношения между автором и героем, он окончательно вырос до универсальной категории исторической культурной антропологии. Он действительно занимает в современной бахтинологии (и не только в ней) заслуженное почетное место, что позволяет опустить анализ основных его значений.

Иными словами, речь идет здесь об идентификации «перемещенной» позиции приобретающего опыт и изучающего объекта, всегда находящегося извне — временно, пространственно, национально, культурно — её объекта (будь это другой субъект, объект, общество, культура или он сам). И, что самое важное: следует видеть в этом не столько слабость или преграду, требующую преодоления барьеров (например, путем участия или сопереживания), сколько неотъемлемую черту человека — (само-) познание, условие подлинного понимания и знак инвенционности (творческого открытия).

«В том смысле, — писал Бахтин, — жизненно важным делом является «не общее присутствие» познающего (временное, пространственное, культурное) по отношению к тому, что он пытается творчески осмыслить. В конце концов, человек в действительности не может увидеть даже свою внешность или в полной мере представить её себе. Не помогут ему в этом никакие зеркала или фотографии. Только другие люди могут запомнить и понять его настоящий внешний вид, в частности, благодаря своему пространственному «необщему присутствию», а также благодаря тому, что они другие. [...] Чужая культура возникает только в глазах другой культуры. [...] Мы ставим чужой культуре новые вопросы, какие она никогда не ставит себе, и ищем в ней ответы на них, а чужая культура даёт их, открывая нам свои новые аспекты и новые слои смысла» [Ответ на вопрос редакции: «Новый Мир», ЕТW, 474]<sup>1</sup>.

В этой интерпретации есть, можно сказать, первоначально сформулированный, но по своей сути классический, современный взгляд на значение внешней точки зрения, просмотра или конфронтации собственного образа с образом в глазах другого (начавшийся ещё со «стратегии чужого» *Персидских писем* Монтескье). Однако, ещё более интересно (и очень редко замечается) то, что этот взгляд находит у Бахтина особое дополнение в действительно инновационном убеждении. Это заставляет ученого отказаться от идеи личности, а также национальной культуры, как своего рода закрытого контейнера (мнение, которому мы обязаны романтикам, в числе которых можно назвать Шеллинга, и гердеровскую концепцию культуры как шара или острова). «Что касается предмета, — утверждает Бахтин, — то «человеку не даётся никакая внутренняя область независимости, он всегда находится на границе, и, углубляясь в себя, он смотрит в глаза другому или смотрит на себя глазами другого [*Над новой версией книги о Достоевском*, ЕТW, 444]»<sup>2</sup>. Похожее происходит с культурой: «Не стоит (...)

<sup>1</sup> М.М. Бахтин, *Вопросы литературы и эстетики*, Москва: «Художественная литература», 1979.

<sup>2</sup> М.М. Бахтин, *Эстетика словесного творчества*, Москва: «Искусство», 1979.

представлять себе область культуры как какую-то пространственную целость, имеющую границы, но обладающей также внутренней территорией. Области культуры не имеют внутренней территории: она вся находится на границах. Границы проходят везде, пересекая каждую её точку [...]» [*Проблема содержания, материала и формы ...*, ПЛиЕ, 26]

Следует заметить: с этой точки зрения, границы между внутренним и внешним уже не различают автономной индивидуальной идентичности или общинной целости, а наоборот: проходят в её пределах. Это на самом деле завязывается на приграничных территориях и имеет статус приграничной территории, на которой происходит то, что внешнее становится внутренним, а часть, считавшаяся наиболее собственной, открывает свою внешнюю генеалогию. Я думаю, что именно эта последняя бахтинская концепция идентичности — как экзотопии, как самостоятельной дифференциации Я, как внутреннего Другого — не только предполагает признание современной критической мысли, но также должноставить исходный пункт при ведении межкультурных диалогов. Она вызывает (в собственных интересах понимающего, эффективно критического самопознания) необходимость определения, внимания, уважения, — по отношению к Другому, тому, который находится внутри нас и вокруг нас.

## V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Литература и искусство не только (или не столько) являются пассивными носителями памяти и образцами самобытности (репродукционными формами прошлого, которые сохранились в коллективной памяти), но прежде всего активными носителями памяти, фигур или проектов идентичности (активно формирующими и моделирующими её современные формы, а также «разрешающими взять слово» до сих пор подавленным, запрещённым или маргинализованным её компонентам). Чрезмерно рискуя, может быть, стоит коротко заметить, что вписанные в современную литературу польские и русские дискурсы памяти, главным образом, документируют состояние памяти асимметрии и даже несоизмеримости в отношениях, оценках и взаимных позициях. Они предлагают также понимание Другого в крайних категориях — либо в культурном отчуждении, либо попытке эмпатичного взаимного понимания и чувствования, при явном присутствии бахтиновской «экзотопичной» перспективы взаимного самопознания.

Конечно, можно легко изменить данное положение вещей. Польская культурная память XX века связывает образ России, россиянина и русскости с наи-

более болезненными, трагическими событиями собственной истории, а также опытами рабства, колонизации, лишением правоспособности и (отчасти играющего компенсирующую роль) доминирования собственной, высшей культуры над низшей, чужой культурой. Не вдаваясь в подробности, в любом случае следует вспомнить, что этот исключительно черно-белый образ был создан и наслаивался в двадцатом веке — в общей сложности — семьдесят лет развития (или недоразвития), проходящего в условиях отсутствия независимого, суверенного государства.

В этом контексте почти символическое значение обретает исторический факт (неважно, что он анекдотический) освобождения из-под влияния этого доминирующего отрицательного взгляда. Жил некий русский генерал (к тому же ещё и царский), которого поляки не только уважали, но и любили, а после его смерти (в 1902 году) назвали одну из площадей Варшавы его именем и поставили ему памятник (который до сих пор стоит). Конечно же, речь идёт о Сократе Старынкевиче, который в конце девятнадцатого века исполнял обязанности мэра Варшавы. Благодаря ему, его инициативе, многолетним стараниям и усилиям, направленным на благо жителей города (долго защищавших себя от вмешательства в их частную жизнь, обычаи и собственность), а также благодаря царским имперским рублям Варшава была оснащена современным санитарным водоснабжением и канализацией, которые коренным образом модернизировали и цивилизовали формы организации и сам стиль жизни города. В период между двумя мировыми войнами, в конце двадцатых годов, Адольф Рудницкий, который впоследствии стал выдающимся писателем, посвятил этой *Подземной Варшаве* целую книгу-репортаж. В 1944 году, в конце Варшавского восстания, трагедия которого до сих пор лежит грузом на развитии польско-русских отношений, именно благодаря использованию каналов генерала Старынкевича как средства коммуникации удалось спасти жизнь многим повстанцам и мирным жителям Варшавы...

Я не собираюсь придавать уж слишком символическое значение совпадениям тех событий в измерении какой-то слишком исторической иронии (или, может быть, смеха) судьбы. Тем не менее, может всё-таки удастся увидеть в этом некоторые (слабые) послания, которые память прошлого выбросила на берег современности. Под поверхностью незатянутых ран, травм (как заметил Чеслав Милош, «нет никакой другой памяти, кроме памяти ран»), вращающихся политик памяти, в которых вырисовываются новые формы традиционных, этноцентрических формул идентичности, возможно, мы должны поискать «подземную» сеть каналов, обеспечивающих основы организации и нормальное функциони-



рование общественной жизни. Дальнейшее постижение их природы и происхождения лучше всего может убедить нас в их неустранимом, конструктивном присутствии Другого, в творческом вкладе других культур, в ценности транснационального обмена благами цивилизации, программ или концепций. Измерение и глубину рассматриваемых здесь понятий подтверждают хотя бы цитированные выше работы зарубежных исследователей. Этот их «экзотопический» взгляд — взгляд Другого — сыграл и играет часто ключевую роль при анализе проблематики Центральной и Восточной Европы, как и самой России.

Может быть, сам Михаил Бахтин сказал бы, что если бы польская культурная память достаточно глубоко заглянула в себя (с учетом соответствующих изменений — *mutatis mutandis* — это относится и к российской памяти ...), то, к концу концов, она должна была бы посмотреть в глаза широкому международному обществу, заслуженным деятелям польской культуры — и среди них, безусловно, также в глаза Сократу Старынкевичу.

**Б. В. Марков**

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Санкт-Петербург, РФ

## ИМПЕРСКОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ

Что такое Россия: империя, республика, федерация, национальное государство, геополитическое целое, этнос, православная страна, носитель духовных ценностей, прежде всего, нравственных, особый историко-культурный тип, ждущий своего выхода на арену истории, лидер и защитник славянского мира? Эти вопросы ставятся не только идеологами патриотических движений, но всеми радикально настроенными людьми, которые желают возрождения России. Однако патриотическое чувство, которое кажется столь же искренним, как чувство справедливости, нуждается в деконструкции. Опыт показывает, что именно переживания, кажущиеся непосредственными душевными реакциями на жизнь, на самом деле нагружены мифологемами и идеологемами, обидами, разочарованиями, предпочтениями, которые отчасти являются тяжелым наследием, отчасти порождением тягот сегодняшней жизни. Тащить этот опыт в будущее, вкладывать его в принципы, в конституцию будущего — значит испортить жизнь не только себе, но и своим детям. «Деконструировать» при этом значит не отбросить, а, скорее, сбалансировать идеологию наших предшественников с современными представлениями и наоборот. Традиционные проекты России и программы ее возрождения должны измениться в пользу некоего парадоксального, невозможного усилия: преобразовать Россию без насилия, возродить ее без войны, построить новое общество, не питаясь ненавистью к старому, а сохранив память и ответственность по отношению к прошлому.

Русский, как и европеец — это не национальность. Россия — целый континент, где проживает значительное число наций и народностей и почти ни один из них не исчез. Сегодня она напоминает Европу после распада империи Карла Великого, когда началось становление национальных государств. Можно успо-

каивать себя тем, что национальные конфликты исчезнут по мере удовлетворения интересов национальной элиты, которая хотела бы принимать решения без оглядки на «старшего брата». Конечно, каждый народ имеет амбиции и желает быть самостоятельным государством. «Единая Европа» строится с учетом политической самостоятельности и экономическая интеграция не связывается с гегемонизмом и угнетением. Но было бы наивно думать, что оно исчезает, скорее оно приобретает новые, более мягкие формы. Судя по заявлениям ведущих стран новой Европы, они имеют разные, дополняющие друг друга амбиции. Например, Франция претендует на роль культурного и политического авангарда. И действительно, французская культура кажется лишенной местных особенностей и выглядит образцовой для всех стран. Как парижский двор когда-то был моделью для подражания, так и сегодня мода, литература, искусство Франции открыты и понятны всем. Германия остается образцом надежности технического, экономического, социального и прочих порядков.

По всей вероятности, процесс нормализации отношений постсоветских республик будет протекать достаточно трудно до тех пор, пока не сложится новый баланс. Он оказался нарушенным с распадом СССР, который был по-своему эффективной, хотя установившейся не без первоначального насилия и репрессий, системой взаимоотношений. Нельзя сказать, что он привел к деградации наций и народов. Напротив, многие из них встали на цивилизационный путь развития и достигли достаточно высокого уровня жизни.

Национальная идентичность сегодня расценивается как рефлексивный социальный конструкт. И все же речь идет, скорее, о солидарности, о какой-то дорефлексивной общности. Ведь этнос — это народ, т.е. сородичи. Нация считается политическим понятием, но и она самоопределяется на основе языка, культуры, территории, труда, некоего родства. Все это формы органической целостности, единства. Когда говорят о целостности национального сознания, прежде всего, указывают на роль территории и ландшафтов. Природно-географические константы действуют в связи с их интерпретациями. Конечно, эмоциональная связь с местом в эпоху глобализации не является столь же прочной, как в традиционном обществе, однако чувство родины, страны, как архетип живет в сознании наших современников. Граждане России остаются своеобразными «заложниками» все еще необъятной территории. Отношение к стране, как и к государству, является, конечно, амбивалентным: слишком много нужно осваивать и защищать. Чувство страны у нас и у европейцев разное. В Европе слишком тесно, поэтому всегда стоял вопрос о территориях. Сегодня он решает уже не военными, а экономическими средствами.

При изучении способов идентификации обнаруживается один и тот же повторяющийся прием. Его суть состоит в определении своего на фоне или на границе чужого. Чужой изображается как нечто онтологически внешнее и враждебное, от него идет угроза, и поэтому необходимо объединиться, консолидироваться в качестве «наших», забыть о внутренних проблемах. Но на самом деле такой чужой, не то чтобы не существует вне своего, но он первично создается чаще всего как кажущийся единственно возможным способ самоидентификации. Итак, мы создаем образ другого, чтобы определить самих себя. Этот старый, уходящий вглубь веков способ укрепления национальной или иной, например, культурной идентичности нуждается в особом изучении. В западной этноантропологии изменение образа другого стало предметом исследования. Нечто подобное следует проделать и нам. Возможно, здесь и проявятся наши преимущества, по крайней мере, в прошлом, в том, которое нужно помнить и сохранять. Думается, что Европа, изначально осознававшая себя как носителя культуры, цивилизации, христианства, была вынуждена защищаться и нападать, осваивать и колонизировать. Для нее другой — это варвар, не христианин — язычник, православный, мусульманин и т.п. Поэтому завоеватель и миссионер — главные фигуры старой Европы. От такого самоопределения страдала и сама Европа, и мировые войны были самой высокой ценой, которую она заплатила за призвание к гегемонии. Повторения этого следует избегать и нам, и европейцам.

### ИМПЕРИЯ И НАЦИЯ

Греческий полис, остающийся непревзойденным образцом социальной общности, тем не менее, нельзя отождествлять с национальным государством. Соответственно Римская империя отличается не только от греческих городов-государств и европейских монархий Нового времени, но и от колониальных империй XIX столетия. Сложная система управления, «римское право» были унаследованы, хотя и в упрощенном виде, европейскими государствами. В Римской империи сосуществовали представители разных верований и национальностей. Рим был больше всего озабочен сбором налогов и не ставил своей задачей насаждение своей идеологии среди завоеванных народов. Если открыть переписку Траяна с Плинием, то возникает впечатление, что наместник императора в основном занимался постройкой бани и других городских сооружений по римскому образцу. Скорее всего, это было наиболее эффективным способом цивилизации народов. И во времена Петра европейская цивилизация воспринималась

как «стрижка бород», а также как европейская одежда, мебель и, конечно, архитектура. Так и сегодня американский образ жизни прививается вовсе не ради «Свобода», а музыкой, барами и кинофильмами.

Технологии управления изменились после принятия христианства в качестве государственной религии. Так и не ясно, ускорил или продлил Константин существование империи. С одной стороны, она уже не обладала достаточной военной мощью, и поддержка ее величия символическими средствами была весьма кстати. С другой стороны, христианство не очень годилось для поднятия боевого духа римских граждан. Некоторые историки считают, что христиане стали «пятой колонной», ускорившей гибель империи. Однако, достаточно долгое существование восточной и западной ее преемниц говорит о том, что христианство было неплохо приспособлено для государственных нужд.

Священная римская империя считала своей миссией распространение христианства по поверхности всей Земли и использовала для этого военную силу. Тысячелетний опыт священных войн, связанный с большими потерями заставил европейцев искать иные формы существования. Ответом на распад феодального общества в Европе стали национальные государства,

Рождение нации связывают с Великой французской революцией. Нация — это искусственный конструкт, в основе которого лежит общественный договор, это политическое, а не этническое образование. Вместе с тем представители той или иной нации самоопределяются на основе языка, культуры, территории, труда и даже некоего родства, или «братства», как было написано на знаменах французской революции. Идея национального государства, как единства населяющих его народов, весьма привлекательна для политологов. Но народ — это нечто большее, чем этнос или нация. В Средние века никакого государственного народа еще не было. Соответственно, не было и понятия отечества, а руководитель не воспринимался как «отец народа» или «царь-батюшка». С точки зрения политологии, рождение современных наций протекало под знаком вражды против того, что сословные нации называли «отечеством». Примером может служить рождение американской нации. Английское, французское и иное происхождение вытеснялось и забывалось. На место «народа», хотя это слово осталось в Конституции, был поставлен суверенитет нации. Однако новое национальное единство, как известно, сопровождалось элиминацией «чужих языков», оргией насилия и кровопролитной гражданской войной.

Национальные государства унаследовали идеи суверенитета и патриотизма и, в конечном итоге, имперский комплекс. К этому добавились экономические интересы, и, в результате, история стала развиваться совсем по иному сценар

рию, нежели его видели философы эпохи Просвещения. Сформировались новые колониальные империи, которые вели войны за передел мира. Особенно кровопролитными были две мировые войны, унесшие жизни 70 млн человек и итогом которых стало образование двух сверхдержав.

Негативный опыт заставил искать новые формы мирного сосуществования, за фасадом которого скрывалась гонка вооружений. Для обеспечения мира еще И. Кант выдвинул концепцию Союза свободных наций, основанного на принципах равноправия. Спустя 200 лет после кантовского трактата о вечном мире появились такие надгосударственные организации, как Международный суд, Комиссия по правам человека и т.д. Сегодня возникли новые формы пачификации, порожденные глобализацией. Транснациональные кампании, банки, издательства, информационные концерны существенно ограничивают амбиции правительств тех или иных национальных государств, разрушают их классическую державную политику. Мировая общественность также институализировалась в форме разного рода негосударственных организаций, наподобие Гринпис или Международной амнистии. Благодаря интеграции в международные структуры, снимаются негативные последствия автономизации, а национальное государство переходит в новую фазу развития, характеризующуюся открытостью границ, заинтересованностью в сотрудничестве и обмене (экономическом, культурном, информационном) с другими странами и народами. Однако, «союз народов», как о нем мечтал Кант, и современное «мировое сообщество» — конечно, разные вещи.

### РОССИЙСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ

Для того, чтобы разобраться с проблемой, является российское сознание имперской или национальной конструкцией, полезно прислушаться к мнениям как славянофилов (консерваторов), так и западников (либералов). П.Н. Милюков пытался сочетать «объективистский» и «субъективистский» подходы, позицию «экономического монизма» с допущением о самостоятельности культуры. Прежде всего, он обращает внимание на трудности гипотезы о приоритете национального характера. Не говоря о том, что Россия мультиэтничная, многонациональная страна, особенность русского состоит в том, что он легко адаптируется к любой нации.

Что касается стремления к абсолютной власти, характерного для империй, то оно выражается в довольно необычной форме. Например, В. С. Соловьев видел миссию русских в том, чтобы служить другим народам. И это не лукавство,

скрывающее желание колонизации. Речь о том, что бы распространять христианство (славянофилы) или марксизм (большевики) по поверхности земного шара.

Критически оценивая частые ссылки на особенности национального характера, Милюков писал: «Припомним, что такие наблюдатели и судьи, как Белинский и Достоевский, признали в конце концов самой коренной чертой русского национального характера — способность усваивать всевозможные черты любого национального типа.»<sup>1</sup>

По мнению Сальвадор де Мадариаги, русские как люди сердца действуют либо по нужде, когда надо, или заставляя, но еще и по велению сердца.<sup>2</sup> Русский человек охотно помогает другим, является коллективистом. В противоположность порядку и честности нам, наоборот, приписывается лукавство и юмор. В целом русские считаются более приветливыми и гостеприимными. Грубость, барство, своенравие есть и у нас. Даже партийная номенклатура не гнушалась крика и мата.

Русских за границей узнают именно по отсутствию каких-либо ярко выраженных национальных особенностей. Как частное лицо русский человек не агрессивен, а наоборот дружелюбен, он с удовольствием принимает порядки той страны, в которую прибывает без какой-либо задней мысли, как правило, для того, чтобы в ней жить. Но за видимой добродушной и дружелюбной, хотя и несколько лукавой физиономией славянина, европейцам чудится скрываемая угроза. Сегодня она не так очевидна, как в эпоху противостояния, но европейцы по-прежнему испытывают некую панику перед русскими, и она явно превосходит их опасения перед рабочими с Востока. Причина в том, что русский человек в любой стране, хотя и соблюдает местные обычаи и правила, вообще-то живет по-русски. Мусульмане наоборот демонстративно живут по-своему и селятся в западных городах целыми деревнями. Они сами изолируются в национальном гетто. Наоборот, «русскость» проявляется не в пристрастии к национальным обычаям, кухне, одежде (даже у себя мы носим все, что угодно, и есть анекдот, что Аксаков одевался до того по-русски, что его принимали на улицах за иностранца). Эта «русскость» оказывается неуловимой, ибо она представляет собой некую стратегию, а не сущность. Жить по-русски означает отсутствие каких-то гарантий и обязательств и возможность самых неожиданных изменений. Единственно неизменная русская традиция — это постоянная «смена вех», часто

---

<sup>1</sup> Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т.2.Ч.1.М. 1994.С. 14

<sup>2</sup> Мадариага С. Де Англичане французы, испанцы». СПб. 2003

не доводимая до конца. Любовь к высоким рассуждениям — еще одна особенность, которая у народа проявляется в обсуждении проблем высшей, как правило, международной политики. Русским до всего есть дело. Хотя индивидуализм и конформизм потихоньку съедают их души, все-таки обостренное чувство справедливости составляет довольно неприятное качество русских «гастарбайтеров», которые никогда не довольствуются тем, что дают, не принимают данного им удела.

Отмеченные особенности российской ментальности не совпадают с этосом, основанным на самодисциплине и ответственности, дальновидности и предусмотрительности. Но в ней есть и позитивные моменты, ее протейческая субстанция готова к любым, самым неожиданным изменениям и переносит, как микроб, любые неблагоприятные условия. Конечно, неорганизованность и безалаберность — это плохо, но в условиях кризиса, когда старые правила не действуют, русские оказываются наиболее приспособленными,

С либеральной точки зрения парадоксально, что в России, вслед за ослаблением роли государства, резко падали экономические показатели и страна испытывала очередное военное поражение. Анархия, наступающая там и тогда, где и когда ослабевал контроль государства, приводила к снижению производительности труда и падению уровня жизни. Крепостной крестьянин работал лучше и больше, чем свободный, рабочие и даже интеллектуалы давали большую производительность труда под присмотром мастера и начальника, чем, если бы они были предоставлены самим себе.

На это легко возразить, ссылаясь на описания свободного труда в художественной литературе, которые, по-видимому, достаточно адекватно передают самоощущение творческого человека. Однако, роль государства в России проявляется в организации не только производственного процесса, но и сферы использования и потребления произведенных продуктов. Даже если допустить, что нынешние свободные предприниматели проявляют чудеса активности, то не меньшую сноровку они обнаруживают, когда дело доходит до уклонения от уплаты налогов. Без координирующей, «руководящей и направляющей» руки государства человек не способен осуществить действия, которые необходимы с учетом дальнейших долгосрочных последствий. Именно русский человек настолько свободен и автономен, что он недалновиден и эгоистичен. И это не некая недостаточность генетики российского человека, а психологическое следствие проживания под сенью государства, вмешивающегося чуть ли не во все сферы деятельности. Отсюда можно сделать вывод, что существование и развитие России не укладывается в рамки обычной, аналогизирующей логики и



эффективная политика должна каким-то образом разрешать парадокс свободы и власти. Проблема в том, что ослабление государственного регулирования снижает экономический и военный потенциал, а его усиление подавляет свободу и ответственность. Поэтому всегда приходится отыскивать устойчивое равновесие между ними и только в этом случае добиться положительного баланса на стороне свободы. Но как это сделать, если полицейское государство нуждается не в творческой, самостоятельной личности, а в бездушных автоматах, исполняющих заданную программу.

Общество, где умеют не запрещать, а управлять, предполагает наряду с личной свободой высокое чувство ответственности, которая является не столько юридическим, сколько этическим актом взаимного признания друг друга. Сегодня эгоизм богатых, не желающих помогать бедным, эгоизм частных предпринимателей, пренебрегающих социальными последствиями бизнеса, эгоизм стран первого мира, которые отделяются от проблемы голода и нищеты в странах третьего мира гуманитарной помощью, оборачивается угрозой их собственному существованию.

### НАЦИОНАЛЬНОЕ И НАЦИОНАЛИЗМ

Надо отдать дань уважения античному полису, целостность которого настолько поражает наше воображение, что мы хотели бы привить своим согражданам такие государственные добродетели, когда индивид готов отдать за полис самое дорогое, что у него есть — свою жизнь. Отсюда национальную солидарность следует мыслить, прежде всего, как моральную и духовную, пронизывающую политику и право. Нация — это, прежде всего, такая духовная общность, которая присутствует во всех ее частях, институтах семьи, общины, народа в целом. При этом важным условием единства нации М. Шелер считал единство переживания, определяемое территорией. Напротив, по Э. Бутру, для самоопределения французской нации на первом месте стоит население, а территория — на втором. Кроме внутренней миссии у нации есть еще и амбиция стать “всемирной”. Если Англия претендовала на мировое господство, реализуемое посредством колониализма, то, по утверждению Э. Бутру, Франция стремится к образованию человечества на основах свободы и равенства, и это исключает какой-либо аристократизм или веру в избранность. М. Шелер утверждал, что немцы несут с собой мировой порядок и трудолюбие и при этом признают право каждого народа на национально-культурное своеобразие. Русский “народ-богосец”, согласно В.С. Соловьеву, берет на себя всемирно-историческую миссию

донести православие до других народов. Конечно, современные представители упомянутых народов, скорее всего, отказались бы нести эти миссии. Но в какой-то форме остатки прежних дискурсов дремлют в нашем сознании. Ярким примером тому является отражение «русской идеи» в мечте В.С. Соловьева о религиозном интернационале.

Главная функция православия — быть символическим щитом империи — ярко проявилась во время первой мировой войны, когда волна шовинизма накрыла с головой народы Европы. Национальный мессианизм всегда выражался в утверждении русского Христа, и Бердяев совершенно правильно считает его признаком утверждения исключительной близости и первенства какого-либо народа к Христу. Классическим его выражением является ветхозаветный мессионизм, утверждающий богоизбранность еврейского народа. Новая славянофильская его форма, представленная Хомяковым, также опирается на веру в Россию как единственную спасительницу остальных народов и подстановку на место вселенского — православного, а на место православного — русского. Достоевский еще более усилил эту идею своим утверждением, что Европа проповедует не Христа, а антихриста, что единственным народом-богоносцем остался русский народ.

Согласно К. С. Аксакову, Европа образована на вражде и насилии (германский дух), Россия — это добровольность, мир и согласие, союз народа и власти, а не договор. Самарин считал сутью русского самосознания синтез народной и религиозной общины. Семья, род, город, государство формы единства, основанные на потребности жить вместе. Князь, царь понимался как защитник, как гарант справедливости. Без мессионизма нет и мессианизма. Булгаков испугался того, с какой легкостью мессианизм переходит в национализм, и предложил идею «национального аскетизма», согласно которой следует приостанавливать веру в богоизбранность и культивировать чувство ответственности. Народная по форме и вселенская по содержанию христианская религия, по Булгакову, должна осуществиться в России.

Точки зрения на национальное не как обособленное, а универсальное, входящее в синтез с другими народами, придерживался Е. Трубецкой: «подлинный Христос соединяет вокруг себя в одних мыслях и в одном духе все народы.»<sup>1</sup> Если Бердяев указывал на антиномичность религиозного, национального, культурного, государственного (имперского) мессианизма, то Трубецкой полагал, что национальная гордость и готовность служить другим народам вполне со-

---

<sup>1</sup> Трубецкой Е.Н. Старый и новый национальный мессианизм. Избранное. М., 1995. С. 309.

единимы. Он поясняет, что речь идет о «царственном достоинстве» по отношению к низшему и о смирении по отношению к высшему. Трубецкой видит выход из тупика мессианизма в миссионизме, который предписывался Христом как необходимость «учить и крестить все народы». Он указывает на то, что у русских мессианистов на первый план выходило универсальное и затенялось особенное. Он предлагает найти такую форму единства, в которой бы, наоборот, могло существовать особенное. Нельзя видеть русское только в том, что это истинная форма универсального. Когда такие притязания развенчиваются, то наступает, как у Чаадаева, отчаяние. Как говорил Соловьев: или Россия — народ-богоносец, или колосс на глиняных ногах. Таким образом, то, что Россия не похожа на божье царство, не должно стать парализующей мыслью, а напротив, стимулировать поиски своего пути к нему.

Германия на рубеже 19 и 20 столетий была захвачена не просто милитаризмом, но и протестом против торгашества, носителями духа которого считались Англия и Франция. Недаром войну 1914 г. называли «войной Ницше». Немцы утверждают взамен либерализма идею планового социалистического государства, играющего роль защитного панциря тела народа. Интеллектуалы пишут о примате воина-героя, отрицающего благополучие и комфорт. Мечтают о нации как организме. Равенство, свобода и братство видятся на путях организации. Поэтому дилемма торговца и героя это не фантазм Зомбарта и Юнгера, а коллективная мечта, ставшая символической реальностью немецкого духа. Различие торговца и героя становится опорой консервативной революции. В книге «Немецкий социализм» капитализм критикуется как власть финансового капитала, стирающего народы, превращающего крестьян и рабочих в безликую массу. Уничтожение природы, деградация культуры механизация труда — таковы основные обвинения Зомбарта.

Работа «Торгаши и герои» написана во время войны, как ее оправдание, и обращена к будущим победителям-немцам как руководство к действию. Главная идея в том, что настоящая война — это война вер, но не в религиозном, а в идейном смысле. Война 1914 г. казалась Зомбарту последней битвой между торговцами и героями. Англичане характеризуются как представители духа торгового капитализма. На примере утилитаристской морали и позитивистской философии Спенсера раскрывается их мелкий торгашеский дух. «Индивидуалистическая, эвдемонистическая социальная философия по своему истоку и глубочайшему своему смыслу есть порождение английского духа».<sup>1</sup> Резюме англий-

---

<sup>1</sup> Зомбарт В. Торгаши и герои. Сочинения.. Т. 2, СПб., 2006. С. 26

ской идеологии: общество есть агрегат индивидуумов, и цель его в том, чтобы достичь наибольшего счастья для наибольшего их числа. Зомбарт критиковал либерализм за индивидуализм и сведение роли государства к функции ночного сторожа. Он опирался на Лассалья, который протестовал против понимания государства как слуги торгашей, и видел в нем немецкого патриота и ученика Фихте. Как и многие мыслители XX в. накануне первой мировой войны Зомбарт утверждал, что фундаментальные воззрения на государство и общество определяются не социальными, а национальными факторами.

Маркс, Ленин и Сталин мечтали о мировой революции, а не о создании империи. В случае осуществления их мечты государства предполагались ненужными. Но на практике все по-другому. Во-первых, марксизм не был окончательной фазой секуляризации. Мечта о божьем граде трансформировалась в утопию коммунистического общества. Во-вторых, для борьбы с буржуазным обществом требовалось более сильное «тоталитарное» государство, основанное на диктатуре. Что с ним было бы в случае победы пролетариев во всемирном масштабе? История показывает, что диктаторы, выполнившие задачи, возникающие в периоды чрезвычайных ситуаций, в отставку не уходят. В этой связи можно спросить, а что было бы с христианской или иной империей в случае выполнения своей миссии. Они существуют, пока выполняют свою миссию, и рушатся с утратой веры.

Если Германский рейх позиционировался как наследник западной Римской империи, то Россия лозунгом «Москва — третий Рим» объявила себя преемницей византийской, восточной римской империи. Как легитимировалась Великая Польша? Каковы ее миссия и основания, по которым она завоевывала другие народы, была ли она империей? Возможно, во времена так называемой «Великой Польши». С одной стороны, поляки воевали с Москвой, а с другой — с тевтонскими рыцарями. Зажатые между двумя более мощными империями, в конце концов, они приняли католицизм и стали частью Запада. Сегодня экспансия Польши, России и Германии так же малопонятна, как и татаро-монгольское нашествие. Гумилев отказал монголам в идеологии и считал причиной их набегов пересыхание степей. Однако они собирали неплохую дань с покоренных народов. Практическим мотивом присоединения народов Поволжья и Сибири к России является то, что их брали под защиту за гораздо меньшую плату.

Россия, Польша и Германия строились как империи не только на основании веры. Население росло и им становилось тесно. Может, и поляки воевали с Россией потому, что их стало много и требовались новые территории? Но вряд ли и это объяснение является исчерпывающим. Сегодня европейские государства

переживают демографический спад, но это не мешает им верить в свою миссию и выполнять ее иными, мирными средствами. Империи выглядят по-другому, и на место войн, захвата территорий пришли новые формы конкуренции.

Имперское прошлое живет в памяти народов. Я думаю, что это нужно как-то позитивно, использовать. Никому не нужны слабые соседи, живущие с сознанием побежденных и мечтающие о реванше. Сильная Польша и сильная Россия смогут выстроить партнерские отношения, основанные на здоровом чувстве соперничества. Толерантность, права человека, свободный рынок, Евросоюз, НАТО — это, конечно, хорошо. Однако нужно помнить и о своих интересах. Если не добиваться их защиты, то можно с уверенностью предсказать появление решительных людей, призывающих к изгнанию чужих. К сожалению, сегодня мы видим, что под глянцем толерантности и мультикультурализма таится вражда. Как нам жить сегодня, если идеи братства, интернационализма и толерантности оказались дискредитированными?

Общительность является, по Канту, антропологической константой, она изначальна. Чувства и эмоции коммуникативны по своей природе и связаны со способностью суждения. Людям приходится мириться с соседством, поэтому идея всемирного гражданства не является нелепой. Это и дает повод говорить о праве всеобщего гостеприимства. В «Метафизике нравов» Кант различал общество друзей и сообщество торгашей. Последнее экстерриториально. Но, по сути дела, право торговли на любой территории не означает признания прав чужого. Он по-прежнему бесправен. Как альтернативу колониализму и империализму Кант и предложил право гостя.<sup>1</sup> Думается, это хороший рецепт мирного существования, который нам оставили наши предки.

### ОБРАЗ ЧУЖОГО В СОЗНАНИИ НАЦИИ

Формирование наций и в Европе, и в Америке было связано с гражданскими войнами, а под лозунгами свободы, равенства и братства интенсифицировался образ чужого. Если в рамках империи не совсем приятная смесь нарциссизма и самовозвеличивания не исключала прав чужого, то эпоха становления национальных государств характеризуется международными конфликтами. Национальное государство развивает не только подозрительность, но и реальные средства слежки, надзора за чужими. Как пример, можно привести эволюцию таможи, разведки, политической полиции.

---

<sup>1</sup> Кант И. Метафизика нравов. Соч. в 6-ти т. Т.4, часть 2. — М., 1965. С. 279

Мы живем в таком мире, где не действует завет: возлюби ближнего своего. Политическая «дружба» — это иллюзия. Конечно, чужие уже не являются смертельно опасными, но и сегодня от них охраняют, рынки, информацию и другие блага. Мир стал маленьким, слишком тесным, и в нем господствует непризнание. Неопределенный страх перед другими нарастает, и это значит, что наш тесный мир виртуально заражен расизмом сильнее, чем раньше. Нас пугает враг, с которым мы ничего не можем сделать, ибо его способы экзекуции превосходят нашу способность защищаться.

В эпоху Просвещения под влиянием Руссо гостеприимство и дружелюбие стали антропологической константой и основой этики. Гостеприимство, — скорее, идеал, чем реальность. Поэтому ксенософия — это удел философов. В истории народное право уступает место государственным законам и на смену гостеприимству приходит кодекс чужого. Альфред Шульц занимался правом гостя в средневековой Европе и пришел к выводу, что оно определялось торговыми интересами городов и вытеснило более древнее право чужого, которое формировалось господствующими группами для оправдания захвата пленных.<sup>1</sup> Гость приравнивался к горожанину, чужой же был подданным. Народное право еще в XIX в. определяло чужого как временного подданного, частично наделенного и частично лишенного некоторых прав. Но если попытаться суммировать право чужого из права добычи или права временного подданного, то получится, что права чужого приравнивались к праву на владение вещами и не включали прав личности. Если чужой имеет те же права, что и раб, то можно сказать, что он не имеет человеческих прав. Д.Бар в «Языках гостя» рассмотрел проблему прав чужого и пришел к выводу, что их нет и быть не может.<sup>2</sup> С точки зрения территориально-государственного права, чужой или иностранец не имеет никаких прав на общественную собственность. Он ценен либо как раб, либо как вещь, либо как владелец товара и денег.

В результате развития национальных государств народное право, которое отчасти включало права гостя, раскололось на частное и общественное право. Монополизация права государством включала одну существенную поправку: ни индивид, ни группа не могут претендовать на закон гостеприимства, если они являются иностранцами, т.е. не принадлежат к данному правовому сообществу. Это ярко проявляется во время войны, когда иностранцев интернируют. Требование всеобщих прав человека означает равенство перед законом всех

---

<sup>1</sup> Schulz A. Ueber Gastgerecht // Historische Zeitschrift. Bd. 101. — Berlin, 1998. С. 473

<sup>2</sup> Bahr H.-D. Sprache des Gastes. — Leipzig, 1994. С. 241

граждан государства. Права человека обращены не только к подданным, которые иногда имеют прав меньше, чем привилегированные чужие, но и требуют пощады к бесправным чужим. Фактически право чужого сводится к возможности предоставления убежища. В отличие от старого закона гостеприимства, согласно которому путника принимали безотносительно к тому, из каких земель он пришел, чужой — это всегда гражданин другого государства, иностранец, права которого представляют смесь права и бесправия. Конечно, можно говорить о некотором прогрессе прав чужого, который не является гостем, но пользуется равенством перед законом той страны, где он пребывает. Иностранец расценивается как чужой, если не знает и не признает языка и культуры страны пребывания. Одновременно чужой — это тот, кого никто не знает. Он колеблется между бесправием и правом любого быть гостем. Если приглашенный гость не создает особой психической нагрузки, так как любой может оказаться в гостях, то чужой — это ничей гость, который всегда под подозрением и, в этом смысле, является источником фантазмов.

Начиная с XVI в., подозрительность государства к иностранцам превратила гостя в чужого. Речь идет о постепенной идентификации пришлых с целью обеспечения безопасности. В дисциплинарном обществе надзора все под подозрением. Теперь допрос осуществляется прямо на границе, у городских ворот, у порога дома. На чужих, даже если они приезжают по делам торговли или церкви, накладываются серьезные ограничения. Появляется множество циркуляров и рекомендаций, какие меры безопасности следует применять по отношению к странствующим незнакомцам.

Система записи имени и происхождения начала складываться в Европе уже с XIII века. Помимо службы и исповеди, священники были обязаны записывать в церковные книги даты крещения, бракосочетания, смерти. Кроме дат, естественно записывались имя и происхождение. Так церковь начинает брать на себя функцию божественного всезнания. Но и государство не отстает. В книгах приезжих фиксируется не только имя и происхождение, но и пол, возраст, профессия и прочее. Сначала удостоверением служили рекомендательные письма. Затем для военных ввели предписания, где, кроме имени и звания, указывали задание. В Пруссии ввели нечто вроде паспорта для приезжих. В начале XIX в. в Австрии впервые были введены общие паспорта. Там указывали антропометрические характеристики: рост, цвет глаз и т.п., — всего около 30 параметров. В XX в. персональный паспорт становится обязательным, в нем указывается гражданство, которое не зависит от места проживания. В наше время все боятся террористов, и поэтому тщательные досмотры пассажиров, даже на внутренних

линиях, становятся обычным делом. Ни одно из солидных мероприятий не обходится без привлечения службы безопасности. Не стоит на месте и картотека. Если раньше туда попадали делинквентные личности, то сегодня в базе данных государства существует обширная информация о каждом человеке, включая его доходы и расходы, движение по службе, биометрические параметры и даже генетический код.

### РЕСПОНЗИВНАЯ ЭТИКА

Н. Федоров накануне войны выдвинул самую сильную версию пацифизма, провозгласив начало братства и конец сиротства: пусть «все будет родное, а не чужое»<sup>1</sup>. Если попытки достижения единства людей во вселенском масштабе на основе солидарности (культурной, всемирно-гражданской) не удавались, то стоит продумать другие перспективы совместной жизни. Допустим, люди и народы увидели бы между собою родство настолько глубокое, что не только их убеждения и образ жизни, но и их лица и голоса показались бы им родными. Если бы, исходя из этого, люди заключили между собою договоры о вечной дружбе, то кто мог бы с уверенностью утверждать, что это чувство оказалось бы достаточно прочным и длительным? Хорошо бы соединиться на духовной основе, как это предлагали русские философы всеединства, но пока время для этого не пришло, следует создавать более реалистичные проекты, соединяющие прагматизм либералов с утопизмом социалистов.

Перевод проблемы другого в сферу политического состоит в реалистическом признании такого другого, который не является романтической выдумкой, а живет и работает рядом с нами в рамках современного мультикультурного многонационального общества. В силу этого, он уже понимает наш язык, разделяет общие установки и ценности. Он не может стать абсолютным скептиком или террористом, если, конечно, его не загонять в угол, например, урезая его социальные права, зарплату и заставляя думать, пить, есть и одеваться так, как это делают представители «государствообразующей нации». Включенность другого осуществима в плоскости рациональных переговоров, т.е. коммуникации.

Это утверждение может показаться формальным, уступающим идеалам дружбы между народами, о которой мечтали раньше. Но на самом деле этот формальный принцип может и быть и есть то единственное, что может связать разных людей, живущих в разных социально-экономических условиях, воспи-

---

<sup>1</sup> Федоров Н. Сочинения. — М., 1982. С. 528



танных на основе определенных национально-этнических традиций. Разумеется, представитель той или иной страны или культуры будет настаивать на преимуществах своих ценностей. Но если мы втягиваемся в спор и вынуждены приводить аргументы в защиту своей позиции, то тем самым мы неминуемо придем к общему согласию относительно того, что каждый имеет право высказывать свою позицию и приводить для ее подтверждения рациональные аргументы. И этому принципу нет альтернативы. Конечно, дружбы на этом пути не достичь, но можно мирно сосуществовать. Даже если один народ в лице той или иной экстремистской группы предъявит другому ультиматум, то это все-таки будет дискуссия, может быть, крайняя мера еще способствующая миру, а не войне. И пока мы сопровождаем действия рассуждениями, до тех пор мы способны к тому, что бы воспринимать формальные правила, свободы и признания прав другого как условия переговоров и как этические нормы, регулирующие деятельность.

В таких делах, какими являются отношения к другому и, тем более, — чужому, рациональных аргументов не всегда достаточно. Гостеприимство — это такая форма признания, которая предполагает способность переносить и принимать не только мысли, но и лицо, голос, запах другого. Соответственно, в гостях люди ведут себя иначе, чем дома, и стараются жить по обычаям той страны или дома, где их принимают.

А. П. Люсый

Российский институт культурологии, Москва, РФ

## ИМПЕРИОКРИТИЦИЗМ: ПАМЯТЬ ЖАНРА

Империя, сказал император, должна быть одинокой и безграничной, как одиноко и безгранично небо.

*Владислав Отрошенко. Дело об инженерском городе*

«Если ты Византий, то с моей лошади слезантий», — так бы я переиначил кульминационный момент достаточно известной русской сказки-прибаутки<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Приводим текст сказки «Рифмы. Шиш по своим делам в город пошел» для теоретически возможных непосвященных:  
«Шиш по своим делам в город пошёл. Дело было летом, жарко. Впереди едет дядька на лошади. Шиш устал, ему хочется на лошадке подъехать. Он и кричит этому дядьке:  
— Здравствуйте, Какой-то-какойтович!  
Дядька не расслышал, как его назвали, только понял, что по имени и отчеству. Он и кричит Шишу:  
— Здравствуйте, молодой человек!  
А шиш опять:  
— Как супруга ваша поживает, как деточки?  
Дядька говорит:  
— Благодарим вас, хорошо живут. А если вы знакомый, так присаживайтесь на телегу, подвезу вас.  
Шишу то и надо, сел рядом с дядькой. А Шиш молча сидеть не может. Он только тогда молчит, когда спит.  
Он говорит:  
— Дяденька, давайте играть в рифмы.  
— Это что такое — рифмы?  
— А давайте так говорить, чтоб складно было.  
— Давай.  
— Вот, дяденька, как твоего папашу звали?  
— Моего папашу звали Кузьма.  
Шиш говорит:

То есть, я склонен рассматривать т.н. «имперскую» (местами переходящую в «византийскую») проблему имперокритически, в духе Владимира Соловьева, Василия Розанова или Антонио Негри, а также Х. Уайта, чем Константина Леонтьева или Аркадия Миллера.

---

— Я твоего Кузьму

— За бороду возьму!

Дядька говорит:

— Это зачем же ты моего папашу за бороду брать будешь?

Шиш говорит:

— Это, дяденька, для рифмы. Ты скажи, как твоего дедушку звали.

— Моего дедушку звали Иван.

Шиш говорит:

— Твой дедушка Иван

— Посадил кошку в карман.

— Кошка плачет и рыдает,

— Твое дедушку ругает.

Дядька разгорячился:

— Это зачем мой дедушка будет кошку в карман сажать? Ты зачем такие пустяки прибираешь?

— Это, дяденька, для рифмы.

— Я вот тебе скажу рифму; тебя как зовут?

— Меня зовут. Федя.

Дядька говорит:

— Если ты Федя,

— То поймай в лесу медведя.

— На медведе поезжай,

— А с моей лошади слезай!

— Дяденька, я пошутил. Меня зовут не Федя, а Степан.

Дядька говорит:

— Если ты Степан,

— Садись на ероплан.

— На ероплане и летай,

— А с моей лошади слезай!

— Дяденька, это я пошутил. Меня зовут не Степан, а. Силантий.

Дядька говорит:

— Если ты Силантий,

— То с моей лошади слезантий!

— Что ты, дяденька, такого и слова нет — слезантий.

— Хотя и нет, все равно слезай!

Шишу и пришлось слезть с телеги.

Так ему и надо».

Если тебя добрый человек везёт на лошадке, ты сиди молча, а не придумывай всяких пустяков.

Царские, а затем имперские формы, сыграв свою историческую роль, были отнюдь не характерны для восточных славян до татаро-монгольского нашествия. Лишь в XIII в. Русь была насильно втянута в подобие имперских отношений, став улусом Золотой Орды, и творчески освоила их, преобразовав в особые отношения и принципы, которые затем Д.И. Менделеев назвал «русскими началами». Но, как лингвистически моделирует исходный архетип Т. Айзатулин: «за державу обидно» — звучит; «за империю обидно» — не звучит, хотя слово это попадает в литературе гораздо чаще (типичными были поначалу княжеские и великокняжеские формы, тяготевшие к иным формам державности)<sup>1</sup>.

Сейчас империя рассматривается М. Хардтом и А. Негри («Империя») не столько как всеобъемлющий пространственный порядок, направленный в идее к устранению каких-либо границ, но и определенная форма организации времени как остановки истории и фиксации памяти. Историческая точка зрения Империи такова, что установленное ею положение вещей изымается из истории, являясь не преходящим моментом, а способом управления вне каких-либо пространственно-временных, социальных и природных рамок, в конечном счете представляя собой совершенную форму социобиовласти.

Создатели США как «оплота демократии» были воодушевлены моделью древней Римской империи — с открытыми и расширяющимися границами. Самуэл Морзе сравнивал изобретение телеграфа с древнеримскими водопроводами (первыми же сообщениями по телеграфу стали цитаты из Библии). Т.е. сетевой принцип распределения власти и коммуникации уже тогда выходил на первый план. В сущности, как ситуационная сетевая империя может быть представлена конфигурация чемпионата Европы по футболу 2012 года, в которой живет память об имперско-договорном периоде существования Речи Посполитой (Польша — Украина). Тогда как спортивно-сырьевой империализм новой России реализуется в проведении чемпионата мира 2018 года самодержавно, в то же время имея шанс впервые провести состязания сразу и в Европе, и в Азии, что создает конкретное внутренне диалогическое евразийское напряжение (не знаю, как организаторы распорядятся его энергетикой). Впрочем, прототипом Европейского Союза как объединения равноправных, суверенных и самоуправляющихся субъектов является отнюдь не централизованная Римская империя или империя Карла Великого, тем более Византия, а скорее Ганза и другие средневековые городские союзы, которые существовали и на севере России.

---

<sup>1</sup> Айзатулин Т. — Теория России (Геоподоснова и моделирование. М., 1999: <http://aizatulin.chat.ru/aizatull.html>)

Я впервые озвучил данное сопоставление непосредственно на III-м Международном конгрессе «Россия и Польша: Память империй / империи памяти» в апреле 2012 года, завершив выступление таким стихотворным экспромтом:

Мяч, как кот в мешке.  
Бог в нищике.  
Жанр об стол —  
*Империбол.*

А в процессе работы над итоговым текстом статьи во время самого чемпионата в июне состоялись поистине «грюнвальдские» битвы российских и польских футбольных фанатов. Впрочем, куда более болезненно воспринималось презрительное отношение российской сборной, одной из самых затратных неимперских структур в мире, к своим собственным болельщикам, позволяющим проблематизировать проблему биовласти над биомассой столь же стихотворным прогнозом: *В футбольном венце революции грядет восемнадцатый год.*

«В строгом смысле русская литература была имперской всегда, — утверждает В. Пучков, рассматривая творчество современного писателя З. Прилепина. — Все перечисленные особенности (за исключением, пожалуй, простоты образов и сюжета: здесь заметно явное влияние массовой культуры, или явного автобиографизма) так или иначе остаются характерными для любого классического произведения, начиная с пушкинского творчества («Пиковая дама», «Борис Годунов») и заканчивая, скажем, «Домом на набережной» Юрия Трифонова»<sup>1</sup>.

В то же время, исследуя несоразмерность пространственной и временной, политической и культурной «имперскости» России, Д.Н. Замятин утверждает, что речь здесь может идти скорее об умирании географических образов имперской мощи, слишком слабо проявлявшихся в символической оболочке российской цивилизации XIX – начала XX века. А скорее «о подспудном нарастании дефицита образов, которые бы адекватно описывали и «оконтуривали» вновь присоединяемые или вновь осваиваемые территории империи. Характерно, что геократической энергетики, присущей российской цивилизации в XVIII веке, хватило только на осмысление России как в основном европейской страны; самым последним был риторически и символически захвачен, хотя и не до конца, Урал. Сибирь, Казахстан, Средняя Азия и Дальний Восток, войдя в состав

---

<sup>1</sup> Пучков В. «Имперский текст» Захара Прилепина (к постановке вопроса) // Органон Критика: <http://organon.cih.ru/kritika/puchkovm.htm>

Российской империи, так и не были осмыслены образно — для этого способы и методы европейской символизации новых пространств позднего Нового времени, по ходу развития империализма и колониализма, для России уже не годились, а свои собственные пространственно-символические дискурсы российская цивилизация разрабатывала слишком медленно, все более и более отставая от идущих впереди попыток политико-экономической модернизации — в свою очередь, также со временем “зависавших” без соответствующей образной социокультурной “подпитки”. Иначе говоря, Россия конца XIX –начала XX века, глядясь в “цивилизационное зеркало”, никак не могла увидеть себя “полностью”, во всей образно-символической “красе”; зеркало как бы затуманено, и видны только фрагменты какого-то возможного сейчас цивилизационного целого, но само зеркало старое, архаичное, созданное по дискурсивным “лекалам” Века Просвещения»<sup>1</sup>.

По мнению Д.Н. Замятина, имперско-европейская геометрия и симметрия петербургской планировки и архитектуры, неприспособленность «маленького человека» к открытым, нечеловечески огромным и насквозь продуваемым промозглым петербургским пространствам, бесчеловечная чиновничья фальшь и суэта северной столицы стали фирменными чертами самого семантически насыщенного петербургского мифа. В то же время становление локальных текстов русской культуры, концептуализация которых происходит в ходе текущей текстуальной революция в России под перманентным воздействием концепции Петербургского текста В.Н. Топорова, происходит по схеме глобального «имперского» вызова и локального ответа. На вызов мифа Тавриды, создатель которого стал, по словам А. Герцена, ответом на брошенный Петром I-м вызов, ответом стал волошинский миф Киммерии. На поверхностно-идеологизирующее рассмотрение Сибири другими русскими классиками ответом стало литературное и общественное движение «областничества». Таков стал российский текстологический ответ на постулируемую Ю. Кристевой смену линейной истории историей текстуальных блоков, образованных знаковыми практиками<sup>2</sup>.

Ощущение жанра с его актуальной или находящейся в состоянии анабиоза памятью — существенный компонент культуры. Эрик Ауэрбах утверждал, что трагедия — единственный жанр, способный по праву претендовать на реализм в западной литературе, и, пожалуй, комментируют эту мысль Хардт и Негри, это справедливо именно потому, что трагедия западной современности была рас-

<sup>1</sup> Замятин Д.Н. Постгеография. Капитал(изм) географических образов (в печати).

<sup>2</sup> Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М., 2004. С. 13.

пространена ею на весь мир. Концентрационные лагеря, ядерное оружие, геноцид, рабство, апартеид: несложно перечислить различные стороны трагедии. Тем не менее, настаивая на трагическом характере современности, мы вовсе не намерены следовать «трагическим» философам Европы от Шопенгауэра до Хайдеггера, которые превратили эти реальные беды в метафизические повествования о негативном характере бытия, так, как если бы эти настоящие трагедии были всего лишь иллюзией или даже нашей неотвратимой судьбой.

При отсутствии великого нарратива, способного определить место и придать значение историческим частностям, историческая необразованность становится чем-то вроде нормальной человеческой позиции, утверждает А. Мегилл, добавляя в примечании: Безусловно, великий нарратив, если он полностью подчиняет исторические особенности развивающейся истории или истории спасения, которую он сообщает, может заслонять собой историю и историческое размышление. Это то, почему марксизм так легко перепрыгнул от истории к несанкционированной науке или теории истории, и почему христианская история спасения должна была подвергнуться секуляризации прежде, чем она смогла предложить в конце XVIII — начале XIX в. основание для появления исторической дисциплины.

«Художник должен научиться видеть действительность глазами жанра, утверждал М. Бахтин. — Понять определенные стороны действительности можно только в связи с определенными способами ее выражения»<sup>1</sup>. Великий нарратив может дать оправдание знанию прошлого, позволяя историческим частностям, найти их место в более широком поле истории, и это может также служить поддержкой господствующим нарративов, свойственных отдельным этническим, национальным, религиозным и другим группам. Обратная сторона великих нарративов — «открытый» Р. Коллингзом «дисциплинарный империализм». А.М. Либман конкретизирует это явление, рассматривая функционирование термина «экономический империализм»: «С одной стороны, традиционно “экономическими империалистами” считают экономистов, пытающихся применить свой стандартный инструментарий к областям исследования других социальных наук. Тем не менее, хотя “экономические империалисты” этой группы и пересекают “предметные” границы своей дисциплины, они остаются частью своего “незримого колледжа” — сообщества экономистов-исследователей... Порой подобные исследования ведут к возникновению собственной “провинции” в “ре-

---

<sup>1</sup> Медведев П. Н. [Бахтин М.М.]. Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику. Л., 1928. С.182.

спублике писем” экономистов (как это стало с политической экономией и теорией общественного выбора), но, в любом случае, они остаются частью экономики.

Совершенно другая ситуация возникает, когда методы экономического анализа пересекают не только тематические, но и институциональные границы дисциплин. Она тоже не редкость: сегодня на североамериканском континенте значительное число представителей школ права и факультетов политологии так или иначе придерживаются разных модификаций теории рационального выбора, “экономики и права”, а в исследованиях международных отношений огромную роль сыграли теория игр и неинституциональная школа. “Нарушения границ” могут быть вызваны различными обстоятельствами: наймом выпускников экономических программ в качестве преподавателей неэкономических факультетов (как это нередко происходит с политологами в США) или же непосредственной “миграцией идей”. В дальнейшем я буду говорить о “внешнем” империализме, в отличие от “внутреннего”, то есть связанно-го с расширением границ своих исследований представителями экономического сообщества.

С содержательной точки зрения “экономические империалисты” на факультетах экономики и факультетах общественных наук (за определенными оговорками, о которых речь пойдет далее) вполне могут производить практически идентичный “научный продукт”. Поэтому “распознать” экономистов и неэкономистов при чтении публикуемых ими работ непросто: эффекты “внутреннего” и “внешнего” экономического империализма сильно дифференцируются, если обратиться к точке зрения “экономики экономики”<sup>1</sup>. Вспоминается преимущественно внутренняя «империалистичность» советской экономики, которая «должна быть экономной».

Аналогичная ситуация — с «филологическим империализмом», и здесь геополитические метафоры, по мнению Н.С. Розова, не случайны, поскольку в социальной организации науки есть своя преимущественно «имперская» «геополитика», а структуры конфликтных взаимодействий в разных сферах и на разных уровнях могут иметь сходные структурные черты, некий изоморфизм. В качестве «территорий» выступают предметные области, в которых есть свои «хартленды» — почти недоступные для других дисциплин области (например, состояния сознания и переживания для психологии, соотношение спроса, предложения и цен для экономики, разнообразие обрядовых практик для этнографии и т.д.), крайние и пограничные, ничейные зоны («дисциплинарные лимитрофы»).

---

<sup>1</sup> Либман А.М. Границы дисциплин и границы сообществ (Два аспекта “экономического империализма”) // *Общественные науки и современность*. 2010. № 1. С. 134–135.



Прямым аналогом военно-политического контроля над территориями выступает в науке управление основными дисциплинарными институтами: профильными исследовательскими центрами и учебными заведениями, соответствующими университетскими факультетами и кафедрами, профессиональными журналами, ассоциациями, организацией конгрессов, распределением грантов и проч.

Установив изоморфизм основных элементов, можно продвинуться глубже, например, задаться вопросом, какие фундаментальные факторы способствуют успешному территориальному расширению одной державы за счет соседних держав. Согласно классическим концепциям, завоеванию способствуют геополитические ресурсы: население и его богатство (среднедушевой доход), приемлемый (не истощающий) уровень конвертации этих ресурсов в военную силу. Напротив, удаленность захватываемых территорий повышает издержки и подрывает успех, сверхрасширение ведет к распаду империй.

«Во-первых, отметим наличие *паттерна сверхрасширения*, дискредитации и распада (как минимум, сжатия) некоторых, в свое время излишне раздувших свои претензии и амбиции подходов. В этот ряд попадают гегелевская диалектика, психоанализ, структурализм, логицизм, кибернетика, общая теория систем, парсоновская система социологии, постмодернизм.

Во-вторых, сопоставив население территории числу активных исследователей в дисциплине, а богатство (среднедушевой доход) — фондам и субсидиям, предназначенным для проведения исследований, можно делать уверенные предсказания. Та дисциплина, в которой *больше число активных исследователей, больше финансовых возможностей* для исследований, рано или поздно полностью освоит свой «хартленд», свои окраины и непременно *начнет экспансию вовне, в соседние области*. Если же в этих соседних областях активных исследователей меньше, финансирование скуднее и интеллектуальное оснащение более отсталое, то расширяющаяся дисциплина будет посягать и на соседние «хартленды». Это и есть тот момент, когда жертвы экспансии начинают стенать об опасном империализме чужаков»<sup>1</sup>.

Никто не говорит об империализме и экспансии, когда ведется разработка пограничных зон и даже окраин предметных областей (здесь поются оды меж- и мультидисциплинарности, хотя реальная кооперация — нечастое явление). Раздражение вторжением чужаков вплоть до негодования и прямой силовой борьбы вызывает наступление представителей другой дисциплины на свой

---

<sup>1</sup> Розов Н.С. От дисциплинарного империализма — к Обществознанию Без Границ! // *Общественные науки и современность*. 2009. № 3. С. 135.

«хартленд». Откуда же столько негативных страстей, когда одни ученые вдруг начинают заниматься областями, «принадлежащими» другим ученым? Дисциплинарная экспансия (и империализм как многосторонняя массивированная экспансия) только в смысловом, содержательном плане является конфликтом идей. В интеллектуальной истории яркий случай прямой организационной борьбы описан Р.Коллинзом как «университетская революция», когда в Пруссии начала XIX в. философы, вооружившись немецким идеализмом Канта, Фихте и Гегеля, используя интерес государства с расширенной подготовке инженеров, чиновников, преподавателей и ученых, свергли с руководящих позиций теологов, создали и возглавили университеты новой исследовательской модели, которая стала образцом для реформирования университетов в Европе и дальнейшего создания новых университетов во всех других странах и частях света. В отношении всей сферы общественности такая геополитическая модель позволяет предсказать неуклонное повышение междисциплинарных напряжений и конфликтности.

Что же теперь — наращивать административные мускулы, чтобы отбиваться от чужаков и самим захватывать чужие предметные поля? Есть ли более цивилизованная стратегия? Экономический империализм на нынешней стадии — это даже еще не колониализм, а нечто вроде Королевского географического общества, где джентльмены-путешественники хвастают друг перед другом теми редкостями, которые они сумели добыть в далеких враждебных странах, населенных невежественными дикарями.

Если где-то этот начальный этап демонстративного презрения к доморощенным «достижениям» туземцев преодолевается, то начинается стадия «колониальная». Тогда с «туземцами» — представителями захватываемых дисциплин — приходится уже общаться на постоянной основе, как-то находить общий язык. Постколониальный критик, подчеркивает И. Бобков, стремится стать медиатором между колонизатором и колонизируемым, создать «неподеленный» язык, при помощи которого можно было бы вести диалог между ними. Однако при этом в постколониальном дискурсе сохраняются элементы, связывающие его с антиколониальным: это «1) проект деконструкции Запада как субъекта имперского дискурса... Запад рассматривается при этом как Великий Колонизатор» и «2) проект легитимации противодискурсов, программа выработки и рефлексии различных антиколониальных стратегий»<sup>1</sup>. Ориентализм сменился посколони-

---

<sup>1</sup> Цит. по: Ионов И.Н. Новая глобальная история и постколониальный дискурс // История и современность. 2009. Вып. 2 (10). С. 34.

ализмом, в сущности, той же самой формой методологического колониализма, сопровождающегося принуждением к постколониализму.

Разбирая роль европейской беллетристики XVIII–XX вв. в распространении ориенталистских стереотипов, один из знаковых интеллектуалов современности Эдвард Саид (1935–2003) из русских классиков вскользь упомянул лишь Льва Толстого, вообще не коснувшись ни Пушкина, ни Лермонтова, при всем значении для их творчества восточной экзотики. Э. Саид предупреждал, что русский ориентализм требует дальнейшего изучения, оговаривая его отличие от «классических» европейских образцов.

Культура жанрового мышления предусматривает игру в той или иной степени «имперских» жанров. Пушкин, по известному определению Г. Федотова, был «певцом империи и свободы». Аналогичным образом его предшественник Н. Карамзин сначала написал (с точки зрения «свободы») статью «О случаях и характерах, в российской истории, которые могут быть предметом художеств» (1802), среди главных героев которой князь-рыцарь Святослав, а затем «самодержавно-имперскую» «Историю государства Российского» (1816–1829).

Э. Саид в «Ориентализме» отмечал, с одной стороны, усиленное финансовое стимулирование ориенталистских исследований, с другой — отсутствие у последних самокритики<sup>1</sup>. То же самое теперь порой наблюдается у нынешнего *посториентализма*. Саида попробовала «пересаидить» Ева Томпсон в книге «Трубадуры империи: Российская литература и колониализм» (Киев, 2006). Саидизм от Томпсон — пример редукционистской методологической агрессии против самой ядерной жанровой структуры с ярко выраженным «садизмом» по отношению к фактам, что обесценивает ряд верных замечаний. Так, откровенно «колониальному» Пушкину, следовавшему байроновской модели описания «экзотических» народов, противопоставляются не современные ему европейские авторы, а прежде всего более ироничный, но при этом куда более позднейший литературный «колонизатор» Джозеф Конрад (1857–1924). Конрад, конечно, писатель интересный, но для литературной самокритики здесь более важен все же Велимир Хлебников, писавший об историческом долге русской литературы перед многими народами, который, по мере сил, отдается современными писателями (Алексеем Ивановым, Вадимом Штепой и другими).

«Пушкин цитирует турецкую поэму, которая сравнивает набожный (и поэтому, вероятно, непобедимый) Арзрум со Стамбулом, который обречен на падение потому, что не придерживается предостережений Корана. Автор этой

---

<sup>1</sup> Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. С. 150.

поэмы, оказывается, ошибся: Арзрум пал перед россиянами<sup>1</sup>. Получается, Томпсон попадает в расставленные Пушкиным «колониальные» сети литературной мистификации. Давно установлено, что янычар Амин-Оглу, сатирическую поэму которого якобы цитирует Пушкин в «Путешествии в Арзрум в 1829 году» — лицо вымышленное, элемент литературной игры (это не перевод, а оригинальные стихи).

Однако даже если принять всерьез посыл «перевода», вряд ли стоит этот опыт проникновения вглубь «восточного» мышления трактовать как примитивное торжество победителя. Пушкин во включенном в «Путешествии в Арзрум» отрывке «Стамбул гяуры нынче славят...» (1830) содержится не столько усмотренное Томпсон мелковатое уличение своего персонажа в ошибочности, сколько поэтическая солидарность с ним, поверх сиюминутных событий. Описание Стамбула во многом напоминает описание Петербурга из «Евгения Онегина», живущего по образцу Парижа. «Арзрум, не спящий в «роскоши позорной» и не черпающий «чашей непокорной в вине разврат, огонь и шум», вполне сопоставимы с матушкой-Москвой, которая встречает путешественников своими белокаменными храмами и колокольнями: «Но вот уж близко. Перед ними Уж белокаменной Москвы, как жар, крестами золотыми Горят старинные главы...». Если в Арзруме до сих пор «строги законы», то лейтмотивом в изображении Москвы становится традиционность и семейственность»<sup>2</sup>.

При этом Пушкин интуитивно постиг глубинные процессы, назревавшие в обеих империях — и Российской, и Османской, развернувшиеся в следующем веке именно в отмеченных им формах (Стамбул — «раздавят», но «не таков Арзрум»), т.е. падение Османской империи исторически неизбежно, как и исходящее из глубины страны возрождение новой Турции (неважно, что ее столицей стал не Эрзрум, а Анкара)<sup>3</sup>. Эта формула не потеряла актуальности для понимания современных событий в исламском мире. В конечном счете, это всеобщая формула имперской судьбы. В том числе, и судьбы Византии, у которой не нашлось своего запасного «Арзрума», так как, строго говоря, Византия сыграла свою роль «Арзрума» для Римской империи, выработала ее до конца и уступи-

---

<sup>1</sup> Томпсон Э. Трубадуры империи. Российская литература и колониализм. Киев, 2006. С. 111.

<sup>2</sup> Каптушева Л.М. Интертекст «путешествия в Арзрум» А.С. Пушкина //Филология, журналистика и культурология в парадигме социогуманитарного знания. Материалы 55-й научно-методической конференции «Университетская наука — региону». Ставрополь, 2010. С. 81.

<sup>3</sup> Люсий А.П. Наследие Крыма. С. 159–160.

ла Оманской империи, именно с распадом которой распад СССР соотносим в большей мере, чем с летальным исходом Византии.

При этом, благодаря способности к поэтической коммуникации Пушкин интуитивно постиг глубинные процессы, назревавшие в обеих империях — и Российской, и Османской, развернувшиеся в следующем веке именно в отмеченных им формах (Стамбул — «раздавят», но «не таков Арзрум»), т.е. падение Османской империи исторически неизбежно, как и исходящее из глубины страны возрождение новой Турции<sup>1</sup>. Эта формула не потеряла актуальности для понимания современных событий в исламском мире. В конечном счете, это всеобщая формула имперской судьбы. Однако в общеимперской сравнительной ретроспективе Томпсон хватает духа «добежать» только до канадской границы, как героям рассказа О'Генри «Вождь краснокожих» (но с канадской же стороны).

По мнению Х. Бхабха, должна существовать прослойка интерпретаторов таких метафор, способствующих распространению текстов и дискурсов между культурами и готовых осуществлять то, что Саид называет актом секулярной интерпретации. «Проблемные поля современности определены амбивалентными темпоральностями пространства нации. Язык культуры и сообщества отражает разрывы настоящего, становясь риторическими фигурами национального прошлого. Историки, внимание которых приковано к истокам и настоящему нации, равно как и политические теоретики (помешанные на «модерновых» тотальностях нации, среди которых «ключевыми являются гомогенность, грамотность и анонимность»), никогда не ставят фундаментального вопроса о представлении нации в качестве темпорального процесса. Только когда современность нации становится перед альтернативой выбора, когда знание зажато между политической рациональностью и иррационализмом политики, между фрагментами (обрывками культурной сигнификации) и устремлениями националистической педагогики, — только тогда поднимается вопрос о нации как нарративе. Каким же образом можно представить нарратив нации — который при этом еще должен служить связующим звеном телеологии прогресса, — склонной к «вневременному» дискурсу иррациональности? Как нам следует понимать эту «гомогенность» модерности — общество, которое, будучи спротоцированным, способно превратиться в нечто подобное на архаическое тело деспотической или тоталитарной массы? В средоточии прогресса и модерности язык амбивалентности обнаруживает политику «без длительности», если

---

<sup>1</sup> Люсый А.П. Наследие Крыма. С. 159–160.

вспомнить давешнее провокативное высказывание Альтюссера: «Пространство без места, время без длительности»<sup>1</sup>.

«Толстой придал мифологическое измерение российской истории XIX ст., подобно тому, как Редьярд Киплинг придал мифологию “доброе” колониализма британским деяниям в Индии», — полагает Э. Томпсон<sup>2</sup>. Т.е., никакой «Хаджи-Мурат» (а до этого «Рубка леса») не может послужить «прощением» Льву Толстому за текстуально-имперский «грех» романа «Война и мир»! Кавказский текст Пушкина европоцентричен. Толстой же в «Хаджи-Мурате» (как и в «Казаках») переводит противопоставление «цивилизация — дикость» в противопоставление «естественное — искусственное». Весьма актуальное у Пушкина противопоставление Запада и Востока у него снимается вообще. Оба они при этом, по замечанию Б.А. Успенского, черпают из одного источника — идей Просвещения, но извлекают разную «пищу». Позиция Толстого восходит к идеям Руссо, а не Вольтера, как у Пушкина. В этом контексте цивилизация может переосмысливаться уже как отрицательное явление, противоположность «естественности», а не «дикости». Но противопоставление «естественное — искусственное» затрагивает прежде всего человеческую личность, а не отдельные социальные институты. «В сущности, “Хаджи Мурат” и “Путешествие в Арзрум” противопоставлены между собой так же, как противопоставлены “Кавказский пленник” Толстого и “Кавказский пленник” Пушкина: это противопоставление внешней и внутренней перспективы. В одном случае (у Пушкина) Кавказ показан глазами постороннего наблюдателя, посетившего эту страну, — как обобщенная картина, в другом случае (у Толстого) он показан изнутри; в одном случае это предмет оценки (эстетической или идеологической), в другом — проникновение во внутренний мир героя. Это противопоставление аналогично противопоставлению прямой и обратной перспективы: пользуясь этой метафорой, можно было бы сказать, что Пушкин ведет повествование в прямой перспективе, а Толстой — в обратной» (Успенский 2004, 29). Толстой освобождает своего Кавказского пленника от цивилизаторской миссии.

Э. Томпсон становится в позу разрезающего ясный женский глаз героя фильма Бунюэля «Андалузский пес», с тем, чтобы заменить его фрагментарным посткоммунальным зрением от Людмилы Петрушевской, противопоставленный Толстому. Конечно, Петрушевская интересный писатель, но такая операция, напоминающая также операцию по изменению пола, вряд ли подойдет как импе-

---

<sup>1</sup> Бхабха Х. Местонахождение культуры // Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского пограничья. 2005. № 3–4. С. 180.

<sup>2</sup> Томпсон Э. Трубадуры империи. С. 162.

риалистам, так и антиимпериалистам. Приведу в пример литературные вкусы генерала Джохара Дудаева, задумавшегося в 1993 году о новом названии Чечни. Чечня — это русское название, от небольшого, рядового населенного пункта Чечен-аул, поэтому оно не подходило амбициозным чеченским лидерам. Самоназвание чеченцев — «нохчи», и съезд ОКЧН (Общенациональный конгресс чеченского народа) назвал Чечню Нохчичьо. Тем не менее, это также не пришлось по вкусу лидерам мятежной республики. Откуда появилось название Ичкерия? Дело в том, что любимым поэтом генерала был Лермонтов, Дудаев многие стихи его знал наизусть, и осенью 1993 года он перечитал поэму «Валерик». «Нам был обещан бой жестокий. // Из гор Ичкерии далекой // Уже в Чечню на братний зов // Толпы стекались удалцов». Ичкерия — кумыкское слово, которое буквально переводится как «это место». Кумыки, а вслед за ними русские военные времен Кавказской войны называли так в своих сводках высокогорные земли. Именно в этом значении употребляет слово поручик Лермонтов. Чеченцами же название Ичкерия никогда не употреблялось, а в современной Чечне было и вовсе было неизвестно до Дудаева, читателя Лермонтова<sup>1</sup>.

Наш доморощенный ориентализм — текущий византизм. Не могу претендовать на оригинальность общих впечатлений от храма Софии в нынешнем Стамбуле. На ее месте, как нередко бывает с христианскими святынями, в языческие времена тоже было капище — по всей вероятности, храм Артемиды. Что же касается Софии, то сохранившаяся до наших дней Церковь Божественной Мудрости — третья по счету. Первую заложил около 330 года сам основатель новой столицы Константин Великий (от нее не осталось ни одного бесспорного фрагмента). Она была освящена в 360 году, но через 44 года сгорела. В 415 году Феодосий II построил на этом же месте новый храм. Но и тот был разрушен в 532 году во время восстания «Ника». Жестоко подавив это восстание, за дело взялся тот, при котором Византия находилась на пике своего могущества — Юстиниан, не жалевший никаких средств на постройку. София стала в разных смыслах храмом-собирателем. Для строительства были привезены остатки многих монументальных сооружений древности Греции и Рима. Из храма Артемиды в Эфесе (того, что некогда был подожжен Геростратом) привезли колонны. Мраморные плиты доставили из древних каменоломен Фессалии, Лаконии, Карии, Нумидии и со знаменитой горы Пентеликон близ Афин, из мрамора которой за десять ве-

---

<sup>1</sup> Шутова Т.А. Русские писатели в современной мифологии Кавказа // Кавказские научные записки. 2010. № 3(4).С. 75–76.

ков до Айя-Софии был построен на Акрополе Парфенон — Храм Девы-Афины. Центральные — Императорские — двери, по преданию, сделаны из остатков Ноева ковчега. Юстиниан в тщеславном порыве решил было вымостить пол плитами кованого золота; и даже все стены внутри храма намеревался покрыть золотом же, но его все же отговорили от этого. Известь для храма разводили на ячменной воде, в цемент добавляли масло, а для верхней доски патриаршего престола был создан материал, которого до того не существовало: в расплавленное золото бросали драгоценные камни — рубины, сапфиры, аметисты, жемчуга, топазы, ониксы. Полностью секреты строительного раствора разгадать не удалось, но налицо вещественное выражение исторического ритма — сначала византийская плоть впитывает золото и драгоценности, потом их оттуда варварски выковыривают завоеватели.

Работа, начатая 23 февраля 532 года, продолжалась 5 лет и 10 месяцев. «Я превзошел тебя, Соломон!» — воскликнул Юстиниан по окончании работ (называвший, кстати сказать, свою столицу Новым Иерусалимом, а не Римом). 916 лет София была главной церковью православного мира. В 1453 году взявший Константинополь султан Мехмед II Завоеватель повелел превратить собор в мечеть, каковой Айя-София была 481 год. В 1934 году по указу вождя новой, светской Турции Кемаля Ататюрка Айя-София была секуляризована и превращена в музей. Началась не лишенная идеологических коллизий реставрация. Для того, чтобы обнаружить и восстановить испорченную или закрашенную христианскую мозаику и иконы, реставраторы шли и на разрушение некоторых исторически важных элементов исламского искусства, в целом пытаясь сохранить баланс между обеими мировыми культурами.

Несколько приземленная покладистость храма снаружи, вполне органично впитавшая в свой облик и позже пристроенные четыре минарета, резко контрастирует с ощущением нигде не виданного простора внутри храма. Этот простор поглощает даже куда менее органичные, чем минареты, висящие на углах чуть ниже купола восемь щитов из ослиной кожи с изречениями из Корана и именами первых халифов. Ататюрк приказал убрать отсюда эти щиты, но сразу после его смерти в 1938 году они были возвращены на место. В 2006 году в храме было возобновлено и проведение мусульманских религиозных обрядов. Но храм остается прежде всего музеем.

Аналогичный упрек, насчет искажения исконного вида, можно сделать и по поводу упирающихся в купол реставрационных лесов (которые сами по себе представляют современное инженерное чудо). Невольно возникает обратное сравнение — не стали ли минареты своеобразными лесами-подпорками веры



(чтоб и христианство фаллически-реанимационно взбудить)<sup>1</sup>? В целом же именно константинопольская София, при всех ее «переделках», сформировала облик Стамбула. Между прочим, это тоже вполне греческое название, только с турецким акцентом. Топоним Стамбул (Istanbul) произошел от искаженного греческого выражения *eis ten polin* — «в город». Я пользуюсь учебником Ю.С. Маслова «Введение в языкознание»<sup>2</sup> а не несколько КВН-новскими хохмами «Путешествия в Стамбул» Иосифа Бродского, который приводит версию каких-то путеводителей (в случае со Стамбулом, как я убедился, весьма недостоверных)<sup>3</sup>.

Застраивая город мечетями, турки учились архитектуре прежде всего у прежних хозяев города — византийцев. У множества совершенно византийских на вид храмов XVI, XVII и даже XVIII веков, «украшенных» минаретами, прототип один и тот же, *софиеобразный*. Прав, пожалуй, политолог Сергей Черняховский: «Мусульманский Стамбул в каком-то смысле куда больше можно считать продолжателем Византии, чем Москву, ставшую центром и основой совершенно иного мира»<sup>4</sup>. Фактическое падение Византийской империи произошло еще в 1204 году, когда Константинополь с подачи Венеции был взят крестоносцами, почти шестьдесят лет (а не несколько дней, как турки) непрерывно грабившие город в рамках т.н. Латинской империи (Romania). Восстановленная же в 1261 году Византия Палеологов была уже явной пародией. Турки оказались в роли санитаров исторического биоценоза, и лес категорий пророс лесом мечетей. Неожиданный смысл приобретает неоднократно отмеченное позднее внешнее

<sup>1</sup> Без сомнения, ислам во многих отношениях был подлинной провокацией. Он был слишком близок к христианству географически и культурно. Он был близок к иудео-эллинистической традиции, он многое творчески заимствовал из христианства, он смог гордиться своими беспрецедентными военными и политическими успехами. Но и это еще не все. Исламские земли находятся совсем рядом и перекрываются с библейскими землями. Более того, сердцевина исламской сферы всегда была наиболее близким к Европе регионом — тем, что называют Ближним Востоком. Саид Э. Ориентализм. СПб., 2006. С. 116.

<sup>2</sup> Маслов Ю.С. Введение в языкознание. Учебник для филологических специальностей вузов. М.: Высшая школа, 1987.

<sup>3</sup> «На самом деле Стамбул -- название греческое, происходит, как будет сказано в любом путеводителе, от греческого «стан полин» -- что означает(ло) просто «город».»Стан»? «Полин»? Русское ухо? Кто здесь кого слышит? Здесь, где «бардак» значит «стакан». Где «дурак» значит «остановка». «Бир бардак чай» — один стакан чаю. «Дурак автобуса» -- остановка автобуса. Ладно хоть, что автобус только наполовину греческий... И христианство, и бардак с дураком пришли к нам именно из этого места». Бродский И. Путешествие в Стамбул.

<sup>4</sup> Черняховский С. Византизм как агония // <http://www.apn.ru/publications/article19489.htm>

сходство Атаюрка с волком (но не лесным, а — степным). О био-исторической органичности перетекания Византийской империи в Османскую свидетельствует не только архитектура, но характер имперского устройства, жестокие нравы монарствовавших в обеих империях династий, *вплоть*, так сказать, до института евнухов, какие бы осовременные византийско-русские метафоры ни проповедовал в своем *поп-кино* — нашумевшем телефильме «Гибель империи. Византийский урок» — архимандрит Тихон (Шевкунов). При этом турки, конечно, значительно упростили имевшую множество внутренних перегородок структуру общества<sup>1</sup>.

Что первым делом сделал Мехмед II, когда в 1453 году утихли страсти штурма? Приказал выбросить отсюда из могилы на съедение собакам прах 96-летнего венецианского дожа Энрико Дондоло, стараниями которого собравшиеся было опять освобождать Святую землю от неверных в рамках Четвертого Крестового похода крестоносцы и оказались у стен Константинополя. А потом, когда с пола была смыта кровь попытавшихся спастись здесь осажденных, внести в храм деревья в кадках и развесить по вервям золотые клетки с птицами, дабы производимое и на завоевателей здесь впечатление рая стало абсолютным. И неправда, что его конь поскользнулся на еще залитом кровью полу, и всаднику, чтобы не упасть, пришлось опереться о стену у алтаря ладонью, отпечаток которой и сейчас показывают докучливые гиды. На самом деле Мехмед вошел в Софию спешившись и даже посыпав свою тюрбан пылью в знак смирения и примирения — даже не дождавшись, когда с пола будет смыта кровь. Акт о взятии города Мехмед приказал составить по-гречески, на ионийском диалекте — языке Фукидида.

Однако вернемся к не столь назидательным истокам русского «Текста Софии» (или, может быть, текста невозможности *такого* текста) — там же, где и истоки русского текста как такового, в «Повести временных лет»: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба там лучше, чем в других странах». Лучше не скажешь и сейчас о силе эстетического воздействия внутреннего пространства Софии. Именно здесь случился с нами первый эстетический укус в орган веры. Вероятн,

---

<sup>1</sup> «Согласно закону Юстиниана, адресованному префекту претория Демосфену (531 г.), раб-ремесленник стоил 30 номисм, в то время как необученный раб — 20 номисм. Раб-евнух, владеющий каким-либо ремеслом, ценился в 70 номисм». Чекалова А. А.. Константинополь в VI веке. Восстание Ника. 1997.

стоит под этим углом перечитать и пушкинскую «Песню о вещем Олеге». А вот древние жители Крита, говорят, были устроены так, что когда их кусала змея, то она же и умирала...

Диагноз нашему вкусу поставил Василий Розанов. «Разлагаясь, умирая, Византия нашла России все свои предсмертные ярости и стоны и завещала крепко их хранить России. Россия, у постели умирающего, очаровалась этими предсмертными его вздохами, приняла их нежно к детскому своему сердцу и дала клятвы умирающему...»<sup>1</sup>. А суть этой клятвы заключалась прежде всего в том, чтобы хранить в сердце чувство смертельной ненависти к западным племенам, более счастливым по своей исторической судьбе. Так Второй и Третий Римы стали степенями отрицания первого, заемное неприятие... И воспринятый при этом христианский дух оказался опосредованным, утяжеленным множеством обременений, которыми византийское православие за несколько столетий успело уснастить христианскую веру, которые стали не приближать человека к Христу, а напротив, удерживать в некоторой дистанции. Место же укуса Византией Османской империи было опознано выше.

Для Владимира Соловьева («Византизм и Россия») византизм стал синонимом неспособности и нежелания выполнять главные жизненные требования христианской веры. Христианская идея оказалась для византийцев не движущим началом жизни, а лишь предметом умственного признания и обрядового почитания. Среди «общественных грехов» византизма — равнодушие государства к неформальной религиозно-гражданской, религиозно-нравственной жизни людей и к задачам ее развития<sup>2</sup>.

В деле государственного и религиозного строительства, по Соловьеву, России у Византии, в сущности, учиться нечему. «Россия с самого начала своей исторической жизни обнаружила преимущества своего религиозно-политического сознания перед византийским. Первый христианский князь киевский, который, бывши язычником, неограниченно отдавался своим естественным склонностям, — крестившись, сразу понял ту простую истину, которой никогда не понимали ни византийские императоры, начиная с Константина Великого, ни епископы греческие, между прочим и те, что были присланы в Киев для наставления новых христиан, — он понял, что *истинная вера обязывает*, именно обязывает переменить правила жизни, своей и общей, согласно с духом новой веры. Он понял это и в применении к такому случаю, который был неясен не для

---

<sup>1</sup> Розанов В. В. Религия и культура. Т. 1. М., 1990. С. 330.

<sup>2</sup> Соловьев В. С. Византизм и Россия // Византизм и славянство. Великий спор. М., 2001. С. 160.

одних византийцев; он нашел несогласным с духом Христовым казнить смертью даже явных разбойников. Новокрещенный Владимир понял, что отнимать жизнь у людей обезоруженных и, следовательно, безвредных — в отмщение за их прежние злодеяния, противно христианской справедливости. Замечательно, что в таком отношении к этому вопросу он руководился не одним только естественным чувством жалости, а прямо своим сознанием истинных христианских требований».

Худший пример византиста — патриарх Никон (кумир патриарха Кирилла). А вот как расценивает В. Соловьев скорее антивизантийскую направленность противоречивых, конечно, реформ Петра I: «Россия в XVII веке избежала участи Византии: она сознала свою несостоятельность и решила совершенствоваться. Великий момент этого сознания и этого решения воплотился в лице Петра Великого. Если Бог хотел спасти Россию и мог это сделать только чрез свободную деятельность человека, то Петр Великий был несомненно таким человеком. При всех своих частных пороках и дикостях, он был историческим сотрудником Божиим, лицом истинно провиденциальным, или теократическим. Истинное значение человека определяется не его отдельными качествами и поступками, а преобладающим интересом его жизни. И едва ли во всемирной истории есть другой пример такого, как у Петра Великого, всецелого, решительного и неуклонного преобладания одного нравственного интереса общего блага. От ранних лет понявши, чего недостает России, чтобы стать на путь действительного совершенствования, он до последнего дня жизни заботился только о том, чтобы создать для нас эти необходимые условия. В лице Петра Великого Россия решительно обличила и отвергла византийское искажение христианской идеи — самодовольный квиетизм. Вместе с тем, Петр Великий был совершенно чужд навуходоносоровского идеала власти для власти. Его власть была для него обязанностью непрерывного труда на пользу общую, а для России — необходимым условием ее поворота на путь истинного прогресса. Без неограниченной власти Петра Великого преобразование нашего отечества и его приобщение к европейской культуре не могло бы совершиться, и он сам смотрел на свое самодержавие как на орудие этого провиденциального дела»<sup>1</sup>. Но, в конечном счете, и Петр «принял смерть от коня своего»...

---

<sup>1</sup> Там же. С. 162.

## ЧАСТЬ III. УЗЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИСТОРИИ РОССИЙСКО-ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

М. Б. Свердлов

Санкт-Петербургский институт истории РАН,  
Санкт-Петербург, РФ

### ИМПЕРСКИЕ АМБИЦИИ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОСУДАРСТВ: РУСЬ И ПОЛЬША В X–XI ВВ.

В европейское раннее средневековье существовала устойчивая тенденция к территориальному расширению формирующихся государств, к подчинению ими соседних стран и племен, включая иноэтничные, к установлению над ними верховной власти, сюзеренитета, при сохранении в этих странах и племенах автономного самоуправления. Эта тенденция наиболее полно осуществилась в формировании Священной Римской империи Карла Великого, Священной Римской империи, начиная с Оттона I из Саксонской династии (962 г.). В славянском мире эта тенденция выразилась в образовании Первого Болгарского царства. В данном процессе иницирующую военно-политическую роль играл тюркский этнос. В начальной истории Польши и Руси также проявились имперские тенденции. При этом следует иметь в виду, что Русь уже в древнейший период являлась многоэтничным государством, в котором определяющее общественно-политическое и экономическое значение имели восточные славяне.

В Польше и на Руси в X — первой четверти XI в. существовали основные государственные институты<sup>1</sup>. Во главе этих раннесредневековых государств на-

---

<sup>1</sup> Здесь и далее обобщены выводы трех монографий: Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. Л., 1983. 238 с.; его же. Становление феодализма в славянских странах. СПб., 1997. 321 с.; его же. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI — первой трети XIII в. СПб., 2003. 735 с.; см. там же значительную литературу проблемы, привести которую в данной работе нет возможности.

ходились правящие династии, соответственно, Пястов и Рюриковичей, которые являлись институтом высшей публичной власти. В Польше — это время правления князей Мешко I и Болеслава Храброго, на Руси — княгини Ольги, князей Святослава Игоревича, Ярополка и Владимира Святославичей, Святополка Ярополковича, начало киевского княжения Ярослава Владимировича Мудрого.

Этим князьям служило иерархически организованное правящее сословие и состоящий из его представителей государственный аппарат. В Польше — люди знатные, *suffraganes* — «помощники», *duces* — «воеводы», возможно, «княжата», потомки племенных князей, *комесы*, которые находились во главе комитатско-провинциальных структур в составе *principes* — чиновников и *nobiles* — знатных по происхождению людей, обладающих почестями и социальными преимуществами, или, вероятно, рядовых рыцарей (здесь и далее обобщены наблюдения автора данной статьи, а также других исследователей). Ближайшее окружение Болеслава Храброго состояло из людей богатых и знатных — «магнатов» и более низких по положению «воинов» — *milites*. Такие низкие по положению княжеские служилые люди в польской латиноязычной лексике назывались феодальным термином, который относился к понятиям, характеризующим отношения князя (короля) и его дружины, — *fideles*, верные, «вассалы».

На Руси княжьи служилые люди назывались обобщающим славянским словом «дружина». Она также имела иерархическую структуру и состояла из «старшей дружины», «княжих мужей», и «младшей дружины», «отроков», со второй половины XI в. также «детских». Из числа «княжих мужей», а также родственников князь назначал на высшие военные и гражданские должности воевод, тысяцких, посадников. Отроки являлись княжескими воинами, исполняли княжеские административно-судебные поручения, престижно обслуживали князя и княжеский двор. Детские осуществляли только первые два этих вида функций.

Государственным институтом являлось войско. По подсчетам А. Надольского, войско первых Пястов насчитывало до 15 тысяч человек, из которых 3–5 тысяч составляли отряды князя и крупной знати. Это войско было регулярным, прекрасно вооруженным, что позволяло Болеславу Храброму успешно вести войны с грозными противниками, включая армии императора Священной Римской империи Генриха II<sup>1</sup>. Численность войска Рюриковичей не удастся научно обоснованно подчитать, но оно, состоявшее из княжеской дружины и ополчений, организованных по тысячам, а также наемников, скандинавов и печене-

---

<sup>1</sup> Nadolski A. Polskie siły zbrojne i sztuka w początkach państwa polskiego // *Początki państwa polskiego*. Poznań. 1962. T. I. S. 187–209.

гов, позволяло осуществлять князьям все виды военных действий в ближних и дальних кампаниях.

На Руси и в Польше существовало понятие «государственная территория». Было также понятие «границы Польши» (*fines Poloniae*). Устойчивым латиноязычным названием и самоназванием Польши являлось *Polonia*. На Руси государственную территорию обозначали словами «Русская земля» в широком понимании всех ее территорий. Еще в середине X в. византийский император Константин VII Багрянородный называл ее обобщающим хоронимом Ῥωσία, в латиноязычной лексике европейских стран ее названием являлись с начала XI в. *Ruscia*, *Ruzzia* и близкие к ним по форме хоронимы. В лесостепной зоне укрепленные границы по притокам Днепра были защищены обновленными так называемыми «змиевыми валами», построенными еще в скифское время, и городами-крепостями. Во второй половине X — первой четверти XI в. племенное деление в обеих странах было заменено территориальным, в Польше в соответствии с комитатско-провинциальной системой, на Руси — по городам с волостями и погостам.

На Руси уже в X в. существовала податная система от дыма-дома — хозяйства малой семьи. Эта подать — «дани» являлась фиксируемой, по белке или куннице (товаро-деньги, меховые денежные единицы), и погодной, регулярно взимаемой. То есть, она представляла собой обычный европейский, включая Византию, налог «подымное». Вероятно, в XI в. она была дополнена взиманием подати от единицы пахотной земли — плуга (сохи). В Польше со второй половины XI в. отмечаются такие же государственные подати: «подворовое» или «подымное» с дома и дворового хозяйства, «поральное» или «поволовое» — подать от рала (плуга), единицы пахотной площади. Можно предположить, что эти виды древних налогов существовали уже в X в. Со второй половины XI в. они были дополнены другими видами податей от сельской общины и крестьянского хозяйства.

Наконец, государственным институтом на Руси и в Польше являлась система юридических норм, которой руководствовались князья и княжеский суд во внутрис государственной юридической практике и при заключении международных договоров. На Руси это была «Правда Русская», нормы которой учитывались уже при заключении русско-византийских договоров 911 и 944 гг. Она существовала первоначально в устной форме и в XI — первой трети XII на ее основе были созданы два писаных судебника — Краткая Правда Русская и Пространная Правда Русская. В Польше такой источник права для данного периода неизвестен. Но Хроника Галла Анонима (написана, вероятно, в период от 1009

до 1117 г.) сообщает, что Болеслав Храбрый осуществлял верховный суд в равной мере над бедняком и вельможей. В хронике Козьмы Пражского сообщалось, что чешский князь Бржетислав переселил в Чехию плененных в 1039 г. поляков и, как написано в хронике, «предписал, чтобы как они, так и их потомки вечно пользовались теми законами, которые они имели в Польше». Отсюда следует, что в Польше первой трети XI в. существовали кодифицированные нормы права и они отличались от чешских.

Религиозно-идеологическим обобщением процесса формирования государства на Руси и в Польше стало введение христианства в качестве государственной религии. На Руси это событие произошло в 988–989 гг. с включением Русской митрополии в состав Константинопольской патриархии. В Польше в 1000 г. Болеслав Храбрый основал в Гнезно автокефальное архиепископство с епископскими кафедрами в Познани, Колобжеге, Вроцлаве и Кракове.

Раннесредневековым символом интеграции в европейской системе межгосударственных отношений являлись династические союзы, которые были тогда верхушкой айсберга отношений политических. Показателен в данной связи династический брак в середине X в. Мешко I и Дубровки, дочери чешского князя Болеслава I, который продолжал владеть тогда ранее им завоеванной Малой Польшей. О месте Мешко в системе Священной Римской империи свидетельствует его статус «друга императора».

Аналогично поступил Владимир Святославич. Он женился в 988 или 989 г. на багрянородной принцессе Анне и стал шурином византийских императоров-соправителей Василия II и Константина VIII. На своих златниках и сребрениках князь изображен сидящим на престоле со всеми императорскими инсигниями, в венце с крестом в центре и подвесками, со скипетром, в парадном одеянии (или в «кольчуге» с плащом), вероятно, в красных сапогах, которые показаны на сребрениках первого типа подчеркнуто выразительно. На изображениях Владимира отсутствовала только держава — символ императорской власти, главы христианского мира. Вероятно, эти инсигнии были получены Владимиром в качестве свадебного дара вместе с Анной, которая приплыла к своему жениху в Херсонес, который на Руси называли Корсунь.

Это изображение Владимира на монетах указывает на значительные политические и идеологические амбиции русского князя. О том же свидетельствуют и другие изображения на монетах Владимира. На аверсе златников и сребреников первого типа находятся также геральдический знак Владимира, трезубец и надписи «Владмир, а се его злато» на златниках и «Владмир на столе», то есть на престоле, на сребрениках, или «Владмир, а се его сребро». Они утвержда-



ли факты суверенного правления князя и осуществление им чекана монет как «королевской регалии». На реверсе златников и сребреников первого типа — изображение Христа Пантократора, как на византийских монетах того времени. Вероятно, оно свидетельствовало о включении Руси в единое с Византией церковное пространство.

Но на более поздних сребрениках второго типа отмечаются существенные изменения. Вокруг головы Владимира появился нимб — символ святости княжеской власти. На реверсе исчезло изображение Христа Пантократора, но появился княжеский трезубец, вероятно, как утверждение суверенитета княжеской власти Владимира по отношению к Византийской империи, а также верховенства светской власти над церковной. Текст на монетах сообщал: «Владимир на столе, а се его сребро», то есть он утверждал суверенное правление князя и осуществление им чекана монет как королевской регалии, но в то же время — разрыв политических и идеологических связей с Византийской империей. Видимо, последний факт отразился в словах немецкого хрониста и епископа Титмара Мерзебургского, современника событий (ум. 1018 г.), который написал, что Владимир «чинил большое насилие над слабыми данаями» (Thietmar. VII, 72).

На сребрениках третьего типа сохранились изображения монет второго типа, но исчез нимб вокруг головы князя и появилась подчеркнуто ясно чеканенная высокая спинка престола. Впрочем, на сребрениках четвертого типа вновь появился нимб над головой князя, тогда как престол показан в виде короткой скамьи с низкой спинкой, на ней — длинная подушка, как на изображениях Иисуса Христа или византийских императоров, восседавших на троне. Надпись на абсолютном большинстве этих монет традиционна: «Владимир на столе, а се его сребро». По мнению М.П. Сотниковой, монеты второго — четвертого типов чеканились одновременно и по одной изобразительной схеме, но являлись изделиями трех киевских мастеров. Исходя из географии находок златников и сребреников Владимира первого типа, а также сребреников второго — четвертого типов, изображений на них, техники чекана, весовой нормы, состава кладов, в которых они найдены, М.П. Сотникова пришла к убедительному выводу, в соответствии с которым, первые из них относились ко времени крещения Руси и женитьбы Владимира на принцессе Анне, тогда как вторые — к последнему периоду его правления<sup>1</sup>. К тому же, в утверждение составляющей имперской идеи первенства светской власти над церковной Владимир, оста-

---

<sup>1</sup> Сотникова М.П. Древнейшие русские монеты X–XI веков: Каталог и исследование. М., 1995. С. 191–192.

ваясь членом восточнохристианской Церкви, активно учитывал западнохристианский опыт. Он использовал католическую десятину для материального обеспечения митрополии *Ῥωβία*, как она называлась в византийском перечне митрополий Константинопольского патриархата<sup>1</sup>. После смерти Анны в 1011 г. Владимир, вероятно, женился на дочери графа Куно Онингена, внучке императора Оттона Великого<sup>2</sup>. Да и погребен он был в центре Десятинной церкви, как поступали по западнохристианскому обычаю, тогда как в восточнохристианской Церкви в храме не хоронили.

Экономический и военно-политический подъем обоих государств имел следствием столкновение их интересов в Галиции и на Вольни, завоевание Владимиром в конце X в. этих территорий на важнейшем торговом пути (на Краков, Прагу, в немецкие города) и находившихся там городов, имевших большое стратегическое значение, Перемышля, Червеня и других, которые к этому времени были заняты поляками. Показательно, что на Вольни был построен город, названный именем правящего русского князя — Владимир. Таким образом, Владимир маркировал своим именем новое владение своего государства, как и городом Василев — его южные пределы.

Формирование в XI в. огромных территориально и состоявших из разных народов русского и польского государств был очевиден авторам первых значительных летописных произведений начала XII в. в обеих странах. После того как автор «Повести временных лет» перечислил восточнославянские племена, которые вошли в состав Руси, он указал также народы, подчиненные Руси данническими отношениями: «А вот другие народы, дающие дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, ливы, — эти говорят на своих языках <...>» (перевод Д.С. Лихачева). То есть, перечислены все крупные народы, которые жили на северо-западе и северо-востоке Восточной Европы.

В Слове о Законе и Благодати, написанном между 1037 и 1050 гг., то есть всего через 22 года — 35 лет после смерти Владимира Святославича, будущий митрополит Иларион описал в жанре торжественного красноречия этот процесс территориального роста Руси и особого значения в ней монархической власти

---

<sup>1</sup> Шапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989. С. 25–26.

<sup>2</sup> В отличие от автора этой гипотезы Н.А. Баумгартена, А.В. Назаренко отнес этот брак к Ярополку Святославичу, что также нуждается в дополнительных разысканиях, см.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII веков. М., 2001. С. 361–363; см. там же литературу вопроса.

в имперских категориях: «И самодержцем (в древнерусском тексте — единоподержец) стал своей земли, покорив себе окружные народы, одни — миром, а непокорные — мечем» (перевод А. Юрченко).

Тот же процесс отметил и Галл Аноним в Польше во времена Болеслава Храброго, впрочем, также не без преувеличений: «Разве не он подчинил Моравию и Чехию, занял в Праге княжеский престол и отдал его своим наместникам. Кто как не он, часто побеждал в сражении венгров и всю страну их вплоть до Дуная захватил под свою власть? Неукротимых же саксов он подчинил с такой доблестью, что определил границы Польши железными столбами по реке Сале в центре их страны. Нужно ли перечислять победы и триумфы над языческими народами, которых, как известно, он как бы попирает ногами?» (перевод Л.М. Поповой). Действительно, кроме присоединения Малой Польши Болеслав Храбрый временно подчинил своей власти лужичан (1002–1031 гг.), Чехию (1003–1004 гг.), Моравию и Словакию (1004–1017/1018 гг.), Червеньские города (1018–1031 гг.).

Показательно, что для установления сюзеренитета над другими народами и государствами Болеслав Храбрый осуществлял не только военные действия. В Чехии он использовал родство с чешским правящим домом. Так же он поступил на Руси. Как следует из достоверных сведений Титмара Мерзебургского, сначала Болеслав, вероятно, зимой 1013/1014 гг. попытался военными действиями завоевать Галицию и Волынь. Потерпев неудачу, он заключил мир с Владимиром, и в соответствии с раннесредневековой традицией оба князя скрепили его династическим союзом дочери Болеслава (ее имя неизвестно) и усыновленного племянника Владимира Святополка Ярополковича, князя туровского.

Болеслав использовал стремление Святополка восстановить свое право на киевский стол, который был захвачен Владимиром после убийства своего брата и его отца Ярополка Святославича. Владимир нарушил при этом как волю отца, который посадил Ярополка в Киеве, а Владимира в Новгороде, так и порядок наследования в Киеве по старшинству. Как следует из сообщений Титмара Мерзебургского, вероятно, при поддержке Болеслава Святополк, его жена и ее духовник епископ Рейнберн организовали заговор. О нем стало известно Владимиру Святославичу, по приказу которого заговорщики были арестованы и заключены в одиночные заключения, где Рейнберн умер (Thietmar. VII, 72).

После смерти Владимира 15 июля 1015 г. Святополк вокняжился в Киеве, но был изгнан зимой 1016 г. своим племянником новгородским князем Ярославом Владимировичем, так что Святополк должен был бежать к своему могущественному тестю в Польшу. Болеслав смог помочь своему неудачливому зятю

только в 1018 г., когда заключил Будишинский мир с императором Священной Римской империи Генрихом II. В августе этого года Болеслав со своим великолепно подготовленным войском, с отрядами немецких и венгерских воинов и наемной конницей печенегов совершил марш-бросок на Киев, разбив по пути на Западном Буге разрозненное по составу войско Ярослава, который пытался остановить это вторжение.

После поражения на Буге Ярослав должен был бежать в Новгород, тогда как киевский митрополит и киевляне торжественно встретили Болеслава и прибывшего с ним Святополка. Однако, польский князь вместо того, чтобы вернуть власть на Руси зятю, стал осуществлять действия, которые свидетельствовали о его намерении установить сюзеренитет над Русским государством, то есть осуществить то, что не удалось в Чехии. Он захватил огромную княжескую казну, часть которой потратил на вознаграждение своего войска и наемных отрядов, а остальное отправил в Польшу. Польское войско он отправил на «покорм» в близкие к Киеву города. Из захваченного серебра он чеканил монеты с кириллической надписью «Болеславъ», реализовав право «королевской регалии». Имя князя на монетах указывало сюзерена и реального правителя страны. Наконец, он сделал наложницей сестру Ярослава Предславу, унизив тем самым династию Рюриковичей<sup>1</sup>.

Все эти действия свидетельствовали о том, что Болеслав Храбрый стремился осуществить свои имперские амбиции также по отношению к Руси. Возможно, их особо жестокий характер должен был уничтожить на Руси попытки возродить имперские амбиции, которым ранее успешно следовал Владимир Святославич. Впрочем, действия Болеслава в Киеве, как и в Чехии, встретили активное сопротивление населения. Святополк Ярополкович оказался без реальной власти. Поэтому автор Повести временных лет или ранее его источник, Начальный свод (1093–1095 гг.), приписали Святополку призыв к восстанию и избиению польских воинов. Так что Болеслав должен был быстро выйти из Киева со своим войском, но при этом он захватил «богатства», пленных, сестер Ярослава, его мачеху, т. е. вдову Владимира Святославича. Осуществление имперской идеи Болеслава по отношению к Руси не удалось. Но на обратном пути он захватил Червеньские города.

Принадлежа к системе Священной Римской империи, Болеслав Храбрый не мог назвать себя императором, но титул короля в год своей смерти, в 1025 г., он получил.

---

<sup>1</sup> Swierdłow M.B. Jeszcze o “ruskich” denarach Bolesława Chrobrego // Wiadomości numizmatyczne. 1969. R. 13, zes. 3 (49). Warszawa. S. 175–180.

Ярослав Владимирович, прозванный Мудрым, изгнал Святополка из Киева зимой 1018/1019 г. После смерти в 1036 г. своего брата Мстислава Владимировича, который отвоевал у него в 1024–1026 гг. восточную половину государства, Ярослав восстановил политическое единство страны. Последующие его действия определялись имперской идеей преемственности–вызова по отношению к Византийской империи. Они имели кроме реального содержания символизированный характер: строительство в Киеве храма святой Софии, значительных городских укреплений с Золотыми воротами, как в Константинополе. Подобно отцу, он маркировал пределы своего государства городами, названными своими восточнославянским и крестильным именами — Ярославль, Юрьев. Храмы святой Софии, построенные на основных торговых путях того времени по Днепру в Киеве, на Волхове в Новгороде и после смерти Ярослава на Западной Двине в Полоцке свидетельствовали об особом значении в то время культа святой Софии, освящавшей все пространство «Русской земли». По указанию Ярослава собор русских епископов избрал митрополитом Илариона, пресвитера церкви в княжеском селе Берестовом и, вероятно, княжеского духовника.

Все эти и другие действия Ярослава свидетельствовали о продолжении им имперской политики отца, что в полной мере обоснованно отметил современник событий Иларион, который обращался в Слове о Законе и Благодати к существу на небесах Владимиру Святославичу: «Доброе же весьма и верное свидетельство [тому] — и сын твой Георгий, которого соделал Господь преемником власти твоей по тебе, не нарушающим уставов твоих, но утверждающим, не сокращающим учреждений твоего благоверия, но более прилагающим, не разрушающим, но созидающим. Недоконченное тобою он докончил, как Соломон — [предпринятое] Давидом».

В соответствии с законами исторического развития со второй половины XI в. в Польше и на Руси наметились все более возрастающие в дальнейшем процессы политической раздробленности этих стран при сохранении единства их культурного и церковного пространства. Эти процессы имели следствием исчезновение из общественно-политической и идеологической практики польских и русских князей имперских амбиций. Но в результате русско-польские отношения свелись к осуществлению локальных княжеских интересов — как при заключении политических и династических союзов, так и в военных действиях, свойственных средневековью.

**В. Г. Вовина-Лебедева**

Санкт-Петербургский институт истории РАН,  
Санкт-Петербург, РФ

## ОБРАЗ ПОЛЬСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ СМУТЫ И ЕГО РАЗРУШЕНИЕ

Советская парадигма в исследовании Смуты начала XVII в. возникла как противопоставление досоветской. За пять лет до революции, в 1912 г., по стране прошли торжества, связанные с трехсотлетним юбилеем освобождения Москвы от захватчиков, чествованием памяти Минина и Пожарского, к чему была приурочена и канонизация патриарха Гермогена, мученически погибшего в Кремле в период пребывания там польско-литовского гарнизона. Эти торжества были пропитаны духом национализма, русского патриотизма, идеализацией начала династии Романовых (приход к власти которой был следствием событий 1612 г.) и вообще русского XVII века, а также прославлением православия, отстоявшего себя в столкновении с католицизмом.

Все это после 1917 г. не годилось. Новую историческую парадигму можно назвать «классовой». В основе ее лежало интернациональное, а не национальное понимание истории. Главным идеологом такого подхода был М. Н. Покровский. Он первым сформулировал тезис, что Смута — это классовый конфликт. Во всей сложности событий начала XVII века он видел только социальные движения. Самозванцы Лжедмитрий I и Лжедмитрий II — «крестьянские цари». Только по причине объединения дворян и бояр против «крестьянских царей» восставшие были вынуждены «дружить с иноземцами» и вместе с ними бороться с дворянами. Ополчения же, в том числе нижегородское ополчение во главе с Мининым и Пожарским — это явление контрреволюции.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что «Русская история в самом сжатом очерке»<sup>1</sup> была издана в 1920 г. — в год советско-польского противостояния. Но даже это не вызвало соблазна провести параллель с событиями трехсотлетней давности. В новом понимании истории национализму не было места.

Глава, посвященная Смуте, называется у М. Н. Покровского «Крестьянская революция».<sup>2</sup> Прежним, то есть буржуазным, историкам, по мнению Покровского, хотелось скрыть классовую сущность движения, поэтому они «стали рассказывать, что будто новый царь Лжедмитрий или Названный Димитрий,<sup>3</sup> как его называли, выдвигался именно польскими помещиками и католической церковью». Тут как раз пригодилась параллель с современностью, но не с советско-польской войной, а с революцией в России: в 1917 г. «буржуазные газеты тоже рассказывали, что это дело устроили немцы, что все это подкуплено, устроено на иностранные деньги и т.д.»<sup>4</sup>

По поводу приглашения королевича Владислава на московский трон М. Н. Покровский заметил лишь, что «очень скоро заговорщики должны были убедиться, что они променяли кукушку на ястреба». Забавно, что, таким образом, кукушкой оказывался прежний царь Василий Шуйский, а ястребом — польский король Сигизмунд. Сигизмунд был «представителем тогдашнего польского империализма». «Польские помещики...стали мечтать о том, чтобы попросту присоединить Московское государство к Польше, как они раньше...присоединили к Польше Литву».<sup>5</sup> Король стал раздавать земли своим соратникам, и только это вызвало недовольство его политикой и «брожение», хотя об истинной его подоплеке (конкуренции) открыто не говорилось. Купец Минин стал собирать ополчение, якобы для «освобождения Москвы от поляков и единоверцев», а на деле («в том-то и состояла его гениальная выдумка») обещал высокое жалованье.<sup>6</sup> Поэтому-то на его сторону и встало население. В результате «в Москве торжествовали победу православия над католицизмом, который якобы опять хотел забраться сюда, как при первом Дмитриии», но защита родины и защита своей мощны у этих людей, как у буржуазии всех времен, сливалась...в одно».<sup>7</sup> В итоге, «в лице Минина и Пожарского одержал победу торговый капитал (важ-

<sup>1</sup> Покровский М. Русская история в самом сжатом очерке. Части I и II (От древнейших времен до второй половины 19-о столетии). М. 1920.

<sup>2</sup> Там же. С. 65 и далее.

<sup>3</sup> М. Н. Покровский старался избегать понятия «Лжедмитрий».

<sup>4</sup> Там же. С. 66.

<sup>5</sup> Там же. С. 75.

<sup>6</sup> Там же. С. 77.

<sup>7</sup> Там же. С. 78.

нейшее для М. Н. Покровского понятие), для которого купцы были хозяевами, а помещики — первыми и ближайшими слугами».<sup>1</sup>

Другая парадигма — патриотическая — не сразу была усвоена советскими историками.<sup>2</sup> С начала 1930-х гг. (рубеж — 1934 г.) появились новые идеи по поводу национального вопроса и преподавания истории. Патриотизм стал осознаваться как явление прогрессивное. И это было направлено против идей Троцкого о мировой революции как главной цели современной истории. Мысль, что самодержавие не представляло собой интересы исключительно только господствующих классов, конечно, была прямо противоположна взгляду М. Н. Покровского, умершего в 1932 г. Взгляды Покровского подверглись официальному осуждению, к которому были привлечены в его ученики.<sup>3</sup> В числе прочих обвинений Покровскому инкриминировался троцкизм. В частности, оценка Смуты как казачье-крестьянской революции, когда самозванцы признавались ее вождями, была признана ошибочной.

Пришедшая в этот момент на смену интернационалистского понимания истории патриотическая парадигма позволила писать об исторической прогрессивности самодержавия в Московский период. Иван Грозный стал положительным героем русской истории. Теперь объединительные процессы в русской истории не отождествлялись с одним «национальным гнетом». Сутью Московского государства стало объединение многонационального типа. В 1936 г. эта позиция была закреплена в замечаниях Сталина, Кирова и Жданова на конспект учебника истории СССР.<sup>4</sup>

Смута оказалась очень важным пунктом новой программы преподавания и исследования русской истории. В 1930-е — 1940-е гг. Лжедмитрий II перестал трактоваться как народный царь, а его движение стало именоваться интервенцией («скрытой формой интервенции») Речи Посполитой против России. Нужно было как-то объяснить народный характер этого и других антиправительственных движений Смуты. Поэтому писалось, что народ сначала не разобрался

---

<sup>1</sup> Там же. С. 80.

<sup>2</sup> Дубровский А. М. Историк и власть. Историческая наука в СССР и концепции истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.) Брянск, 2005; Юрганов А. Л. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М., 2011.

<sup>3</sup> См.: Пичета В. И. Крестьянская война и борьба с иностранной интервенцией в начале XVII века // Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского. Сборник статей. Часть вторая. М.:Л., 1940. С.91–139.

<sup>4</sup> Сталин И. В., Жданов А. А., Киров С. М. Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР. См.: Сталин И.В. Сочинения. Т. 14.



в происходящем, а когда разобрался (т.е. когда «правящие круги Польши и Литвы» попытались захватить Москву), встал на ее защиту и изгнал интервентов из России.

В таком ключе написаны работы А. А. Савича<sup>1</sup>, А. И. Козаченко<sup>2</sup>, Л. Б. Генкина<sup>3</sup>. Сразу бросается в глаза, что все они вышли в свет в 1939 г., и трудно не предположить тут связь с пактом Молотова-Рибентропа. На первый взгляд, кажется, что все эти работы появились под влиянием событий сентября 1939 г. Однако, как оказывается, они были сданы в набор гораздо раньше: в апреле 1939 г. (Генкин), январе 1939 г. (Козаченко), марте 1939 (Савич). Это одно из свидетельств того, что Сталин шел к пакту и разделу Польши давно. Все указанные работы отличает выраженная антипольская риторика.

А. А. Савич был учеником М. К. Любавского по учебе в МГУ, и это важное обстоятельство. Выдающийся историк Матвей Кузьмич Любавский был известен как автор трудов по истории Литвы и Польши. В 1930 году Любавский был арестован по так называемому «академическому» делу («дело академика Платонова»), одновременно с другими виднейшими историками. В феврале 1931 года был арестован и в июне расстрелян за «контрреволюционную деятельность» его сын Валериан, а сам Любавский был лишен звания академика и осужден на 5 лет ссылки. Он был выслан в Уфу, где скончался в 1936 г. вскоре после окончания срока ссылки. А. А. Савич в период академического дела был профессором, заведующим кафедрой истории народов СССР Пермского индустриально-педагогического института. Он создал научную школу пермских историков, начал исследование истории русской колонизации Пермского края, народных движений на его территории и хозяйственного освоения Прикамья. В 1932 году, обвиненный в том, что проводит «антимарксистские установки в своих научных трудах» и не обеспечивает «преподавание своего предмета на основе марксистско-ленинской методологии», он был «отчислен» от занимаемой должности профессора Пермского пединститута, однако в дальнейшем переведён в Ярославский пединститут, а в дальнейшем работал в Минске и в Москве.

---

<sup>1</sup> См.: Савич А. А. Польская интервенция начала XVII в. в оценке М. Н. Покровского // Против исторической концепции М. Н. Покровского. М.; Л. 1939; Борьба русского народа с польской интервенцией начала XVII в. М. 1939.

<sup>2</sup> Козаченко А. И. Борьба русского народа с польско-шведской интервенцией начала XVII в. М. 1939; Разгром польской интервенции в начале XVII века. М. 1939.

<sup>3</sup> Генкин Л. Б. Ярославский край и разгром польской интервенции в Московском государстве в начале XVII в. Ярославль. 1939.

В указанных книжках (скорее, брошюрах) Лжедмитрий I и Лжедмитрий II обозначены автором как «польские захватчики», которые «дважды пытались превратить Московское государство в полуколонию».<sup>1</sup> Вслед за ними наступила «открытая интервенция». Впрочем, антипольские выпады в книге Савича довольно скромны, в основном он сосредоточился на изложении фактов. В заключении сказано: «В борьбе начала XVII в. русский народ вел справедливую, освободительную войну против захватнической войны польских панов, и потому все живые силы русского народа объединились в той борьбе и изгнали интервентов» (с. 56).

Другой автор — Л. Б. Генкин — был «красным доцентом», сделавшим карьеру в комсомоле и партии, политработником, преподавателем в Ярославле. В своей работе он написал: «Польские магнаты и шляхтичи с напряженным вниманием следили за теми событиями, которые происходили в Московском государстве... мечтали о завоевании России».<sup>2</sup> Сигизмунд «резко возражал против приезда в Москву ученых, архитекторов, мастеров... культурных людей из-за границы... пытались изолировать Россию от других стран, затормозить культурное развитие русского народа, ослабить русское государство в военном отношении». Лжедмитрий I — «изменник родины, проходимец».<sup>3</sup> После его прихода в Москву «настоящими ее хозяевами оказались польские магнаты». Высланные в Ярославль Мнишек и другие поляки получали «шпионскую информацию» о происходящем в стране от Николая Мело (католического монаха, который содержался в Борисоглебском монастыре и «узнавал от монахов» о происходившем в стране).<sup>4</sup> Пленные организовывали «шпионскую сеть», налаживали связи с Польшей. Войско Лжедмитрий II — «крупное и хорошо организованное польское войско».<sup>5</sup> Король Сигизмунд якобы принимал активное участие в организации похода. Тушино называется центром интервентов, врагов, желающих «уничтожить русское национальное государство».<sup>6</sup> Автором были приведены сильные выдержки из источников, описывающих бедствия от иностранного нашествия, например, из Сказания Авраамия Палицына. Поэтому народ встал на борьбу («интервенты торжествовали слишком рано»)<sup>7</sup> Иван Сусанин — пример

---

<sup>1</sup> Савич А. А. Борьба русского народа... С. 7.

<sup>2</sup> Генкин Л. Б. Ярославский край... С. 52.

<sup>3</sup> Там же. С. 52–53.

<sup>4</sup> Там же. С. 61.

<sup>5</sup> Там же. С. 65.

<sup>6</sup> Там же. С. 87.

<sup>7</sup> Там же. С. 114.

замечательного патриотизма русского народа. Итог: «Более трех столетий прошло с тех пор, как великий русский народ, несмотря на предательство князей и бояр, сумел разгромить польских захватчиков и интервентов...И если враг — фашистские авантюристы и захватчики — осмелится напасть на нашу страну... его ждет судьба много худшая, чем та, которую испытали польские интервенты в начале XVII в.»<sup>1</sup>

Наиболее грубо написана брошюра Козаченко «Разгром польской интервенции в начале XVII века». Автор — популяризатор, специализировавшийся на исторических брошюрах — например, о Ледовом побоище, в которой было много неточностей, вошедших затем в литературу.<sup>2</sup> В брошюре о Смуте сказано, что еще в конце X в. «польский князь Мешко пытался захватить западно-украинские земли», но князь Владимир «освободил эти земли из-под власти Польши». Затем в XI в. это же хотел сделать польский король Болеслав, но «восстание народа заставило уйти наглых захватчиков».<sup>3</sup> Итак, вся история Польши представляла как постоянное стремление нанести вред России. К XVII веку «погрязшее в омуте разврата, излишеств, роскошной и праздной жизни, польское панство проедало, пропивало, проигрывало колоссальные доходы, которые оно наживало путем неслыханного в Европе угнетения польских, украинских, белорусских и литовских крестьян». Паны «утратили чувство патриотизма, служили не интересам государства в целом, а интересам отдельных магнатов...» «Польское правительство все время следило за состоянием Русского государства: много здесь было всяких польских шпионов...».<sup>4</sup> Разумеется, Лжедмитрий I — это «первая попытка польской интервенции». Марина Мнишек получила задание «шпионить». Во время восстания 1606 г. толпа «требовала добить польского агента» (Лжедмитрия I).<sup>5</sup> Это уже — почти цитата из газетных статей о московских процессах 1936–1938 гг. Лжедмитрий II — «вторая попытка». А затем началось «открытое выступление Польши». (Именно «Польши» — Козаченко не обращал внимание на то, что речь должна идти о польско-литовском государстве). В конце Смуты стало окончательно видно «звериное лицо наглых разбойников — польских панов».<sup>6</sup> Автор специально подбирал выдержки из источников, подчеркивающих жестокость поляков (убийство детей, насилие над

---

<sup>1</sup> Там же. С. 169.

<sup>2</sup> См.: Козаченко А. И. Ледовое побоище. М. 1938.

<sup>3</sup> Козаченко А. И. Разгром польской интервенции...С. 23–24.

<sup>4</sup> Там же. С. 25–26.

<sup>5</sup> Там же. С. 100.

<sup>6</sup> Там же. С. 119.

женщинами и пр.) Подчеркивается людоедство среди поляков, осажденных в Кремле и умирающих от голода (смакуются детали). По поводу сдачи Кремля было сказано: «Пожарский не допустил напрасного кровопролития. Он сдержал свое слово, сохранил жизнь пленным», хотя известно, что часть сдавших поляков, вышедших не к Пожарскому, а к казакам Первого ополчения, была ими перебита. После сдачи Кремля, «успешно шла ликвидация банд захватчиков по всей стране»<sup>1</sup> (фраза, напоминающая сводки времен гражданской войны красных и белых). В дальнейшем «паны не сумели создать сильное, развитое централизованное государство, которое могло бы сохранить в дальнейшем свою независимость» — отсюда и разделы Речи Посполитой, причина которых в слабости самой Польши.<sup>2</sup> Далее, в 1918 г., вновь возникло польское государство, но власть в нем опять оказалась в руках панов, вставших «на путь захватов и грабежей». Соответственная оценка дана войне 1920 г. Общий вывод: «Польские паны после 1918 г. за 21 год существования Польши не могли создать крепкое национальное государство».<sup>3</sup>

В том же 1939 г. была переиздана монография П. Г. Любомирова «Очерк истории нижегородского ополчения 1611–1613 гг.», опубликованная впервые в 1917 г. Второе издание было сдано в набор также весной 1939 г. Оно, как было указано в предисловии «От издательства», выпускалось «с небольшими редакционными изменениями», которые касались терминологии (использование понятий Смута, инородцы, обитель, старцы) и т.д. В предисловии уже во втором предложении сказано, что «в напряженной внешней борьбе Московское государство отстояло свою независимость против захватнических планов польских и шведских интервентов».<sup>4</sup> И ниже: «Историки» из школы Покровского попросту выбросили вопрос о польско-шведской интервенции и о борьбе великорусского народа, который в ополчении 1611–1613 гг. отстоял свою национальную самостоятельность». Хотя у автора отмечается «выпячивание роли духовенства, религиозного начала в организации движения». Кроме этих слов во введении, не принадлежащих уже покойному тогда Любомирову, в работе, носящей в лучшем смысле слова позитивистский характер, не было особенных обобщений и, уж конечно, не было каких-либо политических или моральных оценок тех или иных сил, участвующих в Смуте.

---

<sup>1</sup> Там же. С. 162.

<sup>2</sup> Там же. С. 170–171.

<sup>3</sup> Там же. С. 173.

<sup>4</sup> Любомиров П. Г. Очерк истории нижегородского ополчения 1611–1613 гг. М. 1939. С. 3.

В послевоенное время (конец 50-х гг.) важную роль в исследовании начала XVII в. сыграли работы И. С. Шепелева и Н. П. Долинина. До этого можно отметить работу Н. Л. Рубинштейна, в которой упоминалась «борьба за существование независимого Русского государства».<sup>1</sup>

И. С. Шепелев был учеником очень известного историка русского средневековья И. И. Смирнова. К тому времени, о котором идет речь, И. И. Смирнов уже был автором знаменитой монографии о восстании Болотникова<sup>2</sup> и считался крупнейшим авторитетом в области исследования Смутного времени. Как и Смирнов, Шепелев считал Лжедмитрия II ставленником правящих кругов Речи Посполитой, употреблял в отношении него термин «скрытая интервенция».<sup>3</sup> С конца 1930-х гг. эти оценки стали общим и обязательным местом советской историографии. Но исследования И. С. Шепелева представляли другой интерес. Как и И. И. Смирнов, он был настоящим ученым, глубоко знающим источники, опирающимся на них, а не на общие схемы, и его работы далеко продвинули изучение Смуты, в особенности, ее середины, связанной с движением Лжедмитрия II и историей Тушинского лагеря. И особенно свежим был собранным им материал по истории Первого ополчения, которое до того почти всегда оказывалось в тени более успешного Второго (нижегородского) ополчения.

<sup>1</sup> Возникновение народного ополчения в России в начале XVII в. // Труды государственного исторического музея. Т. 20, Военно-исторический сборник. 1948.

<sup>2</sup> Смирнов И. И. Восстание И. И. Болотникова. 1606–1607 гг. М.–Л. 1951.

<sup>3</sup> Шепелев И. С. 1) К вопросу о классовой борьбе в Русском государстве в годы польско-литовской интервенции // Ученые записки (гуманитарные науки). Пятигорск, 1955. Т. 10; 2) Борьба первого земского ополчения за освобождение Москвы от иноземных захватчиков в 1611 году // Известия Воронежского государственного педагогического института. 1958. Т. 26. С. 99–115. В обеих статьях употребляется в отношении движения Лжедмитрия II понятие «польско-литовские интервенты», «участники интервенции» и пр. «Выполняя волю короля, гетман (Жолкевский — В. В.) пытался угрозами и разбоем запугать русский народ». Коварство — отличительная черта поляков. Гетман «вел ...игру, чтобы притупить бдительность в Первом ополчении и окончательно договориться в королю о походе под Москву». (См. Шепелев И. С. Борьба первого земского ополчения... С. 103). Здесь И. С. Шепелев шел за русскими источниками, в которых проводилась именно эта мысль. Главный вывод статьи: первое ополчение выражало «общенациональные интересы страны», заключавшиеся в том, чтобы «избавить страну от порабощения». (Там же. С. 114). «Ополчение возникло в условиях всеобщего недовольства русского народа польскими интервентами». «Все население страны было охвачено единой мыслью — освободить Родину от интервентов». Поэтому, это движение не продворянское, а общенародное. Его неудача заключалась в том, что Ляпунов стал заниматься делами одного своего класса.

Очень важна была книга И. С. Шепелева, написанная в то же время, что и статья о первом ополчении.<sup>1</sup> Несмотря на блеклое название, в ней содержалось много нового и ценного материала, а трактовки его во многом, не устарели до сих пор. Книгу И. С. Шепелева отличает полнота используемых материалов. Характерно, что он пользовался и доступными ему (автору, работавшему в провинции) польскими источниками. Во введении была дана характеристика позиции М. Н. Покровского. Покровский «дал отрицательную характеристику выступлению народных масс против польско-литовских захватчиков и тушинцев».<sup>2</sup> Последнее слово важно. Шепелев, фактически, показал, что тушинцы — это московские люди в значительной своей части, и что позднее они частью перешли в первое ополчение, а частью — противостояли ему в Москве. Появление Лжедмитрия II — «начало интервенции польско-литовскими панами», а ополчения — «освободительная война в защиту не царя Шуйского, а Родины, ее национальной независимости». Работа Генкина оценивалась Шепелевым высоко, как и статья Рубинштейна, но на самом деле книга Шепелева была написана на гораздо более высоком уровне, и сравнивать их можно лишь в оценочной части.

То же самое можно сказать о другом авторе, важнейшем для пятидесятых годов — Н. П. Долине, небольшая, но важная работа которого появилась одновременно с трудами Шепелева.<sup>3</sup> Долинин, как и Шепелев, сделал предмет своих интересов Первое ополчение, самостоятельно исследовав большой массив источников. Основное внимание он обратил на роль казаков в освобождении Москвы, впервые показав их не просто как деструктивную стихию, но как важную социальную силу.

Книги И. С. Шепелева и Н. П. Долинина были частью «патриотической» парадигмы, но, в основном, по своей риторике, а собранный и проанализированный ими материал облегчил и даже подготовил переход к новому пониманию Смуты.

Третья историографическая парадигма — Смута как «гражданская война». Перелом наступил в 1980-х гг., когда появились работы А. Л. Станиславского и Р. Г. Скрынникова.<sup>4</sup> Именно эти два автора изменили представление о Смуте как о

---

<sup>1</sup> Шепелев И. С. Освободительная и классовая борьба в Русском государстве в 1608–1610 гг. Пятигорск, 1957.

<sup>2</sup> Там же. С. 14.

<sup>3</sup> Долинин Н. П. Подмосковные полки (казацкие «таборы») в национально-освободительном движении 1611–1612 гг. Харьков, 1958.

<sup>4</sup> Скрынников. Минин и Пожарский: Хроника Смутного времени. М., 1981. Серия ЖЗЛ; Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII века. «Смута». М. Мысль. 1988;

крестьянской войне. А. Л. Станиславский показал, что главой разрушительной силой, действующей в Смуту, было «вольное казачество». Это не были донские или волжские казаки, уже давно обитавшие на окраинах страны. «Вольные казаки» — собрание выходцев из разных социальных слоев прямо в центре Московского государства. Это были люди, лишившиеся своего прежнего социального статуса, оказавшиеся в результате хозяйственного кризиса выброшенными на улицу и не получившими защиты у царя: и бывшие служилые люди, и бывшие крестьяне, и бывшие посадские, и бывшие холопы. Значительную долю среди них занимали холопы-послужилцы (Р. Г. Скрынников употреблял понятие «боевые холопы»), профессиональные военные. Именно «вольные казаки» стали основной силой всех антиправительственных лагерей в Смуту. Они были заинтересованы в продолжении беспорядков, т.к. не имели прочного положения, службы и жалованья, необходимых для жизни, и добывали средства к ней в основном грабежом или же находились на содержании у самозванцев.

Р. Г. Скрынников показал, что основным социальным противоречием внутри корпорации служилых людей была ненависть плохо обеспеченных поместьями и денежными окладами мелких детей боярских южных уездов (лишь сравнительно недавно вошедших в состав Московского государства) к хорошо обеспеченным «московским служилым людям», т. е. столичным дворянам, стольникам и, тем более, думным чинам. Именно «служилая мелкота» южных уездов стала питательной средой всех антиправительственных начинаний. Через эти уезды шли отряды всех самозванцев, быстро обрстая участниками из числа местных служилых людей. Эти уезды назывались «украиной», иногда «северскими землями», «рязанской украиной», т. к. располагались вблизи границы, а наиболее отдаленные части уже считались Диким полем.

Таким образом, Станиславский и Скрынников ушли от понимания Смуты как крестьянской войны, идущей от книги И. И. Смирнова. Вместо классового конфликта они увидели борьбу внутри слоя служилых людей. Стержень Смуты лежал во внутренних проблемах Московского государства, а не в нашествии иноземцев, которое лишь обострило ситуацию. Р. Г. Скрынников выступил против оценки движения Лжедмитрия II как «скрытой интервенции», подчеркивая, что этот самозванец был выдвинут русскими повстанцами.

Ученик Р. Г. Скрынникова, И. О. Тюменцев стал исследовать движение Лжедмитрия II, опираясь на широкий круг документов, в том числе на открытые им

---

Станиславский А.Л. Гражданская война в России XVII в.: Казачество на переломе истории. М., Мысль. 1990.

в Шведском государственном архиве польские материалы, и будучи уже совершенно свободным от старых оценочных схем. В некоторых отношениях он шел вслед за польским историком Я. Мацшевским. Лжедмитрий I и Лжедмитрий II, по его мнению, не были ставленниками Речи Посполитой, правящие круги которой, а также общественное мнение, первоначально были против вмешательства в дела Московского государства. Наемники действовали в своих корыстных интересах. «Скрытая интервенция» началась, только с момента посылки отряда Яна Сапеги. Недальновидная политика Сигизмунда III сделала невозможным альянс Москвы и Варшавы и ослабила польско-литовское государство перед испытаниями, которые были уготованы ему в середине XVII в.

И. О. Тюменцев не только показал, что «тушинцы» не были «интервентами», но я объяснил массовую природу этого движения. Население уездов, переходивших на сторону Лжедмитрия II, особенно служилые люди, извлекали большие выгоды для себя. Те, кто при обычном ходе дел не мог рассчитывать на повышения по лестнице чинов, теперь, войдя в состав двора самозванца, получал более высокий статус, а также поместья и вотчины из числа владений знатных сторонников Василия Шуйского. Получали они также недоступные им ранее посты воевод в городах, переходящих на сторону самозванца, даже думные чины в его Боярской думе. Кроме того, Лжедмитрий II активно раздавал своим сторонникам дворцовые земли, оказавшиеся под его властью. Все это было особенно важно для окраинных (мелких южных, а также северо-западных) городских корпораций служилых людей, члены которых никогда ранее не имели доступ к власти и богатству.

Конечно, власть «Тушинского Вора» и его царицы была чисто номинальной. В лагере заправляли поляки и литовцы, среди которых на первом месте был гетман князь Роман Ружинский. В это время в Речи Посполитой произошло восстание шляхты против короля Сигизмунда, поэтому часть недовольных ушла в Московию — в Тушино. Другой частью тушинского лагеря были «русские изменники», в том числе — перебежчики из Москвы. Ответом на действия тушинцев были постоянные стихийные восстания, постепенно охватывающие все большие территории. В сознании народа тушинцы все больше превращались из войска «добротого царя Дмитрия» в шайку грабителей и насильников. В конце концов, тушинский лагерь совершенно разложился. В нем давно уже шла ожесточенная внутренняя борьба. Ветераны московского похода, служившими еще Лжедмитрию I, считали, что имеют право на лучшую долю добычи и большую власть по сравнению с теми, кто перешел на службу «Вору» уже под Москвой. Московская верхушка Тушина и поляки с литовцами



также не могли найти общий язык. Объединяло их только стремление получить обещанные награды.

Новое понимание многих моментов, связанных с московско-польскими отношениями периода Смуты появилось после выхода монографии Б. Н. Флори.<sup>1</sup> Русские служилые люди, собравшиеся в Тушине, были готовы сотрудничать с польскими властями, чтобы сохранить свое высокое положение и земли, дарованные Лжедмитрием II. Но они не могли просто согласиться на признание власти Сигизмунда. Приглашение польского королевича на русский престол было предложением компромисса. В принятии столь важного решения участвовали все «чины» тушинского «двора», а также и низовой состав русской части тушинского лагеря. Таким образом, это не было заговором, как традиционно считалось.

Однако в тексте послания королю говорилось, что окончательно вопрос может быть решен только советом всего Московского государства, «всей земли». Кроме того, обязательным условием для Владислава было выставлено принятие православия. Здесь можно увидеть определенное ограничение будущей власти Владислава, который должен был бы считаться с мнением бояр и других думных людей и с мнением «всей земли». Сигизмунд рассматривал Лжедмитрия II как противника. Гетман Жолкевский, узнав о низложении царя Василия Шуйского, сразу двинулся с войском к Москве. Начались переговоры между московскими боярами и гетманом. Это означало, что москвичи решили присоединиться к тому проекту, который уже созрел среди тушинских бояр: помириться с поляками, заключить договор с пришедшим под Москву гетманом Жолкевским и пригласить на престол польского королевича.

Важную роль в утверждении такого проекта сыграла позиция самого Жолкевского. Он вовсе не был другом польского короля, осуждал его за смоленскую авантюру, боясь, что она принесет вред Речи Посполитой. Возведение на русский престол Владислава, означающий установление династической унии, был, по его мнению, единственным выходом, который мог помочь избежать большого кровопролития. Но Жолкевский понимал, что это будет возможным только в том случае, если польский королевич будет принят в России добровольно, а не навязан, и если интересы русских не будут ущемлены. Тогда Московия стала бы союзником Речи Посполитой, и это бы укрепило позиции как последней, так и всего католического лагеря в Европе. Желая всеми силами способствовать

---

<sup>1</sup> Флоря Б.Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005.

заклучению договора, Жолкевский пошел на уступки, договариваясь с москвичами, хотя по многим вопросам сознался, что не может дать ответа от имени короля. Он не стал сообщать русской стороне и о том, что Сигизмунд убрал пункт о православии королевича во время переговоров под Смоленском с тушинцами. В исторической литературе также привыкли оценивать подписание этих статей как результат келейных действий боярской думы. Но Б. Н. Флора показал, что это не так. В обсуждении договора участвовало гораздо большее число людей, чем те, кто его подписал. Источники свидетельствуют, что гетмана посетили сотни служилых московских людей (стольники и дворяне московские почти в полном составе), высказавших свои пожелания, который они хотели отраженными в договоре. И на этой встрече с гетманом был составлен текст одной из статей, вошедшей в договор. Поэтому есть все основания рассматривать договор августа 1610 г. как соглашение между гетманом Жолкевским и «всеми чинами», находившимися в то время в Москве и представляющими Московское государство. Этот важнейший вывод Б. Н. Флора позволяет по-новому взглянуть на Смуту в целом.

Когда стало ясно, что король не согласен выполнить условия соглашения с москвичами, гетман Жолкевский в знак протеста покинул короля и вернулся в Польшу. Во главе польского гарнизона Москвы стали гетман Александр Гонсевский, которому королем были даны жесткие инструкции: нужно было добиться, чтобы власть в Москве перешла прямо к Сигизмунду III. Для короля Сигизмунда война с Московией были эпизодом более важной для него борьбы со Швецией и протестантизмом. Он опасался, что после победы над Тушинским Вором русские и шведы совместно повернут оружие против него. Нападая на Смоленск, Сигизмунд надеялся укрепить свое положение в Европе, вернув утраченные когда-то земли на востоке и, возможно, заключить с ослабленным Московским государством унию, как в свое время — с Великим княжеством Литовским, подчинив его верховной власти польского короля. Но он не учел, что население Московского государства было носителем другой ментальности и другой культуры. Произошло столкновение двух культур, разных культурных и политических установок. Русские современники рассматривали действия поляков, исходя из привычной для них самодержавной модели, и из православной доктрины. Сигизмунд не мог соответствовать ни первой, ни второй.

В результате, напряжение между отрядами польского короля и местным населением быстро нарастало не только в Москве, но и в других городах. Это было, прежде всего, культурное и конфессиональное противостояние.

Итак, многие традиционные взгляды на Смуту были пересмотрены в 2000-е годы, когда из печати вышла сразу несколько больших исследований, посвященных этой теме. Кроме работ, Б. Н. Флори и И. О. Тюменцева, отметим серию научно-популярных книг В. Н. Козлякова,<sup>1</sup> книгу В. И. Ульяновского<sup>2</sup> и, в особенности, — работы Г. А. Замятина (не опубликованные при жизни автора).<sup>3</sup> Они ввели в оборот новые источники и новое понимание Смуты. Прежде всего, произошел окончательный отход от черно-белого рассмотрения этих событий как борьбы дворян-патриотов и бояр-изменников, а понятие «иностранный интервенции» перестало прилагаться ко всему периоду и вообще потеряло старый смысл. Более глубоким стало понимание событий, связанных с историей Тушинского лагеря, а также планов избрания на московский престол польского королевича Владислава и шведского Карла Филиппа.

К важнейшим выводам Смуты относят то, что она показала, как боярская верхушка, которая должна была взять в свои руки судьбу страны в отсутствие государя, с этим не справилась и не смогла противостоять незаконным действиям короля Сигизмунда. Но иначе и быть не могло, поскольку еще в XVI веке московские государи, в особенности Иван IV, своей политикой способствовали утрате русской знатью политической активности.

В момент кризиса Смуты и ослабления государственного начала, родилось осознание того, что не только государь и бояре, но и «вся земля» несет ответственность за судьбу страны (последняя отождествлялись в народном сознании с судьбой православия). Это осознание общей ответственности наиболее полно выразилось в деятельности Второго ополчения, инициатива создания которого полностью шла снизу, из среды посадских людей. Однако, восстановление, а потом и усиление государственного самодержавного начала, привело затем к угасанию гражданских инициатив, дух которых доживал в традиции коллективных челобитных XVII века.

---

<sup>1</sup> Козляков В.Н. 1) Марина Мнишек. Серия ЖЗЛ. М., 2005; 2) Василий Шуйский. М., 2007. Серия ЖЗЛ; 3) Борис Годунов. Серия ЖЗЛ. М., 2011.

<sup>2</sup> Ульяновский В. Смутное время. М., 2006.

<sup>3</sup> Замятин Г.А. Россия и Швеция в начале XVII века. Очерки политической и военной истории. СПб., 2008.

П. Крокош

Папский университет Иоанна Павла II, Краков, Польша

## РОСТ МОЩИ РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ НА СТЫКЕ XVII И XVIII ВЕКОВ

## WZROST POTĘGI ROSJI W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ NA PRZEŁOMIE XVII I XVIII W.

W maju 1686 r.<sup>1</sup> w Moskwie doszło do podpisania długo wyczekiwanego traktatu pokojowego kończącego wieloletnie zmagania wojenne pomiędzy Rosją a Rzeczpospolitą, trwające z niewielkimi przerwami od połowy XVII w. Zawarty wówczas tzw. „wieczysty pokój” („wieczny mir”), zwany także pokojem Grzymułtowskiego od nazwiska wojewody poznańskiego — Krzysztofa — reprezentującego Koronę (Litwę reprezentował kanclerz wielki litewski Marcjan Ogiński), sankcjonował przejęcie Smoleńszczyzny, Czernihowszczyzny, Siewierszczyzny i Ukrainy lewobrzeżnej wraz z Kijowem i otaczającym go od zachodu regionem przez Rosję. Definitywna utrata tych terenów, szczególnie Kijowa znajdującego się pod kontrolą rosyjską już od 1654 r., stanowiła ogromny cios dla Rzeczypospolitej. Oprócz tego porozumienie przyznawało metropolicie kijowskiemu, pozostającemu w całkowitej zależności od patriarchatu moskiewskiego, jurysdykcję nad strukturą Cerkwi prawosławnej w granicach Rzeczypospolitej. Zapis ten dawał faktyczną gwarancję opieki dla wyznawców prawosławia zamieszkujących ziemię tej ostatniej nawet nie tyle ze strony metropolity kijowskiego, co ze strony cara decydującego o obsadzie tej godności. W ten sposób Moskwa uzyskiwała możliwość wywierania wpływu zarówno na sprawy religijne, jak i na sytuację we-

---

<sup>1</sup> W artykule stosowana jest datacja według kalendarza juliańskiego obowiązującego w Rosji od 1 stycznia 1700 r.

wnętrzną swego zachodniego sąsiada. W zamian Rosja gwarantowała Rzeczypospolitej sojusz antyturecki oraz subsydium pieniężne w wysokości 146 000 rubli<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Полное собрание законов Российской империи с 1649 (далее — ПСЗРИ). СПб., 1830. Т. II, № 1186; Traktaty między mocarstwami europejskimi od roku 1648 zaszele podług lat porządku, z przyłączoną potrzebną Historii wiadomości opisane. Warszawa, 1773. Т. II. P. 225–266; Burdowicz-Nowicki J. Piotr I, August II i Rzeczpospolita 1697–1706. Kraków, 2010. P. 17–19. Kwestie związane z funkcjonowaniem Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej — szczególnie na podzielonych ziemiach ukraińskich — były niezwykle istotne dla strony rosyjskiej, która podjęła stosowne działania związane z całkowitym podporządkowaniem Moskwy metropolii kijowskiej i zmniejszeniem jej dotychczasowej rangi na ziemiach ruskich, gdyż to właśnie Kijów stanowił swego rodzaju konkurencję dla istniejącego zaledwie od ponad 100 lat patriarchatu moskiewskiego. Jeszcze w 1685 r., wskutek nacisku Moskwy i hetmana zaporoskiego Iwana Samojłowicza, zebrany w Kijowie sobór cerkiewny (bez udziału najwyższego duchowieństwa) wybrał metropolitą kijowskim promoskiewskiego kandydata Gedeona Światopełka-Czetwertyńskiego. Wkrótce, za zgodą Turcji, nastąpiła zmiana kanonicznej jurysdykcji Kijowa, który przeszedł spod dotychczasowej zwierzchności patriarchy konstantynopolańskiego pod zależność patriarchatu moskiewskiego. Bezpośredni wpływ na los metropolii wywarły postanowienia traktatu Grzymułtowskiego (Artykuł IX), a widocznym znakiem ograniczania jej dotychczasowej pozycji było zmuszenie Światopełka-Czetwertyńskiego przez patriarchat moskiewski do zredukowania dawnego tytułu przysługującego tamtejszym metropolitom. Na przełomie XVII i XVIII w. metropolita kijowski tracił powoli władzę nad wszystkimi dotychczas podległymi sobie sześciami diecezjami, prócz własnej — kijowskiej. Pod kontrolą Rosji, z administracją ukraińską, znajdowały się dwie położone na Lewobrzeżu — kijowska i czernihowska, zaś pozostałe cztery — lwowska, łucka, przemyska oraz mścisławska — leżały na terytorium Rzeczypospolitej (w jej granicach były także części diecezji kijowskiej i czernihowskiej). W 1688 r. diecezja czernihowska została wyjęta spod jurysdykcji Kijowa i podporządkowana patriarchatowi moskiewskiemu. Wkrótce diecezje lwowska, łucka i przemyska przeszły do Kościoła unickiego, zaś mścisławska pozostała przy prawosławiu i także trafiła pod zarząd Moskwy. W 1702 r. metropolicie kijowskiemu podporządkowano biskupa rezydującego w Perejaśławiu, przy czym w 1733 r. i tę diecezję oddano pod bezpośrednie zwierzchnictwo moskiewskie. Jeszcze w XVII w. podobny los spotkał Ławrę Kijowsko-Peczerską, która w 1688 r. uzyskawszy stauropigie znalazła się pod bezpośrednią kontrolą patriarchy moskiewskiego. См.: Mironowicz A. Polityka Piotra I wobec Kościoła Prawosławnego w Rosji i w Rzeczypospolitej // Cywilizacja Rosji imperialnej / Pod red. P. Kraszewskiego. Poznań, 2002. P. 283–284; Шпагинский Н. Киевский митрополит Арсений Могилянський и состоянии юго-западной церкви до реформы Петра I. Полтава, 1905. С. 504; Титов Ф.И. Русская православная церковь в Польско-Литовском государстве в XVII-XVIII вв. К., 1905. Т. 2, С. 290; Когут З. Проблема автономії Української Православної Церкви в Гетьманщині (1654–1780-ті роки) // Он же. Коріння ідентичности. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. Київ 2004. С. 119–132. W XVIII w. Piotr I będzie już w sposób oficjalny wywierał wpływ na

Niezaprzeczalnie pokój z 1686 r. był klęską dyplomatyczną Rzeczypospolitej, niweczył jej aspiracje w zakresie polityki wschodniej i tym samym otwierał okres przewagi Rosji w tej części Europy. Udział Moskwy w akcji militarnej przeciwko Chanatowi krymskiemu, a nie bezpośrednio wobec Turcji, przyniósł znikome korzyści militarne Polsce<sup>1</sup>. Wyprawy krymskie z lat 1687–1689 zakończyły się klęską ogromnej armii rosyjskiej, przyczyniając się tym samym do odsunięcia od władzy carówny Zofii Aleksiejewnej sprawującej regencję nad małoletnimi carami — Iwanem V (1682–1696) i Piotrem I (1682–1725)<sup>2</sup>, przyspieszając jednocześnie objęcie rządów przez tego drugiego, za którego sprawą Rosja weszła wkrótce na drogę wielkich zmian cywilizacyjnych<sup>3</sup>.

polskiego króla w rozwiązywaniu spraw Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej, żądając od niego m.in. wydawania stosownych dokumentów potwierdzających prawa i wolności wyznawców prawosławia, obsady biskupstw, a nawet ponownego ich utworzenia, см.: Mironowicz A. Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej. Białystok, 2001. P. 231–242. Warto zwrócić uwagę, iż władze polskie już w rok po zawarciu traktatu naruszyły jego postanowienia w odniesieniu do kwestii religijnych, gdyż przystępując do likwidacji struktur organizacyjnych Cerkwi w Rzeczypospolitej zmuszali ordynariuszy diecezji prawosławnych do przyjęcia unii, см.: Mironowicz A. Kościół prawosławny... P. 228–233. Traktat pokojowy regulował również kwestie handlowe pomiędzy oboma państwami, przy czym Rosja w latach późniejszych oskarżała Rzeczypospolitą o łamanie zawartych postanowień, см.: Письма и бумаги императора Петра Великого (далее — ПИБ). СПб., 1887. Т. I. С. 345.

<sup>1</sup> Konopczyński W. Dzieje Polski nowożytnej. Warszawa, 1996. P. 481–482; Wójcik Z. Epilog traktatu Grzymułtowskiego w roku 1686 // Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiąt rocznicę urodzin / Pod red. Ł. Kądzioły, W. Kriegseiseny, Z. Zielińskiej. Warszawa, 1994. P. 27–45.

<sup>2</sup> Początkowo Piotr I dzielił władzę ze swoim przyrodnim bratem Iwanem V, który z uwagi na swoje upośledzenie umysłowe nie odgrywał żadnej istotnej roli w sprawach państwowych. Z racji małoletniości obu władców, w latach 1682–1689, rządy regencyjne nad braćmi sprawowała carówna Zofia Aleksiejewna, wspierana przez związanego z nią uczuciowo księcia Wasyla Golicyna. Zofia, podobnie jak Iwan, pochodziła z pierwszego związku cara Aleksego Romanowa (1645–1676) z Marią Miłosławską, natomiast Piotr był synem z drugiego małżeństwa władcy z Natalią Naryszkińką.

<sup>3</sup> Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1991. Кн. VII. Т. 14. С. 355–397; Хьюз Л. Царевна Софья. 1657–1704. СПб., 2001; Бушкович П. Петр Великий: Борьба за власть (1671–1725). СПб. 2009. С. 129–215; Historia dyplomacji do 1871 r. / Red. S.W. Bachruszyn, W.M. Chwostow, A.W. Jefimow, J.A. Kosminski, A.Ł. Narocznicki, W.P. Potiomkin, W.S. Sergiejew, S.D. Skazkin, E.W. Tarle. Warszawa, 1973. Т. I. P. 340–341; Krokosz P. Wasyl Golicyn — niespełniony rosyjski reformator // Studia Historyczne. 2005. № 1. P. 26.

Zanim Piotr I rozpoczął swoje wielkie dzieło reformatorskie, w latach 1695–1696 podjął dwukrotną próbę przebicia się na Morze Czarne przez posiadłości tureckie, kierując swe wojska pod leżący u ujścia Donu silnie umocniony Azow. Pierwsza z wypraw zakończyła się klęską, lecz druga znacznie lepiej przygotowana, z udziałem jednostek pływających rosyjskiej floty wojennej, przyniosła sukces. Azow został opanowany, ale carowi to nie wystarczało i wkrótce w jego pobliżu, nad wodami Morza Azowskiego na półwyspie zwanym Troickim, przystąpiono do budowy nowoczesnej twierdzy i portu, jaki otrzymał nazwę Taganrog. Pomimo tego Rosji nie udało się uzyskać bezpośredniego wyjścia na Morze Czarne, na które przyszło czekać aż do czasu panowania carowej Katarzyny II (1762–1796)<sup>1</sup>.

W 1697 r. roku, po udanych ekspedycjach wojennych, miało miejsce niespotykane dotąd wydarzenie w dziejach Rosji — po raz pierwszy granice państwa opuszczał car, który wraz z kilkusetosobową świtą udawał się z wizytą do poszczególnych krajów Europy Zachodniej. Podstawowym celem Wielkiego Poselstwa, jak zwykle określać się ów wyjazd, było umocnienie istniejącego sojuszu antytureckiego oraz przygotowanie gruntu pod przyszłą wojnę ze Szwecją<sup>2</sup>. W jednym jak i drugim kontekście istot-

<sup>1</sup> Поход боярина и большого полку воеводы Алексея Семеновича Шеина к Азову, взятие сего и Лютика города и торжественное оттуда с победоносным воинством возвращение в Москву: С подробным описанием всех военных и торжественных происшествий и с имянным списком бывших при том: сухопутных и морских, великороссийских и малороссийских, вышних и нижних военачальников числе всех войск и учиненным оным наград / Изд. В. Рубан. СПб., 1773; ПиБ. Т. I. С. 54, 78, 93–94; Елагин С.И. История русского флота. Период азовский. СПб., 1864. Ч. I. С. 20 и след.; Бранденбург Н. Азовский поход Шеина // Военный сборник (далее — ВС). 1868. № 10. С. 179–201; Веселаго Ф.Ф. Очерк русской морской истории. СПб., 1875. Ч. I. С. 90–92; Хронология русской военной истории. Хронологический указатель воин, сражений и дел в которых участвовали русские войска от Петра I до новейшего времени / Сост. А. Лацинский, СПб. 1891. С. 5; Соловьев С.М. Указ. соч. С. 510–513; Никульченков К.И. Взятие русскими войсками и флотом Азова в 1696 г. // Русское военно-морское искусство. Сборник статей. / Под ред. В. Мордвинова. М., 1951. С. 46–58; Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. М., 1984. С. 53–64; Бодик Л., Гришков Я., Пушкаренко А., Моценко Л. Таганрог. Историко-краеведческий очерк. Ростов н/Д., 1971. С. 15–28.

<sup>2</sup> Артамонов В.А. От царства к империи. Изменение державной мощи России при Петре Великом // Петр Великий — реформатор России / Редкол.: Р.М. Байбурова, Н.С. Владимирская, Н.В. Рашкован, А.Б. Стрелигов. М., 2001. С. 34–39; Савельев Ю.С. Подготовка Петром I Великого посольства в Европу // Там же. С. 217–226; Матвеев В.М. «Дипломатия в верхах» в XVII веке: Петр I и Вилгельм III в Утрехте и в Лондоне (1697–1698) // Там же. С. 227–246; Козловский И.В. Петр I в Дептфорде // Там же. С. 247–254; Манько А.В. Великое посольство и строи-

ne miejsce zajmowała wewnętrzna sytuacja polityczna w Rzeczypospolitej, gdzie po śmierci króla Jana III Sobieskiego (1674–1696) sprawa następstwa tronu była otwarta. W toczącej się rozgrywce pomiędzy kandydatem francuskim księciem Franciszkiem Ludwikiem Conti a elektorem saskim Fryderykiem Augustem I Wettinem (1694–1733) car opowiedział się po stronie tego ostatniego. Wkrótce elektor, już jako nowy król polski występujący pod imieniem Augusta II (1697–1706 i 1709–1733), stał się jednym, obok władcy duńskiego, z członków kształtującej się koalicji antyszwedzkiej<sup>1</sup>. Wraz z objęciem tronu przez Sasa przed Rzeczpospolitą stanęło niezmiernie trudne wyzwanie — walka o zachowanie suwerenności, co trafnie oddają wnioski Urszuli Kosińskiej: „Czasy panowania Augusta II w Polsce zaowocowały ciekawym i bardzo niebezpiecznym dla przyszłości Rzeczypospolitej zjawiskiem — niespotykaną wielością planów podziałowych”<sup>2</sup>. W kwestiach tych znaczny swój udział miał Piotr I, który dla dobra własnych interesów — jak choćby ukazuje jego zapewnienie z 1701 r. dotyczące udzielenia pomocy Prusom w uzyskaniu części ziem polskich — gotowy był na wszelkiego rodzaju działania godzące w integralność Rzeczypospolitej<sup>3</sup>.

Podróż cara po Europie została przerwana w 1698 r. w Wiedniu, gdzie doniesiono mu o buncie podniesionym w Moskwie, inspirowanym przez pozostającą w odosobnieniu carównę Zofię. Tylko zdecydowanie działania wiernych Piotrowi I jednostek pozostawionych na miejscu oddaliły zagrożenie, spowolniając tym samym jego powrót i umożliwiając spotkanie na ziemiach polskich z Augustem II, podczas którego omówiono „sprawy szwedzkie”. Z buntownikami monarcha rozprawił się dopiero po swoim powrocie do Rosji<sup>4</sup>.

W 1699 r. doszło do podpisania pokoju karłowickiego kończącego wojenne zmagania pomiędzy Rzeczpospolitą, Austrią i Wenecją a Turcją w wyniku, którego ta pierwsza odzyskiwała utracone w 1672 r. Podole z Kamieńcem i tereny województwa Braclawskiego, przy jednoczesnej rezygnacji z jakichkolwiek zdobyczy w Mołdawii<sup>5</sup>.

тельство морского коммерческого флота России // Там же. С. 267–271; Соловьев В.М. Петровская модернизация России в контексте Великого посольства // Там же. С. 272–277; Burdowicz-Nowicki J. Aktywność Rosji po rozdwojonej elekcji — czerwiec-sierpień 1697 r. // Kwartalnik Historyczny. 2008. № 115/1. P. 6.

<sup>1</sup> Gierowski J.A. Władca w dwóch państwach. Unia personalna z perspektywy monarchów // Idem. Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie. Kraków, 2008. P. 319–341; Burdowicz-Nowicki J. Piotr I... P. 52–113.

<sup>2</sup> Цит. по: Kosińska U. Sondaż czy prowokacja? Sprawa Lehmana z 1721 r., czyli o rzekomych planach rozbiorowych Augusta II. Warszawa, 2009. P. 11. См.: Gierowski J.A. Europa wobec unii polsko-saskiej // Na szlakach Rzeczypospolitej... P. 287–300.

<sup>3</sup> Kosińska U. Op. cit. P. 14

<sup>4</sup> Соловьев С.М. Указ. соч. С. 539–584.

<sup>5</sup> Traktaty między mocarstwami... P. 308–339.



Jedynym członkiem koalicji antytureckiej, jakiemu nie udało się zawrzeć stosownego porozumienia była Rosja. Uregulowanie tej kwestii nastąpiło dopiero w roku kolejnym, kiedy obydwu stronom udało się wynegocjować i podpisać jedynie 30-letni rozejm<sup>1</sup>. Spokój na południowych granicach dawał Piotrowi I wolną rękę na północy, gdzie bez obaw mógł włączyć się do działań wojennych podjętych przez koalicjantów wobec Szwecji<sup>2</sup>. Jednakże młody monarcha szwedzki Karol XII (1697–1718) nie czekał na uderzenie wrogich wojsk i jeszcze w 1700 r. zdecydowaną akcją militarną wyeliminował z wojny Danię, a następnie ruszył przeciwko armii rosyjskiej oblegającej Narwę<sup>3</sup>. Królowi dysponującemu stosunkowo niewielkimi siłami, po forsownym marszu w trudnych warunkach atmosferycznych, udało się rozbić znacznie silniejszego przeciwnika. Pogrom armii carskiej pod murami twierdzy narewskiej odbił się niezwykle silnym echem w całej Europie za sprawą licznych utworów sławiących geniusz wojskowy Karola XII oraz okolicznościowych medali o takiej tematyce<sup>4</sup>. Wszystko wskazywało, iż los oddziałów rosyjskich podzielią również wojska Augusta II prowadzące od dłuższego czasu bezskuteczne oblężenie Rygi. Karolowi XII udało się odrzucić Sasów od Rygi, lecz August II nie zamierzał składać broni. Do walki sposobili się również Piotr I, a odbudowana przez niego armia zyskała wkrótce przewagę na froncie północnym, gdyż główne siły szwedzkie pociągnęły na terytorium Rzeczypospolitej, dokąd odeszła armia saska. W trakcie kampanii wojennej toczącej się na ziemiach polskich Szwedzi

<sup>1</sup> ПиБ. Т. I. С. 368–378; ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. IV. № 1804.

<sup>2</sup> ПиБ. Т. I. С. 357–358; Historia dyplomacji... P. 342.

<sup>3</sup> Traktaty między mocarstwami... P. 9–14.

<sup>4</sup> Северная война 1700–1721 гг. К 300-летию Полтавской победы. Сборник документов. Т. I (1700–1709 гг.) / Под ред. Л.Г. Бескровного, Г.А. Куманева. М., 2009. № 56. С. 72–73; № 57. С. 73–76; № 58. С. 76–78; № 59. С. 78–79; № 60. С. 79–80; Петров А. Нарвская операция // ВС. 1872. № 7. С. 5–38; Krokosz P. Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I. Kraków, 2010. P. 299–306. Jeden z panegiryków — w wierszowanej formie — sławiących Karola XII został zamieszczony w wydanej w Sztokholmie, najprawdopodobniej jeszcze w 1700 r., relacji bitwy pod Narwą autorstwa rosyjskiego generała Ludwika Hallarta, który dostał się wówczas do niewoli, см.: Dess bei der Russischen armee gewesen General Lieutnants und Ober-Ingenieurs in der glücklichen Victorie bei Narva gefangenen Ludwig Nicolai von Allart Schreiben und Aussrichtige Relationvon der Russischen Berivrrung an den König von Pohlen aus seinem arrest in Narva, Stockholm. Brak miejsca i roku wydania. W 1701 r. relacja ta ukazała się także w języku szwedzkim, lecz już z innym wierszem sławiącym Karola XII, см.: General Lieutnantens och Osver-Ingenieurens Ludwig Nicola von Allart som vid Stadens Narva Lickeliga Undfättning bliswet fången Uprichtige. Brak miejsca wydania, 1701. Po bitwie wybito także serię medali okolicznościowych gloryfikujących monarchę szwedzkiego, см.: Nordberg J.A. Historie de Charles XII. roi de Suède. La Haye, 1748. Т. IV. P. III.

odnosili sukcesy militarne, ale August II nadal był niepokonany. Tymczasem Piotr I prowadząc systematyczne operacje wojenne zajmował kolejnie strategicznie ważne nadbałtyckie twierdze przeciwnika — Noteburg (1702), Nienszanc (1703), Dorpat oraz Narwę (1704). W przeciągu czterech lat Rosjanie zdołali usadowić się nad Bałtykiem i w 1703 r. u ujścia Newy rozpoczęli budowę twierdzy, portu oraz miasta, któremu car nadał nazwę Petersburg. Niespełna dziesięć lat później miasto wznoszone „na błotach i kościach ludzkich” zostało ogłoszone nową stolicą Rosji<sup>1</sup>.

Zdobycie w 1704 r. Narwy było dla cara i jego żołnierzy ważne z przynajmniej dwóch powodów: moralnego — wcześniej doznano tam sromotnej porażki oraz strategicznego — Narwa stanowiła swego rodzaju „klucz” ułatwiający opanowanie pozostałych szwedzkich twierdz w tej części Morza Bałtyckiego. Również tam doszło wówczas do podpisania niezwykle ważnego traktatu rosyjsko-polskiego. Zawarte wówczas przyznanie zaczepno-odporne skierowane przeciwko Szwecji miało trwać do końca wojny, a obie strony, tj. Rzeczpospolita i jej król z jednej oraz car z drugiej, zobowiązywały się do prowadzenia wspólnej walki i zawarcia wspólnie pokoju. Piotr I obiecał wypłacać coroczne subsydium w wysokości 200 000 rubli na armię polską mającą liczyć 48 000 żołnierzy, wysłać do Polski oddziały w sile 12 000 ludzi oraz oddać Rzeczypospolitej odebrane Szwecji Inflanty<sup>2</sup>. O przynależności Inflant i zwrocie ich stronie polskiej była również mowa w *Maniście o przyjęciu pod obronę mieszkańców Inflant* wydanym przez cara w sierpniu tegoż roku<sup>3</sup>. Warto zauważyć, iż o oficjalne przystąpienie Rzeczypospolitej do wojny strona rosyjska zabiegała od początku konfliktu, a cała sprawa stała się o wiele bardziej istotna do chwili, kiedy latem 1704 r. Karol XII doprowadził do obwołania przez niewielkie grono szlachty królem polskim swojego kandydata w osobie wojewody poznańskiego Stanisława Leszczyńskiego (1704–1709 i 1733–1735).

<sup>1</sup> Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1863. Т. IV. Ч. 1. С. 109–206; Кафенгауз Б.Б. Северная война и Ништадский мир (1700–1721). М.; Л., 1944. С. 23–26; Палли Х. Между двумя боями за Нарву. Эстония в первые годы Северной войны 1701–1704. Таллин., 1966; Uddgren H.E. Något om Karl XII:s ställning till krieget med Ryssland och forsvaret af Ostersjoprovinserna under åren 1702–1706 // Karolinska Förbundets Årsbok (dalej — KFÅ) 1910. Lund, 1911. P. 88–112; Aråjs J. Bitwa nad Dźwiną 9 lipca 1701 roku // Wojny północne w XVI–XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem / Red. B. Dybasia, wsp. A. Ziemiańska. Toruń, 2007. P. 197–207; Krokosz P. Rosyjskie siły..., P. 306–318; Тимченко-Рубан Г.И. Первые годы Петербурга. Военно-исторический очерк. СПб., 1901; Предтеченский А.В. Основание Петербурга // Петербург петровского времени. Сборник статей / Под ред. А.В. Предтеченского. Л., 1948. С. 3–48.

<sup>2</sup> Volumina legum. Petersburg, 1860. Т. VI. P. 82–84; Traktaty między mocarstwami... P. 40–56; Burdowicz-Nowicki J. Piotr I... P. 546–491.

<sup>3</sup> ПиБ. СПб., 1893. Т. III. С. 149–152.

Ówczesne wydarzenia tak scharakteryzował Józef Gierowski: „Mimo niekorzystnej sytuacji Rzeczypospolitej w obliczu zaczynającego się dwukrólewiea, Działyński [Tomasz Działyński, wojewoda chełmiński, negocjator warunków porozumienia — P.K.] potrafił utrzymać zasadę równorzędności układających się stron i nadać traktatowi narewskiemu charakter kompromisu opartego na obopólnych ustępstwach i odpowiadającego potrzebie wzajemnej pomocy przeciwko szwedzkiemu ekspansjonizmowi”<sup>1</sup>.

Rosyjsko-polski sojusz nie zmienił jednak diametralnie układu na froncie, gdzie stroną silniejszą była Szwecja, przy czym Karol XII nadal nie był w stanie zmusić do ostatecznej kapitulacji króla polskiego. Dopiero wkroczenie wojsk szwedzkich do elektoratu saskiego i jego okupacja sprawiły, iż w 1706 r. w Altranstädt pod Lipskiem przedstawiciele Saksonii, Szwecji oraz Stanisława Leszczyńskiego podpisali traktat przewidujący wycofanie się Augusta II z wojny oraz zrzeczenie się korony polskiej<sup>2</sup>. Szlachta polska skupiona w konfederacji sandomierskiej nie zamierzała jednak uznać królem Stanisława Leszczyńskiego i opowiadając się za poprzednim władcą kontynuowała walkę ze Szwedami. Kapitulować nie chciał również Piotr I, który w nowej sytuacji stał się sprzymierzeńcem sandomierzan. W 1707 r. nastąpiło potwierdzenie traktatu narewskiego oraz uregulowania spraw związanych z kwaterunkiem i prowiantowaniem działającej na terytorium Rzeczypospolitej armii rosyjskiej<sup>3</sup>. Car starał się wykorzystać wewnętrzny chaos swojego zachodniego sąsiada i w ramach swej „opie-

<sup>1</sup> Цит. по.: Gierowski J.A. Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648–1763): Wielka historia Polski. Kraków, 2001. T.5. P. 260. Należy nadmienić, że na początku wojny północnej w Wielkim Księstwie Litewskim doszło do wybuchu otwartej wojny domowej pomiędzy Sapiehami a innymi rodami magnackimi, wspieranymi przez średnią szlachtę, skupionymi w obozie tzw. republikanów. Trudną sytuację wewnętrzną swego zachodniego sąsiada starała się wykorzystać Rosja. Stosowna ku temu okazja nadarzyła się w 1702 r., kiedy przebywający w Moskwie wysłannik republikantów, kanonik wileński Krzysztof Białożor, podpisał w Preobrażeńskojе traktat sojuszniczo-protekcyjny z Piotrem I, przewidujący pomoc wojskową i militarną przeciwko Szwedom i związanemu z nimi obozowi sapieżyńskiemu. Szerzej o Stanisławie Leszczyńskim, см.: Gierowski J.A. Stanisław Bogusław Leszczyński h. Wieniawa (1677–1766). Król polski, ksiądz Lotaryngii // Na szlakach Rzeczypospolitej... P. 395–413.

<sup>2</sup> Traktaty między mocarstwami... P. 65–83. Wśród warunków układu znalazły się m.in. zapisy dotyczące wypłacenia przez Saksonię wysokiego odszkodowania Szwecji i przekazania zajmowanych twierdz polskich oddziałom Stanisława Leszczyńskiego, см.: Gierowski J.A. Rzeczpospolita w dobie... P. 263; Kretschmar H. Der Friedensschluss von Altranstädt 1706/07 // Um die polnische Krone. Sachsen und Polen während des Nordischen Kriegs 1700–1721 / Bearbeitet von J. Kalisch, J. Gierowski. Berlin, 1962. P. 161–183.

<sup>3</sup> ПСЗРІ. Т. IV, № 2145.

ki” nad nim, wzorem Karola XII, zamierzał także dać jej króla. Poczynił w tej sprawie nawet stosowne kroki i we wrześniu 1707 r. zawarł w Warszawie traktat przewidujący wsparcie finansowe i „wszelakie inne” w ubieganiu się o koronę polską dla przywódcy antyhabsburskiego powstania na Węgrzech siedmiogrodzkiego księcia Franciszka Rakocznego<sup>1</sup>.

Karol XII mając tylko jednego przeciwnika w osobie Piotra I jeszcze w 1707 r. opuścił Saksonię i rozpoczął ofensywę przeciwko wojskom rosyjskim, stopniowo wypierając je z Rzeczypospolitej na wschód. W rozpoczynającej się kampanii wojennej szwedzki monarcha oprócz wsparcia ze strony oddziałów Stanisława Leszczyńskiego liczył także na pomoc Krymu, Turcji, Kozaków dońskich oraz hetmana zaporoskiego Iwana Mazepy. Wsparcie ze strony tego ostatniego, zamierzającego utworzyć przy szwedzkiej pomocy niezależne państwo ukraińskie, było niezmiernie istotne, gdyż wkraczający na terytorium rosyjskie Szwedzi oprócz wsparcia militarnego mogli uzyskać także pomoc żywnościową<sup>2</sup>. Opór wojsk rosyjskich okazał się zbyt silny, a po pierwszych sukcesach zaczęły następować porażki. Dziesiątkowaną wyczerpującymi przemarszami, brakiem żywności i niesprzyjającą pogodą armię szwedzką wsparł jedynie Iwan Mazepa, który w miejsce obiecanych 30 000 Kozaków zdołał przyprowadzić ze sobą zaledwie kilka tysięcy szabel. Owa „zdrada”, jak został oficjalnie określony przez stronę rosyjską czyn hetmana, nasiliła represyjną politykę władz carskich wobec Ukrainy lewobrzeżnej i Zaporozża, które także opowiedziało się po stronie Karola XII<sup>3</sup>. Decydujące starcie kampanii wojennej, a także całej wojny północnej, rozegrało się 27 czerwca 1709 r. pod Połtawą. Liczniejsze i lepiej zorganizowane wojska carskie zadały tam druzgocącą klęskę armii szwedzkiej. Karol XII i hetman Mazepa na czele nielicznych oddziałów zdołali zbiec i schronić się na terytorium tureckim. Piotr I triumfował. Dla monarchy

<sup>1</sup> Там же. № 2156. Spośród polskich kandydatów do tronu największym uznaniem Piotra I cieszył się hetman wielki koronny Adam Sieniawski.

<sup>2</sup> Krokosz P. Iwan Mazepa i Piotr I. Wojna na uniwersały (październik — grudzień 1708 r.) // Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne. 2009. № 1–2. P. 7–9.

<sup>3</sup> Крупницький Б. Пляни Мазепи в зв'язку з плянами Карла XII перед українським походом шведів // Мазепа. Збірник. Варшава, 1938. Праці українського наукового інституту. Т. XLVI. Серія історична. Кн. 5. Т. I. С. 94–105; Он же. Мазепа і шведи в 1708 р. (На основі споминів листування учасників) // Там же. Т. II. С. 3–12; Сокирко О. Ще раз про передумови та причини повстання Івана Мазепи 1708 р. // Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха. Збірник наукових праць / Відп. ред. В.А. Смолій, відп. секр. О.О. Ковалевська, Київ, 2008. С. 81–92; Чухліб Т.В. Мазепинська Україна між Російською та Шведською коронами: дилема вибору протекції // Український Історичний Журнал. 2009. № 2. С. 16–39; Таирова-Яковлева Т.Г. Иван Мазепа и Российская империя. История «предательства». М., 2011. С. 337–370; Krokosz P. Iwan Mazepa... P. 7–29.

szwedzkiego rozpoczął się okres kilkuletnich rządów emigracyjnych, a dla wielu Kozaków, którzy poszli z Mazepą ta emigracja okazała się wieczna<sup>1</sup>.

Wiktoria połtawska wpłynęła na radykalną zmianę sytuacji politycznej zarówno w Rzeczypospolitej, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Car nie zwlekając wysłał jedną część swych wojsk pod dowództwem feldmarszałka Borysa Szeremetiewa pod Rygę, zaś drugą z Aleksandrem Mienszykowem odprawił do Rzeczypospolitej, dokąd także sam zamierzał się udać, by tam spotkać się z niedawnym sojusznikiem Augustem II, który w nowych realiach postanowił uznać swoją abdykację za nieważną i ponownie zasiąść na polskim tronie. Piotr I w korespondencji do Augusta II z 8 lipca 1709 r. po raz kolejny poinformował go o odniesionym zwycięstwie nad Szwedami oraz zapowiedział, iż „(...) w połowie miesiąca z całą naszą armią, w celu osiągnięcia naszych wspólnych interesów, z naszą osobą do Polski idziemy”<sup>2</sup>. Prawdopodobnie na początku września 1709 r. car wydał specjalny dokument pod nazwą *Manifest do Polaków*, skierowany w zasadzie do wszystkich biorących udział w zmaganiach wojennych. W dokumencie wspomniął o odniesionym zwycięstwie nad wspólnym wrogiem, ucieczce Karola XII oraz wyjaśniał przyczyny wejścia swoich wojsk w granice Rzeczypospolitej zapewniając jednocześnie, iż pojawiły się one tam „(...) tylko a żeby wywroczone z gruntu prawa, wolności; a najbardziej wolna elekcja królów y panów tego cnego narodu utrzymując do swojej przwiesć perfekcyi; y obranego wolnemi głosami króla na tron przywrócić, oraz ut reddatur pax universis, z tą intencją osoba nasza w panstwa Rz [ecz]i p [pospoli] tej z wojskami wkroczyliśmy”. Car nadmieniał, iż król August II już znajdował się na terytorium Rzeczypospolitej i w związku z tym radził wszystkim, którzy w minionych latach opowiedzieli się po stronie Karola XII, aby powrócili pod władzę prawowitego króla, pisząc: „przestrzegamy y napominamy aby uznawszy błąd swój powracali y łączyli się z życzliwemi Ojczyznie”<sup>3</sup>. Panującą wów-

<sup>1</sup> Павловский И.Ф. Битва под Полтавой 27-го июня 1709 года и ее памятники. Полтава, 1909; Молтусов В.А. Полтавская битва: Уроки военной истории. 1709–2009. М., 2009. С. 187–411; Serczyk W.A. Połtawa 1709. Warszawa, 1982. P. 101–143; Krokosz P. Rosyjskie siły... P. 345–353; From P. Klęska pod Połtawą. Kampania Karola XII w Rosji w latach 1707–1709. Zabrze, 2010. P. 277–402; Jensen A. I Karl XII:s turkiska spår // KFÅ 1914. Lund, 1915. P. 186–207; Субтельний О. Мазепинци. Український сепаратизм на початку XVIII ст. Київ, 1994; Бовгиря А. «Мазепа умер, но мазепинцы живы...»: реалії Гетьманщини після полтавської поразки. // Гетьман Іван Мазепа: постать... С. 120–130; Жила В. Гетьман Іван Мазепа під турецькою опікою: історія й оцінка. // Збірник «Мазепа»: реконструкція видавничого прокту 1939–1949 років. Київ, 2011. С. 120–129.

<sup>2</sup> Цит. по: ПиБ. М.; Л. 1950. Т. IX. Вып. 1. С. 247.

<sup>3</sup> Цит. по: там же. С. 361–362. Документ został wydany najprawdopodobniej nie wcześniej niż 1 i nie później niż 7 września 1709 r., chociaż nie ma pewności, iż nie

czas sytuację w Rzeczypospolitej na kartach swojego pamiętnika tak opisał wojewoda miński Krzysztof Zawisza: „Zalanie wielkie wojsk moskiewskich do Litwy od Mozyra, powiaty i województwa wydają prowianty. Car imć w Koronie łączy się z wojskiem koronnym i swojemu pod komendą generała Goltza; król Stanisław i z Krassawem generałem szwedzkim umyka się ku Pomeranii”<sup>1</sup>. W zmieniającej się sytuacji politycznej wielu znamienitych obywateli Rzeczypospolitej wspierających niedawno Stanisława Leszczyńskiego spieszyło powitać Piotra I, by zapewnić go o swojej wierności oraz prosić o „pogodzenie” z Augustem II. Tak też uczynił m.in. kanclerz wielki litewski Karol Radziwiłł, który w liście do cara z 22 lipca gratulował mu zwycięstwa pod Połtawą, zapewniając jednocześnie, iż nie wstępował w żadne porozumienia ze Szwedami<sup>2</sup>.

Swój powrót do Rzeczypospolitej, znacznie wcześniej niż doszło do bitwy pod Połtawą, przygotowywał także August II. Służyć temu miała m.in. szeroko zakrojona akcja, której celem było stworzenie wspólnie z Danią i Prusami koalicji antyszwedzkiej. Porozumienie przybrało konkretny charakter w lipcu 1709 r., kiedy przedstawiciele stron w „Kölln nad Szprewą [obecnie w granicach Berlina; dawne części Berlina Alt-Kölln i Neu-Kölln znajdowały się na prawym brzegu Szprewy — P.K.] zawarli sojusz obronny przeciwko pokonanej Szwecji”<sup>3</sup>. Oprócz tego w Saksonii, pół mili od Drezna, doszło do potajemnych rozmów polsko-saskich dotyczących ewentualnego powrotu Augusta II<sup>4</sup>. Najważniejszy był jednak zaczepno-odporny traktat zawarty w Dreźnie 26 lipca 1709 r. pomiędzy Augustem II i Piotrem I, w którym car obiecywał królowi pomoc finansową (nawet w każdym roku przedłużającej się wojny) i militarną (do Polski miał wkroczyć rosyjski korpus wspomagający siły królewskie) oraz gwarantował bezpieczeństwo Saksonii. Strony zobowiązały się do wspólnej walki oraz do nie zawierania separatystycznego pokoju i do gwarancji kończących wojnę włączyć również Rzeczpospolitą. Traktat ostatecznie nie wszedł w życie, gdyż nie został ratyfikowany przez cara, lecz szereg z jego punktów (z pewnymi zmianami) znalazło się w zawartym później porozumieniu w Toruniu<sup>5</sup>.

August II wykorzystując słabą pozycję Stanisława Leszczyńskiego, który wycofał się na Pomorze Szwedzkie, wkroczył na czele kilkunastotysięcznego wojska do Rzeczypospolitej, o czym poinformował jej mieszkańców w manifeście wydanym pod

---

został zredagowany przed przybyciem cara do Lublina 25 sierpnia, см.: Там же. М., 1952. Вып. 2. С. 1216.

<sup>1</sup> Цит. по: Zawisza K. Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666–1721) / Wyd. J. Bartoszewicz. Warszawa, 1862. P. 274–275.

<sup>2</sup> ПИБ. Т. IX. Вып. 2. С. 1027.

<sup>3</sup> Цит. по: там же. Вып. 2. С. 1025. См.: Там же. Вып. 1. С. 373.

<sup>4</sup> Там же. Вып. 2. С. 1025–1027.

<sup>5</sup> Там же. С. 1278–1285.

koniec lipca 1709 r.<sup>1</sup>. Dawny sojusz sasko-duńsko-rosyjski z początku wojny został odnowiony, a związane z tym okoliczności nie uszły uwadze angielskiego dyplomaty w Rosji Karola Whitwortha<sup>2</sup>. 9 października tego roku w Toruniu doszło do podpisania pomiędzy Piotrem I i Augustem II nowego sojuszniczego traktatu zaczepno-odpornego skierowanego przeciwko Szwecji i Stanisławowi Leszczyńskiemu. Car obiecał wspomagać wojska elektora oraz polskie jednostki walczące przeciwko pozostającym w Rzeczypospolitej siłom szwedzkim, gwarantując sobie po ich usunięciu pozostanie tam korpusu w sile 4000–5000 piechoty i 10 000–12 000 dragonów pod dowództwem Augusta II, a w razie konieczności przysłać korpus kawalerii. Układające się strony, nie przewidując chwili ostatecznego zakończenia wojny i nie licząc się z ostatecznym „zniszczeniem” Szwecji, w odniesieniu do spraw polskich przewidywały, „aby ową koronę do sprawiedliwych granic przywrócić i swoim sąsiadom zapewnić bezpieczeństwo”. Sojusznicy gwarantowali sobie wzajemne wsparcie, a także „króla duńskiego i pruskiego za wszelką cenę przyczynić owych, a także o ile można Rzeczpospolitą, do owego zaczepno-odpornego sojuszu włączyć”. Spośród wszystkich zapisów traktatu ważne było postanowienie mówiące, iż sojusznicy po zakończeniu wojny podpiszą wspólnie z Rzeczpospolitą traktat pokojowy ze Szwecją, przy czym ustalono, iż „(...) carskie wielicestwo przy spokojnym zarządzaniu swoich dziedzicznych i od Szwedów na razie wziętych i zawojowanych ziem pozostał, a jego królewska wysokość król polski przy spokojnym władaniu królestwem polskim i swoich obecnych i w przyszłości zdobytych ziem był zachowany”<sup>3</sup>. Zawarte wówczas porozumienie nie był jedynym, gdyż jeszcze 9 października został podpisany obronny traktat z Polską skierowany przeciwko Szwecji, do którego przyłączyły się Dania i Prusy. Tego samego dnia zawarł również tzw. Artykuł separatyistyczny (odrębny), znoszący zawarte, lecz nieratyfiko-

---

<sup>1</sup> Там же. С. 1207–1208; *Трактаты между мочарствами...* P. 107. Wejście wojsk saskich do Rzeczypospolitej nie było na rękę hetmanowi Sieniawskiemu, który liczył, iż uda mu się wprowadzić na tron polski Konstantego Sobieskiego, syna króla Jana III. Hetman domagał się nawet od Augusta II, by ten nie przybywał ze swoją armią zapewniając, iż Polacy wspólnie z Rosjanami będą w stanie rozbić siły Leszczyńskiego, см.: Gierowski J.A. *W cieniu Ligi Północnej*. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1971. P. 87.

<sup>2</sup> ПиБ. Т. IX. Вып. 1. С. 373; Вып. 2. С. 1230–1231; *Донесения и другия бумаги чрезвычайного посланника английского при русском дворе, Чарльза Витворта, и секретаря его Вейсброта с 1708 г. по 1711 г.* // *Сборник Императорского русского общества* (далее — *Сборник РИО*). СПб., 1886. Т. 50. № 92, С. 249–250.

<sup>3</sup> Цит. по: ПиБ. Т. IX. Вып. 1. С. 400–407. *Вкратце до союзу доłączyла Dania (na wszystkich warunkach) i Prusy, które ograniczyły się jedynie do zawarcia układu obronnego*, см.: ПиБ. Т. IX. Вып. 1. С. 420–425; Вып. 2. С. 1413.

wane przez Piotra I porozumienie 26 lipca tegoż roku. Dzień później, 10 października, podpisano osobny dokument dotyczący Estonii i Inflant<sup>1</sup>.

W 1710 r. armia rosyjska odniosła szereg spektakularnych zwycięstw na nadbałtyckim teatrze wojennym. Rosjanie oprócz Rygi zajęli również Dünamünde, Elbląg, Parnawę, Arensburg, Rewel, Keksholm oraz Wyborg<sup>2</sup>. Sukces ten, mający ogromny wydźwięk w całej Europie, car postanowił wykorzystać w sposób propagandowy i zamówił u słynnego augsburskiego medaliera Philippa Heinricha Müllera serię medali dokumentujących najważniejsze zwycięstwa swoich wojsk w ciągu toczącej się wojny (za lata 1702–1714). W 1715 r. gotowe stemple dotarły do Moskwy i posłużyły do wybicia na początku przyszłego roku złotych i srebrnych medali, które w charakterze „podarunków dyplomatycznych” były ofiarowane przybywającym do Rosji posłom lub cudzoziemskim rezydentom przy carskim dworze, bądź wysyłane bezpośrednio do władców europejskich. Poczesne miejsce w całej serii zajmowały medale upamiętniające przyłączenie twierdz nadbałtyckich. Na jednym z nich, poświęconym wszystkim „zdobycjom” znalazło się wyobrażenie Herkulesa dźwigającego na plecach kulę ziemską z mapą, na której wypisano wszystkie zajęte miasta oraz biegnący wokół łańciski napis (fragment z *Metamorfoz* Owidiusza) — SUNT MIHI QUAE VALEANT IN TALEA PONDERA VIRES (WYSTARCZY MI SIŁY DLA UNIESIENIA TAKIEGO CIĘŻARU)<sup>3</sup>.

W nowych okolicznościach zwrot przez cara przybieganych Rzeczypospolitej Inflant oddalał się, by ostatecznie nigdy się nie zścić. Co więcej, car na odebranych Szwecji terytoriach stawał się w roli swoistego gospodarza, wydając nawet 30 września 1710 r. „żałowaną gramotę” szlachcie inflanckiej potwierdzającą jej wcześniejsze prawa, szczególnie te nadane przez króla polskiego Zygmunta Augusta (1548–1572) w roku 1561<sup>4</sup>. Wkrótce zajęte ziemie zostały objęte rosyjskim jednolitym podziałem administracyjnym. W latach 1713–1714 Inflanty włączono do nowo utworzonej guberni inflanckiej (podobnie postąpiono z ziemiami estońskimi po zawarciu w 1721 r. traktatu kończącego wojnę — część przyłączono do guberni inflanckiej, a część do ustanowionej wtedy guberni estlandzkiej)<sup>5</sup>. Kwestia bałtycka, z którą duże nadzieje wiązał

---

<sup>1</sup> Там же. Т. IX. Вып. 2. С. 1275–1277.

<sup>2</sup> Савкин. А.Е. «Оградить отечество безопасностью...»: Заветное наследие, пример государственно-патриотического служения и новая (победительная) военная система Петра Великого // Защита Отечества: Наука побеждать, заветы и уроки Петра Великого // Российский военный сборник. М., 2010. Вып. 23. С. 472.

<sup>3</sup> Шукина Е.С. Серия медалей Ф.Г. Мюллера на события Северной войны в собрании Эрмитажа. СПб., 2006. С. 83–117.

<sup>4</sup> ПСЗРИ. Т. IV, № 2301.

<sup>5</sup> Serczyk W. A. Absolutyzm w Rosji // Europa i świat w epoce oświeconego absolutyzmu. Praca zbiorowa / Pod red. J. Staszewskiego. Warszawa, 1991. P. 342.



August II, przyczyniła się do ochłodzenia stosunków z Piotrem I. Królowi zaczynała przeszkadzać dominująca pozycja sojusznika wywierającego co raz większy wpływ na sytuację wewnętrzną w Rzeczypospolitej<sup>1</sup>.

Tymczasem Piotr I po sukcesach na północy i zabezpieczeniu sytuacji w Rzeczypospolitej zdecydował się wszcząć wojnę z Turcją, licząc na nowe zdobycze terytorialne na południu Europy. Działania te wpisywały się w carskie plany mające na celu „oswobodzenie Słowian południowych i Rumunów”<sup>2</sup>. Konflikt leżał także w interesie Turcji dążącej do osłabienia rosyjskich wpływów na Bałkanach i w Rzeczypospolitej, zahamowania ewentualnej możliwości swobodnego wyjścia Rosji na Morze Czarne oraz aneksji części Ukrainy. W tej ostatniej kwestii Porta liczyła na Kozaków, którym władze rosyjskie zaczęły ograniczać dawne prawa i wolności, oraz przebywającego na emigracji hetmana zaporoskiego Filipa Orlika<sup>3</sup>. Kampania wojenna rozpoczęta przez Rosjan wiosną 1711 r. była źle przygotowana niemal pod każdym względem — brakowało prowiantu oraz wody (szczególnie podczas przemarszów), rozpoznania terenu przyszłych działań zbrojnych. Niepewna była również postawa gospodarów Mołdawii i Wołoszczyzny, którzy z pojawieniem się armii rosyjskiej obiecywali wesprzeć ją militarnie, występując otwarcie przeciwko Turcji. Wyprawa zakończyła się nad Prutem, gdzie ponad 100-tysięczne wojsko turecko-tatarskie otoczyło oddziały carskie i zmusiło je do kapitulacji. Tylko dzięki zręczności carskich dyplomatów — Piotra Szafirowa i Michała Szeremietiewa (generała, syna feldmarszałka Borysa Szeremietiewa) — udało się uratować zarówno oddziały wojskowe jak i samego Piotra I biorącego udział w wyprawie. Wynegocjowany wówczas traktat był dotkliwym ciosem dla władcy, gdyż całkowicie przekreślał jego plany czarnomorskie. Rosja została zobowiązana do zwrotu Azowa, zniszczenia swoich twierdz południowych (w tym portu i twierdzy w Taganrogu), nie mieszania się do „spraw polskich” oraz uznania sułtana „opiekunem” Kozaków zaporoskich. W porozumieniu znalazł się też punkt dotyczący swobodnego powrotu

<sup>1</sup> Andrusiewicz A. Piotr Wielki prawda i mit. Warszawa, 2011. P. 315–318; Gierowski J.A. Rzeczpospolita w dobie... P. 268–270; Idem. Problematyka bałtycka w polityce Augusta II Sasa // Na szlakach Rzeczypospolitej... P. 351–359.

<sup>2</sup> Порфирьев Е.И. Петр I — основоположник военного искусства русской регулярной армии и флота. М., 1952. С. 216. См.: Документы относящихся к деятельности фельдмаршала, графа Бориса Петровича Шереметева, с 1704 по 1722 год, извлеченные из Архива Артиллерийского Музея, Императорской Публичной Библиотеки, Московского общаго Архива Главного Штаба, Сенатского Архива, Румянцовского Музея, Архива Морского Министерства и архива Сергея Шереметева // Сборник РИО. СПб., 1878. Т. 25. № 287. С. 321.

<sup>3</sup> Andrusiewicz A. Op. cit. P. 319–320; Beauvois D. Ukraińska tożsamość i wahania polityczne hetmana Filipa Orlika w świetle jego dziennika 1720–1733 // Przegląd wschodni. 2006. T. XV. Z. 3. P. 311–337.

Karola XII do Szwecji<sup>1</sup>. Postanowienia traktatu pruckiego rodziły wiele spekulacji, co znalazło odzwierciedlenie w zapiskach Karola Whitwortha, który informował, iż według jednego z przekazów car miał ograniczyć się jedynie do spalenia swojej floty na wodach Morza Azowskiego<sup>2</sup>. Rosja dwa lata odwlekała realizację tych uzgodnień, co oddalało zawarcie stosownego układu pokojowego, a nawet mogło skutkować wznowieniem działań wojennych. Dopiero w czerwcu 1713 r. stronom udało się dojść do porozumienia i podpisać w Adrianopolu 25-letni rozejm, który praktycznie powtarzał poprzednie uzgodnienia. Car po raz kolejny został zobowiązany do nie wtrącania się w „sprawy polskie” oraz wyprowadzenia wojsk z Rzeczypospolitej w ciągu dwóch miesięcy od chwili podpisania traktatu. Armia rosyjska nie mogła też przechodzić przez ziemie polskie w przypadku uderzenia na Pomorze Szwedzkie. Zgodzono się także na swobodny przejazd Karola XII z Turcji, nawet przez terytorium państwa rosyjskiego. W kwestiach ukraińskich uzgodniono, że wszystkie terytoria na lewym brzegu Dniepru wraz z Kijowem pozostawały pod władzą cara, który od ziem po drugiej stronie rzeki wraz z Siczą miał „odjąć rękę”. Porozumiano się też odnośnie ostatecznego zwrotu Turcji utraconych przez nią ziem jeszcze w XVII stuleciu<sup>3</sup>. Jeden z trudniejszych etapów w stosunkach rosyjsko-tureckich zakończył się w 1714 r. wraz z definitywnym opuszczeniem Turcji przez Karola XII. Zawarte w minionych latach traktaty — niewątpliwie sukces Piotra Szafirowa na polu dyplomacji — odsuwały od Rosji ewentualność wojny na dwa fronty i pozwalały Piotrowi I skupić uwagę na zakończeniu zmagania ze Szwecją<sup>4</sup>.

W toczącej się wojnie wojska carskie nie ograniczyły się jedynie do działań zbrojnych we wschodnich nadbałtyckich prowincjach szwedzkich, na terenie Rzeczypospolitej, czy też przeciwko Turcji. Piotr I rozpoczął również ofensywę przeciwko Szwecji, kierując się w stronę Pomorza Szwedzkiego oraz terytorium Rzeszy, wzbudzając tym zaniepokojenie w Europie Zachodniej. We wrześniu 1713 r. Rosjanie opanowali Szczecin, do którego pre-

<sup>1</sup> ПСЗРИ. Т. IV. № 2398; Молчанов Н.Н. Указ. соч. С. 279. Jak podaje J. Hauziński warunki rozejmu uzgodniła uczestnicząca w wyprawie przyszła żona Piotra I i przyszła carowa rosyjska Katarzyna I (1725–1727), która osobiście zjawiała się w obozie wielkiego wezyra Mehmeda Baltadży (tur. Baltacı), см.: Hauziński J. Absolutyzm orientalny // *Europa i świat...* P. 196–197.

<sup>2</sup> Донесения и другия бумаги... № 195. С.470–474; № 196. С.474–476; № 197. С.476–481.

<sup>3</sup> ПСЗРИ. Т. IV. № 2515; ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. V. № 2687.

<sup>4</sup> Базарова Т.А. Возвращение Карла XII в Швецию после Полтавы в русской дипломатической переписке: по материалам походной канцелярии П.П. Шафировва // *Полтава. К 300-летию Полтавского сражения. Сборник статей.* М., 2009. С. 226.

tensje rościło sobie kilka państw — Dania, Saksonia, Holsztyn oraz Prusy. Piotr I zdecydował się na oddanie miasta Prusom w zamian za obietnicę ich przystąpienia do sojuszu przeciwko Szwecji. W czerwcu 1714 r. zawarto odpowiednie porozumienie, w którym król Fryderyk Wilhelm I (1713–1740) zobowiązywał się pomóc Rosji w utrzymaniu wszystkich zawojowanych przez nią posiadłości bałtyckich i nic nie stało już na przeszkodzie, aby przekazać Szczecin Prusom<sup>1</sup>. Do koalicji antyszwedzkiej przystąpił także Hanower, którego elektor Jerzy Ludwik (1698–1727), od 1714 r. również król angielski jako Jerzy I (1714–1727), liczył na przyłączenie do swoich włości nadmorskie miasta — Bremę i Werden. Warto podkreślić, iż pierwsza konwencja Hanoweru z Rosją o sojuszu przeciwko Szwecji została zawarta jeszcze w lipcu 1710 r., zaś kolejna 17 października 1715 r. W drugim z porozumień znalazł się zapis o ściślejszej współpracy z Danią, by wspólnie zmusić Karola XII do zawarcia pokoju<sup>2</sup>. Zaniepokojenie króla angielskiego wzrostem pozycji Piotra I na arenie europejskiej, które z biegiem lat przekształciło się we wrogi stosunek do Rosji, wzbudziło zwycięstwo morskie odniesione 27 lipca 1714 r. u fińskiego Przylądka Hangö Udd (Hanko) nad flotyllą szwedzkiego kontr-admirała Nilsa Ehrenskiölda. Sama bitwa była częścią większej operacji rosyjskiej floty wojennej rozpoczętej jeszcze w maju tegoż roku od wyprowadzenia z portu w Petersburgu niemal 100 galer z zamustrowanym na ich pokładach 15-tysięcznym desantem. W starciu Rosjanie bezwzględnie wykorzystali fakt rozdzielenia się sił szwedzkich na mniejsze części oraz okoliczność, iż przy bezwietrznej pogodzie nieprzyjaciel utknął w szkiecach. Atak carskich galer i brawurowy abordaż zakończyły się wielkim sukcesem. Wszystkie jednostki przeciwnika zostały zdobyte, a do niewoli dostał się sam Ehrenskiöld. Zwycięstwo pod Hangö Udd — pierwszy wielki sukces młodej rosyjskiej floty wojennej — miało ogromne znaczenie dla dalszego przebiegu całej wojny, gdyż dawało Piotrowi I możliwość opanowania Finlandii, a następnie prowadzenia działań wojennych przeciwko Szwecji właściwej<sup>3</sup>.

W ciągu toczącej się wojny car wykorzystując sprzyjające okoliczności starał się w różnorodny sposób, w tym również dynastyczny, „związać” z Rosją poszczególnych władców europejskich. Działania te dotyczyły m.in. Kurlandii będącej lennem

<sup>1</sup> ПСЗРИ. Т. V. № 2816; Молчанов Н.Н. Указ. соч. С. 318–319.

<sup>2</sup> ПСЗРИ. Т. IV. № 2276; Т. V. № 2941; Молчанов Н.Н. Указ. соч. С. 321–323.

<sup>3</sup> Боевая летопись русского флота: Хроника важнейших событий военной истории русского флота с IX в. по 1917 г. / Под ред. Н.В. Новикова. Сост.: В. А. Дивин, В. Г. Егоров, Н. Н. Землин, В. М. Ковальчук, Н. С. Кровяков, Н. П. Мазунин, Н. В. Новиков. К. И. Никульченков, И. В. Носов, А. К. Селяничев. М., 1948. С. 55–59; Телпуховский Б.С. Гангутская победа русского флота // Русское военно-морское искусство. Сборник статей / Под ред. В. Мординова. М., 1951. С. 67–76; Материалы для истории Гангутской операции. Пг., 1914–1918. Вып. I-IV; Кротов П.А. Гангутская баталия 1714 года. СПб., 1996.

Rzeczypospolitej oraz Meklemburgii<sup>1</sup>. W przypadku pierwszej Piotr I doprowadził w 1710 r. do ślubu tamtejszego księcia Fryderyka Wilhelma Kettlera (1698–1711) z córką swojego przyrodniego brata cara Iwana V Anną — przyszłą carową Anną Iwanowną (1730–1740). Inicjatywa była perspektywiczna, albowiem „(...) małżeństwo to wchodziło w polityczne plany cara w związku z bliskim podporządkowaniem Kurlandii Rosji”<sup>2</sup>. Książę zgadzając się na małżeństwo postawił jednak pewne warunki: wycofanie z Kurlandii wojsk rosyjskich; nie zajmowanie jej w przyszłości i nie pobieranie z jej ziem kontrybucji wojennych; powołanie komisji mającej oszacować szkody wyrządzone Kurlandczykom przez wojska carskie; gwarancja neutralności Kurlandii w przyszłych wojnach; wolność handlu z Rosją; 200 000 rubli w posagu dla Anny. Piotr I zgodził się na te warunki, ale z dodatkiem swoich żądań dotyczących takich spraw jak: wypłata posagu i jego przeznaczenie — 40 000 rubli miał stanowić faktyczny posag, zaś reszta pieniędzy miała pójść na wykup zastawionych przez księcia starostw, przepisanych następnie na jego żonę; przygotowania cerkwi prawosławnej na zamku w Mitawie dla bratanicy; spraw wyznaniowych potomstwa zrodzonego z tego związku — synowie mieli pozostać przy religii luterańskiej, a córki przy prawosławiu<sup>3</sup>. Kwestia stacjonowania wojsk rosyjskich w Kurlandii niepokoiła również stronę polską. Szczególny wydzwięk przybrało to w 1715 r., kiedy związane z tym informacje mocno poruszyły społeczeństwo Rzeczypospolitej, które widziało w tym naruszenie postanowień traktatu adrianopolskiego z 1713 r. i obawiało się wybuchu nowej wojny z Turcją. O całej sytuacji poinformował cara przedstawiciel rosyjski przy Augustcie II Grigorij Dołgoruki w korespondencji z 4 czerwca 1715 r. donosząc, iż „(...) po całej Polsce rozgłaszają, że naszych wojsk weszło do Kurlandii i na Litwę ponad trzydzieści tysięcy. O czym już w publicznych gazetach piszą. Słysząc także, że poseł wenecki z tego jest rad, (...) i z Chocimia jest wiadomość, iż jakoby zebrała się tam wielka liczba Turków i Tatarów”<sup>4</sup>. Śmiało można wywnioskować, iż już w tym czasie rozpoczął nieoficjalny protektorat

---

<sup>1</sup> Пчелов Е.В. Петр Великий и династическая политика Романовых в XVIII-XX веках // Петр Великий — реформатор России... С. 42–43. W ramach „dynastycznej” polityki Piotra I znalazło się również zaaranżowane przez niego w 1711 r. małżeństwo jego syna carewicza Aleksego, wówczas potencjalnego następcy tronu, z księżniczką brunszwicką Zofią Charlottą, siostrą żony arcyksięcia austriackiego Karola — późniejszego cesarza Karola VI (1711–1740).

<sup>2</sup> Цит. по.: Семевский М.И. Тайная канцелярия при Петре Великом. М., 2012. С. 32

<sup>3</sup> Соловьев С.М. Указ. соч. М., 2001. Кн. VIII. Т. 16. С. 471–472.

<sup>4</sup> Цит. по.: Походная канцелярия вице-канцлера Петра Павловича Шафирова: Новые источники по истории России эпохи Петра Великого: В 3 Ч. / Изд. подгот. Т.А. Базарова, Ю.Б. Фомина; сост., вступ. ст., коммент. Т.А. Базаровой. Ч. III: 1715–1723 годы. СПб., 2011. № 319. С. 30.

Rosji nad Kurlandią. Potwierdzeniem tego jest choćby sprawa dotycząca swobody wyznania tamtejszych kalwinistów, którzy w 2. dziesięcioleciu XVIII w. obawiając się zdecydowanej reakcji katolików i strony polskiej, w obronie swoich interesów podjęli starania o interwencję u cara. Zdaniem Almuta Bues'a „stanowiło to zwiastun późniejszej sytuacji: supremacji Rosji i utraty faktycznych wpływów Rzeczypospolitej w regionie nadbałtyckim”<sup>1</sup>. Nieudaną próbę „odzyskania” Kurlandii podjął jeszcze w 1726 r. August II, lecz „było to jakoby podzwonne inflanckich pomysłów króla polskiego”<sup>2</sup>.

Natomiast stosunki Rosji z Meklemburgią, sąsiadującą z Pomorzem Szwedzkim, rozpoczęły się jeszcze w 1712 r., kiedy Piotr I zwrócił się do jej władcy o pomoc w oprowiantowaniu swoich wojsk, obiecując w zamian nie dopuścić do grabieży jej terytorium przez Szwedów<sup>3</sup>. 22 stycznia 1716 r. w Petersburgu został zawarty traktat małżeński pomiędzy tamtejszym księciem Karolem Leopoldem (1713–1747) i drugą z córek Iwana V — Katarzyną Iwanowną, w którym Piotr I złożył konkretne obietnice polityczne — pomoc w odzyskaniu miast Wismar i Warnemünde oraz oddanie pod komendę Karola Leopolda 10 pułków armii rosyjskiej<sup>4</sup>. Małżeństwo to, podobnie jak związek Anny Iwanownej, podyktowane było kwestiami politycznymi i gospodarczymi. Zgodnie z zawartym w dniu małżeństwa traktatem o wiecznym sojuszu i wzajemnej pomocy przeciwko nieprzyjaciołom, a także o rozwijaniu stosunków handlowych, do Meklemburgii wkroczyły wojska rosyjskie, które stanowiły dla Piotra I narzędzie do wywierania nacisku na Szwecję, by ta zdecydowała się zakończyć wojnę. Ich obecność dawała carowi jeszcze dodatkowy atut — możliwość ingerowania w sprawy Rzeszy, co szczególnie mocno niepokoiło Prusy, Austrię i Hanower, a co za tym idzie także Anglię. Piotr I zamierzał także stworzyć na terytorium Meklemburgii dogodne warunki handlowe dla kupców rosyjskich, którzy w prowadzeniu interesów z Europą Zachodnią nie musieli już korzystać z kosztownego pośrednictwa państw morskich<sup>5</sup>.

Tymczasem August II próbował umocnić swoją pozycję w Rzeczypospolitej, czemu bacznie przyglądała się strona rosyjska. O staraniach królewskich oraz „intrygach”

---

<sup>1</sup> Цит. по.: Bues A. Конфесионализация в княстве Курляндии. Преподобный случай в скали Рзeczyпосполитой шляхецкой? // Рзeczyпосполита wielu wyznań. Материалы з Мiędzynародовой Конференции Краков, 18–20 listopada 2002 / Под ред. А. Каźmierчыка, А.К. Link-Lenczowskiego, М. Markiewiczza, К. Matwijowskiego. Краков, 2004. P. 59.

<sup>2</sup> Цит. по.: Gierowski J.A. Problematyka bałtycka... P. 351–359.

<sup>3</sup> Молчанов Н.Н. Указ. соч. С. 324–325.

<sup>4</sup> ПСЗРИ. Т. V. № 2984; Молчанов Н.Н. Указ. соч. С. 325–326.

<sup>5</sup> ПСЗРИ. Т. V. № 3008; 3009; Gierowski J.A. Konfederacji tarnogrodzcy wobec możliwości porozumienia szwedzko-rosyjskiego // Na szlakach Рзeczyпосполитой... P. 524–525.

odnośnie zawarcia separatystycznego pokoju z Karolem XII pisał 31 lipca 1714 r. do podkanclerzego Piotra Szafirowa jego przełożony kanclerz Gawryło Gołowkin<sup>1</sup>. Dążenia Augusta II do zaprowadzenia rządów absolutnych w Rzeczypospolitej (pojawił się nawet projekt zapewnienia sukcesji tronu dla Wettinów) połączone z wprowadzeniem tam wojsk saskich wywołały również duże protesty tamtejszej szlachty i doprowadziło do poważnego kryzysu w jej stosunkach z królem. Obecność wojsk elektorskich w Rzeczypospolitej próbował usprawiedliwiać u cara poseł Augusta II Friedrich Vitzthum von Eckstädt, który wysłany do Petersburga z „żądaniem” zwrotu zajętych przez Rosję Inflant pod koniec 1714 r., tak przedstawił ów problem: „Jeśli król wszystkie wojska wyprowadzi, to należy się niepokoić, że zwolennicy szwedzcy znów powstaną i podniosą takie powstanie, którego nie będzie można uśmierzyć, szczególnie jeśli król szwedzki podejmie jakiegokolwiek działania. Przy tym, jeśli król polski wyprowadzi wojska z Polski, to nie mając czym ich wyżywić, będzie zmuszony połowę rozpuścić, co też nie będzie na rękę carowi”<sup>2</sup>. Wzmocnienie pozycji króla doprowadziło do związania się w 1715 r. konfederacji tarnogrodzkiej, której podstawowym celem było usunięcie wojsk saskich z Rzeczypospolitej, odsunięcie saskich ministrów od decydowania o sprawach polskich oraz przywrócenie naruszonych praw. Podjęte przez króla próby pacyfikacji nastrojów, przy jednoczesnych kontaktach z Karolem XII, mocno zaniepokoiły Rosję i sprawiły, iż ta obiecała konfederatom pomoc w usunięciu Sasów oraz pozbawieniu tronu Augusta II. Wkrótce tarnogrodzianie zwrócili się do Piotra I z prośbą o mediację w sporze z monarchą, a na terenie Rzeczypospolitej doszło do walk ich wojsk z oddziałami saskimi. W doprowadzeniu do porozumienia istotne miejsce przypadło Grigorijowi Dołgorukiemu, który na prośbę samego Augusta II — po wcześniejszych ustaleniach z Piotrem I — ściągnął do Rzeczypospolitej 18 000 rosyjskich żołnierzy<sup>3</sup>. W takich okolicznościach w 1716 r. został podpisany traktat warszawski regulujący stosunki między Rzeczpospolitą a Saksonią, pod którym swoje podpisy złożyli przedstawiciele króla i konfederacji oraz Dołgoruki. Pomimo podpisu tego ostatecznego, car w żadnym stopniu nie stawał się gwarantem porozumienia, gdyż na to nie wyraził zgody ani August II, ani konfederaci<sup>4</sup>. Pomimo, iż sytuacja w Rzeczypospolitej uległa uspokojeniu, w Petersburgu z uwagą obserwowano poczynania Augusta II

<sup>1</sup> Походная канцелярия... Ч. II: 1714 год. СПб., 2011. № 256. С. 322–323.

<sup>2</sup> Цит. по.: Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. VIII. Т. 16. С. 564.

<sup>3</sup> Gierowski J.A. W cieniu... P. 177; Idem. Wokół mediacji w traktacie warszawskim 1716 r. // Na szlakach Rzeczypospolitej... P. 513–522; Idem. Rzeczpospolita w dobie... P. 277.

<sup>4</sup> Traktaty między mocarstwami... P. 189–236; Gierowski J.A. Rzeczpospolita w dobie... P. 285; Походная канцелярия... Ч. III. № 339. С. 59; № 341. С. 64.

і в тросце о іntерсы Росји не подејмовано децји о одвоіаніу skierowanych там једностек. Usilne стараня польского монархы і конфедераци тарногродзkiej dotyczące их выпrowadzenia коічыіу сју фіаскіем. Wzbурзеня wśród мiесzkańców Rzeczypospolitej з tego факту не давало сју јуз не зауважаіа, со однотоваі Grigorij Doіgoruki 13 kwietnia 1717 r.<sup>1</sup>

W 1717 r. strona rosyjska wstrzymaіа dzіalania wojenne przeciwko Szwecji, а в maju року наступного на Wypсах Alандzkich rozpoczęіу сју обраня rosyjsko-szwedzkiego kongresu pokojowego. W trakcie тоczących сју рокowań żelaznym warunkiem strony rosyjskiej было затрыманіе надбалтыцких провинци шведzkich, на со в Sztokholmie — pomimo grozby wznowienia dzіalаń wojennych — не chciano przystаіа, чоіа termin zamknііа pertraktacji mіajа z коіаcem року 1718<sup>2</sup>. W tym czasie Karol XII подjаіа офенсыву wojenną przeciwko Danii, kierujаc uderzenie swych wojsk в сторону Norwegii. Pod koniec listopada 1718 r. в trakcie обіеженя silnie umocnionej twierdzy Fredrikshall, в niewyjaśnionych до dzіsіaj okolicznościach, monarcha szwedzki został śmiertelnie postrzelony в глову<sup>3</sup>. Śmierć Karola XII не зміениіа в жаіаn способ курсу polityki zagranicznej Sztokholmu. Jego następczyni królowa Urlyka Eleonora (1719–1720) dopuszczала моzliwośc oddania Piotrowi I јединie Ingermanlandii (Ingrii, Ziemi Іzorskiej). Jak wielką wagę Szwecja przywiаzуwała до своих wschodnich провинци балтыцких świadczy факт, із была готова „wymieniіа” je на swoje północnoniemieckie wіości. Jednakże dla cara, który przedstawіаіа swoje prawa до wіаданя Estoniа, Kurlandiа і Kareliа, жаіданя te były zupełnie не до zaakceptowania. Piotra I не przeraziіу nawet informacje, przekazane przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I, із по klęsce Hiszpanii в тоczących сју aktualnie zmaganiach на innym з europejskich teatrów wojennych, на Rosję uderzy koalicja złożona з Austrii, Anglii, Francji і Szwecji<sup>4</sup>. Car ufny в сиіе swojej armii ладowej oraz operujаcej на

<sup>1</sup> Походная канцелярия... Ч. III. № 347. С. 79–80.

<sup>2</sup> Молчанов Н.Н. Указ. соч. С. 332–358. Grunt pod kongres alандzki przygotowaіа traktat amsterdamski zawarty в 1717 r. pomіеdzy Rosją, Francją і Prusami, в którym sygnatariusze uzgodnili wzajemną gwarancję swych posiadłości. Rząd francuski obiecaіа także wstrzymać dotychczasową pomoc finansową dla Szwecji і podjаіа сју медиаци в celu pogodzenia Karola XII з Piotrem I, см.: Historia dyplomacji... P. 345.

<sup>3</sup> Anusik Z. Karol XII. Wrocław-Warszawa-Kraków, 2006. P. 352–359; Kuylenstierna O. Kring Karl XII. Stockholm, 1918. P. 135–160.

<sup>4</sup> Лапин В.В. Полтава — российская слава: Россия в Северной войне 1700–1721 гг. СПб., 2009. С. 235. Król pruski mіаіа на мысли конфликт pomіеdzy królem Hiszpanii Filipem V (1700–1746) а cesarzem Karolem VI о hiszpańskie posiadłości we Włoszech, który так наравдуе был континуациą rozpoczętej в 1700 r. wojny о sukcesję hiszpańską, см.: Rostworowski E. Historia Powszechna. Wiek XVIII. Warszawa, 1994. P. 202–214.

Bałtyku floty wojennej podjął zdecydowane akcje przeciwko Szwecji. W maju 1719 r. eskadra rosyjska rozbiła przeciwnika pod Rewlem. Latem tegoż roku przeprowadzono kolejne uderzenie — tym razem przeciwko stolicy Szwecji, gdyż „splądrowanie i spalenie Sztokholmu ściągnęłoby na Rosjan z pewnością wielki splendor, a także bogactwa”. Starcie, do jakiego doszło w pobliżu Baggenstäket, niemal na oczach mieszkańców Sztokholmu, zakończyło się sukcesem oddziałów szwedzkich. Rosjanie widząc brak konkretnych rezultatów odstąpili od dalszych działań<sup>1</sup>. Nie porzucili jednak działań zmierzających do pokonania prezentującej nadal znaczną siłę floty przeciwnika, który uzyskał nawet wsparcie okrętów wojennych przysłanych przez Anglię. Stosowna ku temu okazja nadarzyła się podczas kampanii morskiej w kolejnym roku. 27 lipca 1720 r. w pobliżu wyspy Granhamn, w południowej części archipelagu Wysp Alandzkich, doszło do starcia 90 galer rosyjskich z 14 szwedzkimi jednostkami pływającymi. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Rosjan. W tym roku zakończyły się działania wojenne prowadzone na Bałtyku w czasie całej wojny północnej, a zwycięstwo pod Granhamn przyczyniło się do ostatecznego złamania szwedzkiej potęgi na tym akwenie morskim<sup>2</sup>.

Z kolei dla Augusta II znacznie skuteczniejszym środkiem niż wysyłanie poselstw do cara z prośbą o wyprowadzenie swych wojsk z Rzeczypospolitej, okazało się przystąpienie do sojuszu antyrosyjskiego z udziałem króla angielskiego Jerzego I i cesarza Karola VI. Wspólne interesy Austrii — zaniepokojonej obecnością wojsk carskich na terenie Rzeszy, Anglii — obawiającej się wzmocnieniem wpływów Piotra I w Hanowerze i umocnienia pozycji jego floty na Bałtyku oraz ze zrozumiałych względów Saksonii, zaowocowały w 1719 r. podpisaniem w Wiedniu stosownego traktatu<sup>3</sup>. Strony zobowiązały się do usunięcia wojsk rosyjskich z Rzeszy i Rzeczypospolitej z gwarancją zachowania całości terytorialnej tej ostatniej i utrzymania na tronie Augusta II. Wejście układu w życie uzależnione było od formalnego przystąpienia do niego Rzeczypospolitej, co łączyło się z decyzją sejmu. Zanim to jednak nastąpiło, Piotr I zrewidował kurs swojej polityki i odwołał swoje oddziały stacjonujące poza granicami Rosji. Wobec powyższego za słuszną można uznać konkluzję Józefa Gierowskiego, który stwierdził: „(...) traktat wiedeński był przede wszystkim demonstracją siły, która miała skłonić cara do ustępstw. Ten cel został osiągnięty: wojska rosyjskie wycofały się z Rzeszy i Rzeczypospolitej. O rozpoczęciu wojny z Rosją w tej sytuacji sojusznicy już nie myśleli”<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Sundberg U. Bitwa pod Stäket 13 VIII 1719. Zabrze-Tarnowskie Góry, 2012. P. 20–61.

<sup>2</sup> Красиков В. Русский флот в Северной войне 1700–1721 годов. СПб., 2001. С. 54–55.

<sup>3</sup> Traktaty między mocarstwami... P. 279–287.

<sup>4</sup> Цит. по.: Gierowski J.A. W cieniu... P. 192. См.: Rzeczpospolita w dobie złotej wolności... P. 289.



W 1721 r. w fińskiej miejscowości Nystad doszło do podpisania rosyjsko-szwedzkiego traktatu pokojowego kończącego ponad dwudziestoletnią wojnę. Zawarte tam ustalenia sankcjonowały pozostawienie przy Rosji jej nadbałtyckich nabytków terytorialnych — Inflant, Estonii, Ingermanlandii oraz część Karelii z okręgiem wyborskim, jednak bez opanowanej w ostatnich latach Finlandii, która wracała pod władzę Szwecji. Wszystkich mieszkańców tych prowincji car obiecał pozostawić przy dawnych prawach i przywilejach. Podobny zapis dotyczył swobody wyznania religii protestanckiej, przy czym analogiczne prawo zapewniono tam także wyznawcom prawosławia. Szwecji przyznano wieczyste prawo swobodnego zakupu każdego roku zboża za 50 000 rubli w Rydze, Rewlu i Arensburgu oraz określono zasady prowadzenia wzajemnych kontaktów handlowych. Uregulowano również sprawy związane z natychmiastowym powrotem jeńców wojennych, pozostających we wzajemnej niewoli nawet od początku wojny<sup>1</sup>. Traktat został zawarty bez udziału przedstawicieli Saksonii i Rzeczypospolitej, chociaż jego 15 punkt stwarzał możliwość przystąpienia „króla i Rzeczypospolitej” (tak brzmiał dosłowny zapis dokumentu) do porozumienia, jako sojuszników Rosji.

Koniec rosyjsko-szwedzkich zmagañ wojennych wyznaczał jednocześnie nowy porządek europejski, w którym istotną pozycję zajęła Rosja. Rozpoczęta w XVII w. rywalizacja z Rzeczpospolitą i Szwecją, a także Turcją, o dominację w Europie Środkowo-Wschodniej, zakończyła się jej sukcesem. Należy jednak podkreślić, iż Rosja przełomu XVII i XVIII stulecia była zupełnie innym państwem niż uprzednio, a wszystko za sprawą Piotra I pragnącego zreformować państwo w oparciu o wzorce zachodnioeuropejskie, kłócące się w wielu aspektach z uświęconą przez stulecia tradycją. Dzieło modernizacji było tym trudniejsze, iż car prowadził je równocześnie z toczącymi się konfliktami zbrojnymi. Nad wyraz istotna jest ocena ówczesnych wydarzeń dokonana przez Andrzeja Nowaka, który analizując powstawanie imperium rosyjskiego w odniesieniu do osoby Piotra I stwierdził, iż „w wojnie północnej podporządkowuje faktycznie Rosji Rzeczpospolitą i zarazem pozbawia Szwecję dominującej roli nad Bałtykiem. W 1712 roku przenosi stolicę swego państwa do wznoszonego od kilku lat miasta nad Nową. To symbol nowej orientacji geopolitycznej Rosji. Przesunięcie na zachód, ale nie tylko — także na północ”, przy czym celem cara „(...) było utrzymanie Rzeczypospoli-

<sup>1</sup> ПСЗРИ. СПб., Т. VI. № 3819; Traktaty między mocarstwami... P. 305–310. Kwestia praw władców moskiewskich (carów) do Karelii i Ingermanlandii została wyłożona w słynnym dziele Piotra Szafirowa napisanym jeszcze w 1716 r. pt. *Rozważania, jakie prawne przyczyny Jego Carska Wysokość Piotr Pierwszy miał w 1700 roku do rozpoczęcia wojny przeciwko Królowi Szwedzkiemu Karolowi Dwunastemu...*, см.: Шафиров П.П. Разсуждение какие законные причины Его Величество Петр Великий император и самодержец всероссийский ... М., 1722. С. 1 (О древних и новых причинах).

tej i Szwecji, в szczególności tej pierwszej, в stanie bezsiły i в miarę możliwości pełnej zależności od Rosji<sup>1</sup>. Znaczący wpływ на taki stan rzeczy wywarła postawa obu hetmanów wielkich: koronnego — Adama Sieniawskiego i litewskiego — Ludwika Pocięja, którzy pomni upokorzenia i „katastrofy” з 1716 r., kiedy zostali pozbawieni władzy над wojskiem, а pierwszy nawet uwięziony, przez konfederatów tarnogrodzkich, по dwóch zerwanych sejmach в 1720 r., jakie ukazały głęboki rozkład obejmujący Rzeczpospolitą „(...) в pełni oddani carowi, rozpoczęli swe dzieło destrukcji, które wypaczyło życie polityczne przez najbliższe lata”<sup>2</sup>. W polityce carskiej równie istotną rolę jak już wspomniany hetman koronny, odgrywał także hetman litewski Ludwik Pocięja zawsze opowiadający się по stronie Piotra I „(...) był idealnym hetmanem з punktu widzenia Rosji i odegrał znaczną rolę в спrowadzeniu zarówno Litwy, jak i samej Rzeczypospolitej з podmiotu politycznego, jedynie до obiektu niemającego większego znaczenia на mapie Europy tamtych czasów”<sup>3</sup>.

Tym, co przesądziło о bezpośredniej przewadze Rosji над Rzeczpospolitą i Szwecją i pozwoliło jej osiągnąć nie tylko dominację в Europie Środkowo-Wschodniej, lecz również uzyskać mocarstwową pozycję на старым kontynencie, były jej lądowe i morskie siły zbrojne. Szacowana nawet на blisko 300 000 żołnierzy, dobrze wyszkolona i zaopatrzona armia oraz liczna i silna flota wojenna operująca на bałtyckich wodach (pod koniec wojny północnej druga siła по фlocie angielskiej), obok doskonale zorganizowanej służby dyplomatycznej, stanowiły niebagatelny oręż в rękach rosyjskiego władcy в розgrywkach politycznych<sup>4</sup>.

Zwycięstwu одniesionemu в wojnie północnej towarzyszyło również oficjalne przyjęcie przez Piotra I tytułu imperatora, jakie miało miejsce в październiku 1721 r. в Petersburgu. Od tej chwili zwykle się uważa, że carstwo moskiewskie (Moscovia) oficjalnie przekształciło się в imperium rosyjskie i tym samym zaczął się nowy — imperialny — etap в dziejach Rosji<sup>5</sup>. Jednakże wspaniałe sukcesy orężа rosyjskiego на

---

<sup>1</sup> Nowak A. *Od imperium do imperium. Spojrzenie на historię Europy Wschodniej*. Kraków, 2004. P. 47–48.

<sup>2</sup> Цит. по.: Gierowski J.A. *Rzeczpospolita в добie...* P. 290. См.: Markiewicz. M. *Historia Polski 1492–1795*. Kraków, 2007. P. 613.

<sup>3</sup> Цит. по.: Rakutis V. *Hetmani litewscy в polityce rosyjskiej podczas wojny północnej 1700–1721* // Гетьман Иван Мазепа: постать..., С. 45.

<sup>4</sup> Hjärne H. *Karl XII. Från europeisk synpunkt* // KFA 1919, Lund, 1920, P. 1–16; Артоманов В.А., Указ. соч. С. 37; Петрухинцев Н.Н. *Два флота Петра I: технологические возможности России* // Вопросы истории. 2003. № 4. С. 117–128; Krokosz P. *Rosyjskie siły...* P. 370–374.

<sup>5</sup> Агеева О.Г. *Титул «император» и понятие «империя» в России в первой четверти XVIII века*. Мир истории Российский электронный журнал. 1999. № 5.

frontach wojny północnej (zdobycie Narwy w 1704 r., bitwy pod Leśną — 1708 r. i Połtawą — 1709 r. oraz morskie starcie pod Hangö Udd)<sup>1</sup> niesły ze sobą dla Piotra I kolejne trudne wyzwania. Wzrost potęgi Rosji stanowił wyraźny sygnał dla mocarstw europejskich obawiających się o utratę swojej dotychczasowej pozycji. Niekorzystnie dla Petersburga rysowała się również sytuacja na południowo-wschodnich rubieżach, gdzie Turcja, pomimo porozumienia zawartego w 1724 r., podjęła próbę odebrania nadkaspjskich zdobyczy Piotra I z lat 1722–1723. Do tego dochodziły także problemy wewnętrzne, m.in. napięta sytuacja na Ukrainie związana z wyborem nowego hetmana po śmierci Iwana Skoropadskiego; kłopoty z zakończeniem rozpoczętych reform; niezwykle nadwyrężona sytuacja finansowa państwa. Sprawę skomplikowała dodatkowo śmierć samego Piotra I w styczniu 1725 r., co wobec braku wskazania przez niego następcy otwierało w Rosji trwający kilkadziesiąt lat okres, zwany czasami przewrotów pałacowych. Mimo to, wyznaczony przez cara-reformatora kurs pozostawał bez zmian — Rosja wkraczała na drogę imperializmu, którą z powodzeniem podążyli jego następcy<sup>2</sup>.

#### ОПУБЛИКОВАНЕ ЖРÓДЛА I LITERATURA

1. Andrusiewicz A. Piotr Wielki prawda i mit. Warszawa, 2011.
2. Anusik Z. Karol XII. Wrocław-Warszawa-Kraków, 2006.
3. Arājs J. Bitwa nad Dźwiną 9 lipca 1701 roku // Wojny północne w XVI-XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem / Red. B. Dybasia, wsp. A. Ziemińska. Toruń, 2007. P. 197–207.
4. Beauvois D. Ukraińska tożsamość i wahania polityczne hetmana Filipa Orlika w świetle jego dziennika 1720–1733 // Przegląd wschodni. 2006. T. XV. Z. 3. P. 311–337.
5. Bues A. Konfesjonalizacja w księstwie Kurlandii. Przypadek wyjątkowy w skali Rzeczypospolitej szlacheckiej? // Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Kraków, 18–20 listopada 2002 / Pod red. A. Kaźmierczyka, A.K. Link-Lenczowskiego, M. Markiewicza, K. Matwijowskiego. Kraków, 2004. P. 47–63.
6. Burdowicz-Nowicki J. Aktywność Rosji po rozdwojonej elekcji — czerwiec-sierpień 1697 r. // Kwartalnik Historyczny. 2008. № 115/1. P. 5–33.

---

URL: <http://www.tellur.ru/~historia/archive/05/ageyeva.htm> (data обращения: 28.07.2012).

<sup>1</sup> Krokosz P. Sukcesy oręża rosyjskiego w wojnie północnej — Narwa (1704), Leśna, Połtawa i Hangö Udd // Кольтура народоv Причерноморья. 2002. № 36. С. 89–93.

<sup>2</sup> Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической истории послепетровской России, 1725–1762 гг. Рязань, 2003. С. 69–70.

7. Burdowicz-Nowicki J. Piotr I, August II i Rzeczpospolita 1697–1706. Kraków, 2010.
8. Dess bei der Russischen armee gewesen General Lieutnants und Ober-Ingenieurs in der glücklichen Victorie bei Narva gefangenen Ludwig Nicolai von Allart Schreiben und Aussrichtige Relation von der Russischen Berivrrung an den König von Pohlen aus seinem arrest in Narva, Stockholm. Brak miejsca i roku wydania.
9. General Lieutantens och Osver-Ingenieurens Ludwig Nicola von Allart som vid Stadens Narva Lickeliga Undfättning bliswet fången Uprichtige. Brak miejsca wydania, 1701.
10. From P. Klęska pod Połtawą. Kampania Karola XII w Rosji w latach 1707–1709. Zabrze, 2010.
11. Gierowski J.A. Europa wobec unii polsko-saskiej // Idem. Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie. Kraków, 2008. P. 287–300.
12. Gierowski J.A. Konfederaci tarnogrodzcy wobec możliwości porozumienia szwedzkorosyjskiego // Idem. Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie. Kraków, 2008. P. 524–531.
13. Gierowski J.A. Problematyka bałtycka w polityce Augusta II Sasa // Idem. Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie. Kraków, 2008. P. 351–359.
14. Gierowski J.A. Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648–1763): Wielka historia Polski. Kraków, 2001. T. 5.
15. Gierowski J.A. Stanisław Bogusław Leszczyński h. Wieniawa (1677–1766). Król polski, książę Lotaryngii // Idem. Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie. Kraków, 2008. P. 395–413.
16. Gierowski J.A. W cieniu Ligi Północnej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1971.
17. Gierowski J.A. Władca w dwóch państwach. Unia personalna z perspektywy monarchów // Idem. Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie. Kraków, 2008. P. 319–341.
18. Gierowski J.A. Wokół mediacji w traktacie warszawskim 1716 r. // Idem. Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie. Kraków, 2008. P. 513–522.
19. Hauziński J. Absolutyzm orientalny // Europa i świat w epoce oświeconego absolutyzmu. Praca zbiorowa / Pod red. J. Staszewskiego. Warszawa, 1991. P. 167–226.
20. Historia dyplomacji do 1871 r. / Red. S.W. Bachruszyn, W.M. Chwostow, A.W. Jefimow, J.A. Kosminski, A.E. Narocznicki, W.P. Potiomkin, W.S. Sergiejew, S.D. Skazkin, E.W. Tarle. Warszawa, 1973. T. I.
21. Hjärne H. Kark XII. Från europeisk synpunkt // Karolinska Förbundets Årsbok 1919, Lund, 1920, P. 1–16.
22. Jensen A. I Karl XII:s turkiska spår // Karolinska Förbundets Årsbok 1914. Lund, 1915. P. 186–207.
23. Konopczyński W. Dzieje Polski nowożytnej. Warszawa, 1996.
24. Kosińska U. Sondaż czy prowokacja? Sprawa Lehmana z 1721 r., czyli o rzekomych planach rozbiorowych Augusta II. Warszawa, 2009.

25. Kretzschmar H. Der Friedenschluss von Altranstädt 1706/07 // Um die polnische Krone. Sachsen und Polen während des Nordischen Kriegs 1700–1721 / Bearbeitet von J. Kalisch, J. Gierowski. Berlin, 1962. P. 161–183.
26. Krokosz P. Iwan Mazepa i Piotr I. Wojna na uniwersały (październik — grudzień 1708 r.) // Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne. 2009. № 1–2. P. 7–29.
27. Krokosz P. Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I. Kraków, 2010.
28. Krokosz P. Sukcesy oręża rosyjskiego w wojnie północnej — Narwa (1704), Leśna, Połtawa i Hangö Udd // Культура народов Причерноморья. 2002. № 36. С. 89–93.
29. Krokosz P. Wasyl Golicyn — niespełniony rosyjski reformator // Studia Historyczne. 2005. № 1. P. 15–28.
30. Kuylenstierna O. Kring Karl XII. Stockholm, 1918.
31. Markiewicz. M. Historia Polski 1492–1795. Kraków, 2007.
32. Mironowicz A. Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej. Białystok, 2001.
33. Mironowicz A. Polityka Piotra I wobec Kościoła Prawosławnego w Rosji i w Rzeczypospolitej // Cywilizacja Rosji imperialnej / Pod red. P. Kraszewskiego. Poznań, 2002. P. 277–294.
34. Nordberg J.A. Historie de Charles XII. roi de Suède. La Haye, 1748. T. IV.
35. Nowak A. Od imperium do imperium. Spojrzenie na historię Europy Wschodniej. Kraków, 2004.
36. Rakutis V. Hetmani litewscy w polityce rosyjskiej podczas wojny północnej 1700–1721 // Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха. Збірник наукових праць / Відп. ред. В.А. Смолій, відп. секр. О.О. Ковалевська, Київ, 2008. С. 43–47.
37. Rostworowski E. Historia Powszechna. Wiek XVIII. Warszawa, 1994.
38. Serczyk W.A. Absolutyzm w Rosji // Europa i świat w epoce oświeconego absolutyzmu. Praca zbiorowa / Pod red. J. Staszewskiego. Warszawa, 1991. P. 326–351.
39. Serczyk W.A. Połtawa 1709. Warszawa, 1982.
40. Sundberg U. Bitwa pod Stäket 13 VIII 1719. Zabrze-Tarnowskie Góry, 2012.
41. Traktaty między mocarstwami europejskimi od roku 1648 zasług podług lat porządku, z przyłączoną potrzebnej Historii wiadomością opisane. Warszawa, 1773. T. II.
42. Uddgren H.E. Något om Karl XII:s ställning till kriget med Ryssland och försvaret af Östersjöprovnserna under åren 1702–1706 // Karolinska Förbundets Årsbok 1910. Lund, 1911. P. 88–112.
43. Wójcik Z. Epilog traktatu Grzymułtowskiego w roku 1686 // Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiąt rocznicę urodzin / Pod red. Ł. Kądzieli, W. Kriegseisena, Z. Zielińskiej. Warszawa, 1994. P. 27–45.
44. Volumina legum. Petersburg, 1860. T. VI.

45. Zawisza K. Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666–1721) / Wyd. J. Bartoszewicz. Warszawa, 1862.
1. Агеева О.Г. Титул «император» и понятие «империя» в России в первой четверти XVIII века. Мир истории РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ. 1999. № 5. URL: <http://www.tellur.ru/~historia/archive/05/ageyeva.htm> (дата обращения: 28.07.2012).
  2. Артамонов В.А. От царства к империи. Изменение державной мощи России при Петре Великом // Петр Великий — реформатор России / Редкол.: Р.М. Байбурова, Н.С. Владимирская, Н.В. Рашкован, А.Б. Стрелигов. М., 2001. С. 34–39.
  3. Базарова Т.А. Возвращение Карла XII в Швецию после Полтавы в русской дипломатической переписке: по материалам походной канцелярии П.П. Шафирова // Полтава. К 300-летию Полтавского сражения. Сборник статей. М., 2009. С. 219–228.
  4. Бовгира А. «Мазепа умер, но мазепинцы живы...»: реаліті Гетьманщини після полтавської поразки. // Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха. Збірник наукових праць / Відп. ред. В.А. Смолій, відп. секр. О.О. Ковалевська, Київ, 2008. С. 120–130.
  5. Бодик Л., Гришков Я., Пушкаренко А., Моценко Л. Таганрог. Историко-краеведческий очерк. Ростов н/Д., 1971. С. 15–28.
  6. Боевая летопись русского флота: Хроника важнейших событий военной истории русского флота с IX в. по 1917 г. / Под ред. Н.В. Новикова. Сост.: В. А. Дивин, В. Г. Егоров, Н. Н. Землин, В. М. Ковальчук, Н. С. Кровяков, Н. П. Мазунин, Н. В. Новиков. К. И. Никкульченков., И. В. Носов, А. К. Селяничев. М., 1948.
  7. Бранденбург Н. Азовский поход Шеина // Военный сборник. 1868. № 10. С. 179–201.
  8. Бушкович П. Петр Великий: Борьба за власть (1671–1725). СПб. 2009.
  9. Веселаго Ф.Ф. Очерк русской морской истории. СПб., 1875. Ч. I.
  10. Документы относящихся к деятельности фельдмаршала, графа Бориса Петровича Шереметева, с 1704 по 1722 год, извлеченные из Архива Артиллерийского Музея, Императорской Публичной Библиотеки, Московского общего Архива Главного Штаба, Сенатского Архива, Румянцовского Музея, Архива Морского Министерства и архива Сергея Шереметева // Сборник РИО. СПб., 1878. Т. 25.
  11. Донесения и другие бумаги чрезвычайного посланника английского при русском дворе, Чарльза Витворта, и секретаря его Вейсброта с 1708 г. по 1711 г. // Сборник Императорского русского общества. СПб., 1886. Т. 50.
  12. Елагин С.И. История русского флота. Период азовский. СПб., 1864. Ч. 1.
  13. Жила В. Гетьман Іван Мазепа під турецькою опікою: історія й оцінка // Збірник «Мазепа»: реконструкція видавничого прокту 1939–1949 років. Київ, 2011. С. 120–129.
  14. Кафенгауз Б.Б. Северная война и Ништадский мир (1700–1721). М.; Л., 1944.

15. Когут З. Проблема автономії Української Православної Церкви в Гетьманщині (1654–1780-ті роки) // Он же. Коріння ідентичности. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. Київ 2004. С. 119–132.
16. Козловский И.В. Петр I в Дентфорде // Петр Великий — реформатор России / Редкол.: Р.М. Байбурова, Н.С. Владимирская, Н.В. Рашкован, А.Б. Стрелигов. М., 2001. С. 247–254.
17. Красиков В. Русский флот в Северной войне 1700–1721 годов. СПб., 2001.
18. Кротов П.А. Гангутская баталия 1714 года. СПб., 1996.
19. Крупницький Б. Мазепа і шведи в 1708 р. (На основі споминів листування сучасників) // Мазепа. Збірник. Варшава, 1938. Праці українського наукового інституту. Т. XLVI. Серія історична. Кн 5. Т. II. С. 3–12.
20. Крупницький Б. Пляни Мазепа в зв'язку з плянами Карла XII перед українським походом шведів // Мазепа. Збірник. Варшава, 1938. Праці українського наукового інституту. Т. XLVI. Серія історична. Кн 5. Т. I. С. 94–105.
21. Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической истории послепетровской России, 1725–1762 гг. Рязань, 2003.
22. Лалин В.В. Полтава — российская слава: Россия в Северной войне 1700–1721 гг. СПб., 2009.
23. Манько А.В. Великое посольство и строительство морского коммерческого флота России // Петр Великий — реформатор России / Редкол.: Р.М. Байбурова, Н.С. Владимирская, Н.В. Рашкован, А.Б. Стрелигов. М., 2001. С. 267–271.
24. Матвеев В.М. «Дипломатия в верхах» в XVII веке: Петр I и Вилгельм III в Утрехте и в Лондоне (1697–1698) // Петр Великий — реформатор России / Редкол.: Р.М. Байбурова, Н.С. Владимирская, Н.В. Рашкован, А.Б. Стрелигов. М., 2001. С. 227–246.
25. Материалы для истории Гангутской операции. Пг., 1914–1918. Вып. I–IV.
26. Молтусов В.А. Полтавская битва: Уроки военной истории. 1709–2009. М., 2009.
27. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. М., 1984.
28. Никульченков К.И. Взятие русскими войсками и флотом Азова в 1696 г. // Русское военно-морское искусство. Сборник статей / Под ред. В. Мордвинова. М., 1951. С. 46–58.
29. Павловский И.Ф. Битва под Полтавой 27-го июня 1709 года и ее памятники. Полтава, 1909.
30. Палли Х. Между двумя боями за Нарву. Эстония в первые годы Северной войны 1701–1704. Таллин., 1966.
31. Петров А. Нарвская операция // Военный Сборник. 1872. № 7. С. 5–38.
32. Петрухинцев Н.Н. Два флота Петра I: технологические возможности России // Вопросы истории. 2003. № 4. С. 117–128.

33. Предтеченский А.В. Основание Петербурга // Петербург петровского времени. Сборник статей / Под ред. А.В. Предтеченского. Л., 1948. С. 3–48.
34. Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1887–1952. Т. I–IX.
35. Полное собрание законов Российской империи с 1649. СПб., 1830. Т. II–V.
36. Порфирьев Е.И. Петр I — основоположник военного искусства русской регулярной армии и флота. М., 1952.
37. Поход боярина и большого полку воеводы Алексея Семеновича Шеина к Азову, взятие сего и Лютика города и торжественное оттуда с победоносным воинством возвращение в Москву: С подробным описанием всех военных и торжественных происшествий и с имянным списком бывших при том: сухопутных и морских, великороссийских и малороссийских, вышних и нижних военачальников числе всех войск и учиненным оным наград / Изд. В. Рубан. СПб., 1773.
38. Походная канцелярия вице-канцлера Петра Павловича Шафирова: Новые источники по истории России эпохи Петра Великого: В 3 Ч. / Изд. подгот. Т.А. Базарова, Ю.Б. Фомина; сост., вступ. ст., коммент. Т.А. Базаровой. Ч. II–III: 1714–1723 годы. СПб., 2011.
39. Пчелов Е.В. Петр Великий и династическая политика Романовых в XVIII–XX веках // Петр Великий — реформатор России / Редкол.: Р.М. Байбурова, Н.С. Владимирская, Н.В. Рашкован, А.Б. Стрелигов. М., 2001. С. 40–54.
40. Савельев Ю.С. Подготовка Петром I Великого посольства в Европу // Петр Великий — реформатор России / Редкол.: Р.М. Байбурова, Н.С. Владимирская, Н.В. Рашкован, А.Б. Стрелигов. М., 2001. С. 217–226.
41. Савкин. А.Е. «Оградить отечество безопасностью...»: Заветное наследие, пример государственно-патриотического служения и новая (победительная) военная система Петра Великого // Защита Отечества: Наука побеждать, заветы и уроки Петра Великого // Российский военный сборник. М., 2010. Вып. 23. С. 305–539.
42. Северная война 1700–1721 гг. К 300-летию Полтавской победы. Сборник документов. Т. I (1700–1709 гг.) / Под ред. Л.Г. Бескровного, Г.А. Куманева. М., 2009.
43. Семевский М.И. Тайная канцелярия при Петре Великом. М., 2012.
44. Сокирко О. Ще раз про передумови та причини повстання Івана Мазепи 1708 р. // Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха. Збірник наукових праць / Відп. ред. В.А. Смолій, відп. секр. О.О. Ковалевська, Київ, 2008. С. 81–92.
45. Соловьев В.М. Петровская модернизация России в контексте Великого посольства // Петр Великий — реформатор России / Редкол.: Р.М. Байбурова, Н.С. Владимирская, Н.В. Рашкован, А.Б. Стрелигов. М., 2001. С. 272–277.
46. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1991–2001. Кн. VII–VIII. Т. 14–16.
47. Субтельний О. Мазепинци. Український сепаратизм на початку XVIII ст. Київ, 1994.



48. Таирова-Яковлева Т.Г. Иван Мазепа и Российская империя. История «предательства». М., 2011.
49. Телпуховский Б.С. Гангутская победа русского флота // Русское военно-морское искусство. Сборник статей / Под ред. В. Мордвинова. М., 1951. С. 67–76.
50. Тимченко-Рубан Г.И. Первые годы Петербурга. Военно-исторический очерк. СПб., 1901.
51. Титов Ф.И. Русская православная церковь в Польско-Литовском государстве в XVII-XVIII вв. К., 1905. Т. 2.
52. Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1863. Т. IV. Ч. 1.
53. Хронология русской военной истории. Хронологический указатель воин, сражений и дел в которых участвовали русские войска от Петра I до новейшаго времени / Сост. А. Лацинский, СПб. 1891.
54. Хьюз Л. Царевна Софья. 1657–1704. СПб., 2001.
55. Чухліб Т.В. Мазепинська Україна між Російською та Шведською коронами: дилета вибору протекції // Український Історичний Журнал. 2009. № 2. С. 16–39.
56. Шафиров П.П. Разсуждение какие законные причины Его Величество Петр Великий император и самодержец всероссийский ... М., 1722.
57. Шпачинский Н. Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние юго-западной церкви до реформы Петра I. Полтава, 1905.
58. Шукина Е.С. Серия медалей Ф.Г. Мюллера на события Северной войны в собрании Эрмитажа. СПб., 2006.

**Н. А. Хренов**

Государственный институт искусствознания,

Москва, РФ

## «ОТТЕПЕЛЬ» В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ РУБЕЖА XVIII–XIX ВЕКОВ В ОЦЕНКАХ КНЯЗЯ А. ЧАРТОРЫЙСКОГО

Говорить о Польше с ее непростой историей значит говорить о России, к которой Польша в результате трех переделов была присоединена. Во время последнего, так называемого третьего передела, т.е. в 1794 году Польша была поделена между Россией и Австрией. Так, поляки стали подданными России и уже с рубежа XVIII–XIX веков столкнулись с теми противоречиями, которые были присущи российской империи.

К сожалению, противоречия, имевшие место в российской империи на рубеже XVIII–XIX веков, продолжали быть актуальными и на протяжении XIX и даже последующего, XX столетия. Так что исторические факты, о которых мы в связи с мемуарами А. Чарторыйского будем говорить, имеют не только исторический интерес. Распад в конце XX века Советского Союза, как одно из значимых событий истекшего столетия, позволяет прояснить и удаленные от нас исторические эпохи. История России в последние столетия — это история в ее имперской форме. Как выразился Г. Федотов, российская империя — «последняя, единственная в мире, остающаяся после ликвидации всех империй»<sup>1</sup>. Философ имел в виду не царскую, а большевистскую империю.

Говорят, что с распадом Советского Союза заканчивается мировая история вообще, понимаемая (в частности, С. Хантингтоном) как история идеологий. Но, может быть, точнее было бы сказать — понимаемая как история империй. Однако едва ли эта история заканчивается. Как выразился один из докладчи-

---

<sup>1</sup> Федотов Г. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры., т. 2., СПб., 1992., с. 315;

ков по поводу заката империй, «современные империи своими взаимопереплетениями и сложной структурой все более напоминают клубок змей, меняющих кожу»<sup>1</sup>.

Подтверждением этой точки зрения является перерождающаяся на наших глазах в империю Америка. Если во многих странах на развалинах империй возникают открытые, демократические общества, то в случае с Америкой происходит нечто прямопротивоположное: открытое общество превращается в империю. Нельзя не видеть, как наше поколение становится свидетелем трансформации самой демократической страны в империю, которую, пожалуй, можно сравнить только с Древним Римом. Недавно изданная у нас книга Томаса Ф. Мэддена<sup>2</sup> свидетельствует о том, что некоторые американские гуманитарии против этого не только не возражают, но не без удовольствия это доказывают. У Т. Ф. Мэддена идея Америки как империи повертывается позитивной стороной, и его книга приобретает пропагандистский характер.

В поисках исторических фактов, которые бы помогли прояснить некоторые моменты взаимоотношений между Россией и Польшей, остановимся на некогда нами прочитанных в журнале «Русская старина» и нас поразивших мемуарах польского патриота и либерала князя Адама Чарторыйского<sup>3</sup>. Не так давно они были опубликованы издательством «Терра» отдельным изданием в серии с коммерческим названием «Тайны истории в романах, повестях и документах»<sup>4</sup>. Именно поразивших, поскольку в них мы обнаружили не только максимально приближенные к человеку, что, наверное, вообще отличает жанр мемуаров от многих других литературных жанров, оценки исторических событий, но и прозрения, опережающие открытия, сделанные, например, в появившихся позднее таких научных направлениях, как психология масс, историческая психология или история ментальности.

Признаком переходной эпохи, переживаемой нами сегодня, является отказ от мировоззрения, господствовавшего в предшествующие десятилетия (для нас, это коммунистическое и имперское мировоззрения, которые в нашем варианте странном образом совместились). Это обстоятельство диктует обращение к новому видению и истолкованию, казалось бы, привычных фактов.

---

<sup>1</sup> Журнал «Восток», 1991., № 4., с. 86;

<sup>2</sup> Мэдден Т. Ф. Империя доверия. Как Рим строил новый мир. Как Америка строит новый мир. М., 2010 ;

<sup>3</sup> Чарторыйский А. Русский двор в конце ХУ111 и начале Х1Х столетия. Русская старина. 1906., № 9., 1907., № 7–12;

<sup>4</sup> Чарторыйский А. Мемуары., М., 1998;

Свобода от безличных политических и идеологических стереотипов заставляет больше ценить мемуары, в которых можно обнаружить такие подробности об исторических фактах и лицах, которые трудно отыскать в традиционных трудах по истории. Ведь в них история дается в форме личностных переживаний, свободных от политических установок. Казалось бы, то же способен делать и роман. Но в романе стихия воображения подавляет документальное воспроизведение событий истории. Мемуары же ценят больше именно эту документальную достоверность. Не случайно в эпохи перемен и переворотов интерес к мемуарам нарастает. Об этом, например, свидетельствуют 20-е годы и эпоха шестидесятников<sup>1</sup>.

Когда с помощью мемуаров мы получаем возможность приблизиться к каким-то историческим фактам и событиям, от нас не может ускользнуть некоторая повторяемость, характерная для всей человеческой истории, которая некогда обращала на себя внимание Дж. Вико, Ф. Ницше и О. Шпенглера.

Обращаясь к фактам российской истории рубежа XVIII–XIX веков, описанным в мемуарах А. Чарторыйского, мы обнаруживаем их некоторое сходство с тем, что в последнее время переживает (уже в который раз в своей истории) Россия. Действительно, как выясняется, наша сегодняшняя ситуация, оказывается, имеет исторические прецеденты. Но эта повторяемость, невидимая, скажем, в XIX веке, открывается намного позднее, уже во второй половине XX века. Действительно, последующая история во многом способна объяснять в свое время недостаточно осмысленные исторические факты. Но описываемое А. Чарторыйским время Александра I как раз и является таким недостаточно осмысленным. Как в свое время писал Г. Флоровский, «вся значимость Александровского времени в общей экономии нашего культурного развития еще не была опознана и оценена до сих пор»<sup>2</sup>.

Аналогичные александровскому времени переходные ситуации в истории России случались и позднее. Так было столетие назад, когда распадалась российская империя. Так было в 60-е годы XIX века. И так случилось два столетия назад, т.е. на рубеже XVIII–XIX веков, когда российская империя оказалась на пути к радикальному переходу. Правда, радикального всплеска, равного революции 1917 года, тогда не произошло. Но, тем не менее, какой-то заметный всплеск, если иметь в виду последовавшее затем движение декабристов, все же имел место. В основе этих двух переходов (на рубеже XVIII–XIX и на рубеже XIX–XX веков) оказывался

<sup>1</sup> Хренов Н. Публика и критика в контексте отношений общества и государства. В кн.: Художественная критика и общественное мнение. М., 199;

<sup>2</sup> Флоровский Г. Пути русского богословия. Киев., 1991., с. 128;

один и тот же порыв к либеральному идеалу, который в истории империи никогда не исчезал, но в силу создавшейся исторической ситуации по-разному проявлялся. Конечно, на рубеже XVIII–XIX веков он охватывал узкий верхний слой общества, а ближе к XX веку он все больше превращался в массовое движение, что оказалось причиной того, почему в результате цель — либеральное обновление общества была извращена психологией масс, не достигнув желаемого результата.

Такой же порыв к либеральным ценностям характерен и для нашей современной ситуации. Однако все эти всплески либерализма постоянно наталкивались на мощное сопротивление, заканчиваясь возвратом к авторитаризму. Так, было в начале XIX века, когда после Александра I к власти приходит Николай I. Так после революционной смуты 1917 года постепенно утверждается власть Сталина. Так, уже в наше время либеральный порыв, очевидный не только в период «перестройки», но еще и в период «оттепели», кажется, сменяется постепенным нарастанием авторитаризма.

Но если каждый раз в переходной ситуации к власти приходят склонные к авторитаризму политики, то, видимо, как можно предположить, им предшествуют политические фигуры, для деятельности которых характерны либеральные установки. В самом деле, эта логика просматривается не только в деятельности сменяющих Сталина Хрущева, а затем и Горбачева, если иметь в виду более близкую нам ситуацию. Если же иметь в виду историю вековой давности, то авторитаризм просматривается в деятельности Николая II, а либерализм — в предшествующей эпохе, в деятельности внука Екатерины II — Александра I.

Вообще, такие параллели между готовностью к либеральным реформам на рубеже XVIII–XIX веков и в эпоху Хрущева в нашей литературе проводились. Так, по поводу свертывания авторитарной системы и поворота в сторону соборного начала, в частности, активизации способов управления по территориальному принципу, связанную с руководством Хрущева, А. Ахиезер пишет: «Реформа 1957 года по своему направлению совпадает с административной реформой Екатерины II на соответствующем этапе первого либерального периода. Для нее была характерна не только децентрализация, стремление перенести из центра на периферию функции управления и контроля. Функции департаментов петровских центральных коллегий были тогда расчленены по губерниям. Общий дух идеала всеобщего согласия породил принципиальное сходство реформ в разных исторических эпохах»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ахиезер А. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России), т. 1. Новосибирск., 1997, с. 572;

Эти повторяющиеся в российской истории переходные ситуации можно было бы обозначить одним словом, прибегая к метафоре или образу. Такой образ появился тоже ближе к нашей ситуации, исходной точкой которой был приход к власти Хрущева. Известно, что всю эту эпоху стали обозначать, используя название сегодня уже забытой повести И. Эренбурга «Оттепель». Мы ей тоже уделили внимание в своих работах<sup>1</sup>.

Российские историки постоянно используют для обозначения каких-то исторических ситуаций одни и те же слова. Так, термин «смута» употребляется ими довольно часто. Применительно к истории до второй половины XX века термин «оттепель», кажется, почти не употребляется. Впрочем, это наше наблюдение имеет отношение только к историкам. Мы ощутили потребность это понятие использовать, когда работали над историей художественной жизни императорской России, связывая сложившуюся на рубеже XVIII–XIX веков ситуацию с ассимиляцией идеей Руссо<sup>2</sup>.

Тем не менее, если не иметь в виду историков, то использование этого термина мы нашли у авторов, пытавшихся осознать атмосферу русской жизни рубежа XIX–XX веков. Так, мы обнаруживаем этот термин у Д. Мережковского. Он пишет: «Мы живем в странное время, похожее на оттепель»<sup>3</sup>. На наш взгляд, для характеристики сложившейся в российской истории на рубеже XVIII–XIX веков ситуации этот термин тоже подходит.

Первыми это ощутили философы, пытавшиеся разобраться в логике российской истории. Так, уже цитированный нами А. Ахиезер, перенося ситуацию хрущевской эпохи на александровское время, пишет: «Приход к власти нового поколения правящей элиты, противопоставившего себя сталинизму, тоталитарной форме синкретической государственности, породил «оттепель», определенную возможность независимой критики. Возникшая атмосфера надежды и возрождения напоминала атмосферу позднего идеала всеобщего согласия прошлого инверсионного цикла, царствования Екатерины II, александровской весны»<sup>4</sup>.

В чем же заключается смысл оттепели или «александровской весны»? Ее и попытался зафиксировать и осмыслить в своих мемуарах польский патриот и

---

<sup>1</sup> Хренов Н. Художественная культура эпохи надлома империи: религиозные, национальные и философско-эстетические аспекты. М., 2010;

<sup>2</sup> Хренов Н., Соколов К. Художественная жизнь императорской России (субкультуры, картина мира, ментальность)., СПб., 2001;

<sup>3</sup> Мережковский Д. Эстетика и критика., т. 1., Москва-Харьков., 1994., с. 137;

<sup>4</sup> Ахиезер А. Указ. соч., с. 566;

либерал князь Адам Чарторыйский, волею судеб оказавшийся в период присоединения Польши к России на самых высоких ступенях имперской пирамиды. Он попытался не только понять, но и многое для этой «александровской весны» сделать. А. Чарторыйский — не пассивный регистратор фактов, а деятельный политик, многое делавший для того, чтобы Россия превратилась в «открытое» общество. Фигура князя Адама оказалась вписанной в имперскую ситуацию, и без его признаний, изложенных в мемуарах, эту ситуацию трудно понять.

От чего пыталась освободиться Россия времени Александра I? Задавая себе этот вопрос, князь Адам пишет: «С самого начала царствования Ивана Васильевича Грозного у московских царей начал проявляться инстинкт завоеваний, и, прибегая поочередно то к хитрости, то к войне, они умели с редким искусством увеличивать свои владения за счет своих несчастных соседей; но главным образом при Петре I русская политика приняла решительный и устойчивый характер, которому наследники его уже не изменяли. Россия не перестает с неутомимой настойчивостью преследовать цель, которая заключается ни более, ни менее, как в подчинении себе большей части Европы и Азии и сосредоточении в своих руках возможности вязать и решать судьбы соперничающих с ней народов»<sup>1</sup>. Князь Адам фиксирует, что Россия оказалась во власти имперского комплекса, т.е. распространения своего влияния на как можно большее число народов.

Что касается оттепельного времени Александра I, то А. Чарторыйскому оно казалось вхождением в новую эпоху. Смысл этой эпохи он усматривал в упразднении имперской идентичности, носителями которой, как он полагал, были не только двор и аристократия, но и то, что поклонники исторической школы «Анналов» называют «безмолвствующим большинством». Так, характеризуя в своих мемуарах канцлера Воронцова, он писал, что тот хорошо знал свой народ. «Он знал, — пишет А. Чарторыйский — что всякое проявление могущества, будь оно даже несправедливым, нравится русским; что первенствовать, повелевать, подавлять — потребность их национальной гордости»<sup>2</sup>.

Правда, здесь А. Чарторыйский затрагивает острую тему не только национальной ментальности, но и психологии масс и ее роли в поддержании имперской идентичности. Когда выдающийся российский историк XIX века С. Соловьев описывает триумфальное восхождение во французской империи Наполеона, он высказывает проницательное суждение и о психологии массы, предвосхищая идеи,

---

<sup>1</sup> Чарторыйский А. Мемуары., с. 257;

<sup>2</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 234;

высказанные Г. Лебоном. Чтобы сохранить свой имперский ореол, Наполеон, как утверждает С. Соловьев, вынужден был предугадывать возможное изменение отношения к нему со стороны массы. Судя по тому, что говорит С. Соловьев, «славолюбие» вообще свойственно французскому народу, а потому императору постоянно нужно было воздействовать на эту сторону психологии французов и действовать так, чтобы «славолюбие» не угасало и постоянно возрождалось.

Именно этой особенностью психологии массы историк пытался объяснить перманентную историю завоевательных походов Наполеона. Поэтому стратегией Наполеона стало правило Макиавелли — «постоянно отвлекать внимание народа от внутреннего к внешнему, постоянно ослеплять славолюбивый народ военной славой, поддерживать нравственное преклонение перед властью постоянными ее триумфами»<sup>1</sup>. Исходя из этих латентных установок «славолюбивого» народа, Наполеон вынужден был укреплять и увеличивать войско, постоянно вести войны, в которых он добивался побед. Психология французской армии, не знавшей поражения, становилась чем-то большим, чем психология только армии и только военных.

Коль скоро А. Чарторыйский делает столь категоричные выводы о ментальности не только российской власти, но и русского народа, интересно понять, что это за человек — А. Чарторыйский? Имеем ли мы дело с человеком, находящимся под воздействием негативных оценок России, возникших в результате насильственного присоединения Польши к России и утраты принадлежащего его семье имения или же в мемуарах перед нами предстает мыслящий политический деятель, постепенно постигающий всю сложность и неоднозначность ситуации, в которой он был призван стать активным действующим лицом?

Конечно, свою жизнь юный князь Адам начал с усвоения ненависти к России. Однако судьба распорядилась так, что ему пришлось многое в своих убеждениях пересматривать. В том числе, даже в оценках своих соотечественников, оказавшихся не всегда способных демонстрировать лучшие нравственные качества. Вот его признание. «Мало-помалу, — пишет он — мы пришли к убеждению, что эти русские, которых мы научились инстинктивно ненавидеть, которых мы причисляли, всех без исключения, к числу существ зловредных и кровожадных, с которыми мы готовились избегать всякого общения, с которыми не могли даже встречаться без отвращения, — что эти русские более или менее такие же люди, как и все прочие, что между ними есть умные молодые люди,

---

<sup>1</sup> Соловьев С. Император Александр I. В кн.: Соловьев С. Собрание сочинений., СПб., 1901., с. 251;



люди вежливые, приветливые, на словах, по крайней мере, что в их кружках можно встретить дам очень любезных и приятных, что, в общем, можно жить в их обществе, не испытывая чувства отвращения, что даже можно иногда считать себя обязанным питать к ним дружбу и чувство благодарности»<sup>1</sup>.

Можем ли мы воспользоваться теми фактами, которые князь Адам с его крайними взглядами описал в своих мемуарах, для характеристики самых значимых признаков российской истории этого периода? Насколько можно князю Адаму доверять? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо понять, какой статус занимал автор мемуаров в империи, во-первых, имел ли он какие-то политические убеждения, во-вторых, и если имел, то какие именно, в третьих? Но на эти вопросы мы не можем ответить, не поинтересовавшись, а что делает человек польского происхождения в России рубежа XVIII–XIX веков?

Конечно, в России и, в том числе, в Санкт — Петербурге поляков в эпоху Александра I было много. Одни преданно служили российскому трону, довольствуясь скромным статусом и положением, другие пребывали в ссылках или в тюрьмах опять же в России, не смирившись с утратой свободной и независимой Польши. У князя Адама была исключительная судьба. В российской империи он сделал фантастическую карьеру. Другие поляки, его современники, тоже делали карьеру, но порой это делалось гнусно и подло, с помощью доносов на своих соплеменников — патриотов, о чем в мемуарах сказано и чего князь Адам не намерен скрывать. Он был вне этого. Тем не менее, многие в России были готовы его воспринимать в другой роли, выказывая ему недоверие. Убеждения князя Адама не помешали ему продвигаться по социальной лестнице.

Жозеф де Местр, тоже проживающий в этой время в Петербурге и весьма популярный в эпоху Александра I встречался с князем Адамом, в том числе, на обедах, устраиваемых в доме графа А. Р. Строганова. Он оставил о князе свое впечатление. В письме 1803 года государственному секретарю короля Сардинии Ф. Габе (в этом году князь Адам еще не был министром иностранных дел России. Это произойдет только в следующем, 1804 году), он писал: «Воронцов удаляется в Москву, и Чарторыйский делается теперь всесильным. Он высокомерен, скрытен и неприятен, хотя и не сверх меры. Сомневаюсь, что поляк, который претендовал на корону, может стать настоящим русским и нелицемерным другом французов»<sup>2</sup>. Прогноз Ж. де Местра вскоре подтвердился. С 1804 по 1806 год князь Адам исполнял обязанности министра иностранных дел России.

---

<sup>1</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 39;

<sup>2</sup> Жозеф де Местр. Петербургские письма. СПб., 1995., с. 28;

Так мы убеждаемся, что имеем дело с человеком, оставившим след в российской истории. Тем большую ценность приобретают в наших глазах данные в его мемуарах характеристики и оценки. Однако в данном случае невозможно не коснуться и личной биографии князя Адама.

Как известно, Екатерина II раздвинула границы российской империи. Раз Россия — империя, а первичный импульс каждой империи — расширение в мировом пространстве, то Россия в данном случае не была исключением. Так Польша оказалась втянутой в пространство империи. Когда же поляки оказали сопротивление, то у них были отняты имения, а некоторые из них или пребывали в эмиграции, как родители князя Адама, или были сосланы в Сибирь, или же оказывались на государственной службе, клянясь в верности русской императрице. Так, знаменитый Костюшко был посажен в Петербурге в крепость, так, в доме на Литейном в Петербурге томились заключенные поляки Потоцкий, Закрежевский, Мостовский и Сокольниковский.

Имение было отнято и у Чарторыйских. Будучи в эмиграции, родители Адама пытались его вернуть. Но Екатерина II на эту просьбу могла согласиться лишь в том случае, если два сына Чарторыйских перейдут на службу российскому государству и переедут в Петербург. Так, Адам со своим братом Константином оказался в российской столице. Они оба сделали при дворе блестящую карьеру и смогли установить много связей. При этом А. Чарторыйский, выказывая свою преданность русской власти, никогда не забывал о том, что он — польский патриот, и целью своей жизни ставил освобождение своей родной страны.

Кроме того, по своим убеждениям он был либералом. Как признавался А. Чарторыйский, его политическая программа как государственного деятеля предполагала либерализацию и демократизацию, а, следовательно, реформирование империи. Иначе говоря, она предусматривала право каждого народа, входящего в российскую империю, на свободу, на обретение своей самостоятельности по отношению к империи. Освобождение Польши было лишь частью общей политической программы А. Чарторыйского<sup>1</sup>.

Казалось, подобные убеждения делали А. Чарторыйского в российской империи таким же чужим, как и остальных поляков. Между тем, возникавшая в государстве ситуация оттепели способствовала и его восхождению по социальной лестнице, и, как казалось, начавшемуся осуществлению его политических идеалов. Судьба, хотя он и сам проявлял максимум для этого энергии, свела его с юным внуком Екатерины II, который очень скоро окажется на троне. Князь

---

<sup>1</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 260;

Адам, конечно, окажет влияние на мировоззрение юного Александра I до того, как он займет трон. Но нельзя утверждать, что до встречи с либерально мыслящим князем Адамом Александр I был чистым листом бумаги.

Так, А. Чарторыйский сообщает, что Александр признавался ему, что хотел бы видеть свободными всех людей и проявляет интерес к Французской революции<sup>1</sup>. Это обстоятельство свидетельствует о влиянии на Александра общего духа времени и, видимо, воспитания. В данном случае роль князя Адама в формировании подобных убеждений будущего российского императора не следует преувеличивать. Здесь важно иметь в виду общую атмосферу XVIII века и, в частности, распространение идей французской философии и вообще философии модерна в хабермасовском смысле этого слова в российской аристократии.

Здесь невозможно не сказать о том, что александровской оттепели предшествовала активная ассимиляция в России французской культуры. Так, А. Чарторыйский усматривал в поведении Екатерины II и окружающих ее вельмож «воспроизведение величия Людовика XIV»<sup>2</sup>. В другом месте он пишет: «Если бы мы не боялись погрешить против Людовика XIV, мы сказали бы еще, что двор Екатерины имел некоторое сходство с двором великого короля. Сказать, что любовницы короля играли совершенно ту же роль в Версале, какую играли фавориты Екатерины в Петербурге, не будет грехом против его памяти»<sup>3</sup>.

Частью этой галломании была и французская философия XVIII века, представленная именами Вольтера, Руссо, Дидро и т.д., которую мы сегодня с полным основанием можем называть философией модерна. Она успела проникнуть в аристократические слои русского и не только русского общества и должна была дать всходы. А. Чарторыйский этого касается. Так описывая петербургские салоны, в частности, обеды в доме графа А. Р. Строганова, он констатирует обсуждение во время этих обедов идей Вольтера и Дидро<sup>4</sup>.

Дело доходило до того, что когда во Франции возникли трудности с изданием знаменитой энциклопедии, Екатерина II предлагала ее издавать в России<sup>5</sup>. Однако возглавлявший тогда это издание Дидро это предложение императрицы отклонил. Тем не менее, он приезжал в Петербург, советовал императрице освободить крестьян и даже много способствовал тому, чтобы Фальконе прибыл в

---

<sup>1</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 74.

<sup>2</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 43;

<sup>3</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 45;

<sup>4</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 41;

<sup>5</sup> Шугуров М. Дидро и его отношения с Екатериной II. В кн.: Оснадацатый век., т. 1., М., 1868;

Россию для возведения в Петербурге знаменитого памятника Петру I. Известно также, что граф Орлов в 1767 году предлагал Руссо поселиться в его имении близ Петербурга. В 1770 году он навещал его в Париже<sup>1</sup>.

Воздействие французской философии на аристократическое общество России явно не сводится к салонным беседам. Предпринимались даже попытки реализовать некоторые из модных идей в жизни. Вот характеристика старого графа А. Р. Строганова, данная А. Чарторыйским. «Старый граф Строганов долго жил в Париже, при Людовике XV. Он желал, как большая часть русских бар, чтобы сына его воспитывал француз. Он даже отправил сына во Францию, с его наставником Ромом; мне говорили, что это был умный и добрый человек, восторженный поклонник Жан-Жака Руссо; он намеревался сделать из своего ученика Эмиля»<sup>2</sup>. Молодой граф Павел Строганов и в самом деле воспитывался по системе Руссо. Когда разразилась революция во Франции, молодой граф получил возможность принять участие в собраниях и революционных действиях. Вместе со своим воспитателем он посещал заседания клуба якобинцев<sup>3</sup>. Старому графу стоило больших трудов вернуть сына в Россию.

Ассимиляция французской культуры была реальностью еще и в силу наводняющих Россию этого времени многочисленных воспитателей, прибывающих из Франции. Многие из них были честными и порядочными людьми. Но очевидно, что в их рядах было много авантюристов, о чем очень интересно писал в своем исследовании А. Строев<sup>4</sup>. Эту тему затрагивает и А. Чарторыйский, говоря о сочинителях разных государственных проектов («Между ними (составителями проектов — Н. Х.) иногда попадались люди не без таланта, но большей частью то были авантюристы, весьма сомнительной честности, какие в изобилии отовсюду стекаются в Россию, при каждой перемене царствования»<sup>5</sup>). О них саркастично высказывался Ж. де Местр, отрицательно оценивающий прибывающих из Франции гувернеров и воспитателей, а вместе с ними и всю философию Просвещения. Появившиеся уже в XX веке критические нападки на Просвещение, вроде известного сочинения Т. Адорно и К. Хоркхаймера, делают сегодня консервативные идеи Ж. де Местра вновь актуальными, о чем свидетельствует издание в России его сочинений.

---

<sup>1</sup> Кобеко Д. Екатерина II и Жан-Жак Руссо. Исторический вестник., 1883., № 6., с. 604;

<sup>2</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 113;

<sup>3</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 114.

<sup>4</sup> Строев А. «Те, кто поправляет Фортуну». Авантюристы Просвещения. М., 1998;

<sup>5</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 187;

Мы затронули тему влияния французской мысли на русских людей в связи с вопросом об убеждениях Александра I, способствующих реформированию империи. Здесь, конечно, тоже улавливается французский след. Не случайно Ж. де Местр в письме кавалеру де Росси от 1806 года говорит об Александре I, что он был воспитан учителем на одной лишь философии XVIII века<sup>1</sup>. Правда, сам Ж. де Местр, бывший когда-то последователем Руссо, не был единомышленником энциклопедистов, обрушивая на них критику и, видимо, в эпоху заката революционных настроений имел немало поклонников. Ж. де Местр критически оценивал распространение идей философии модерна в России. Он же фиксировал громадное влияние этой философии. «У меня нет слов, — писал он кавалеру де Росси в 1810 году — чтобы описать вам французское влияние в сей стране. Гений Франции оседлал гения России буквально так, как человек обуздывает лошадь. Противу сего превосходства нет иного лекарства, кроме религиозного чувства»<sup>2</sup>.

«Оттепель» или «весна» александровской эпохи, конечно же, во многом обязаны воздействию исходящих из Франции философских и политических идей. Прежде всего, в тех кругах российского общества, которые, начнись эти идеи реализовываться, были бы первыми принесены в жертву. Но проблема заключается в том, что под обаянием этих идей были и главные представители императорской власти — Екатерина II и затем Александр I. Так, Александр I с первоисточниками знакомился если не из первых рук, то из рук весьма осведомленного в этой области человека. Так, А. Чарторыйский называет воспитателя юного Александра — Лагарпа, познакомившего будущего императора с французской философией, представителей которой так почитала состоявшая с ними в переписке бабушка Александра I — Екатерина II.

Так, по признанию А. Чарторыйского, Александр с уважением отзывался о своем воспитателе Лагарпе, признавая, что он обязан многим именно ему<sup>3</sup>. В другом месте он высказывает предположение о том, что выбор воспитателя для Александра, т.е. Лагарпа Екатерине II был подсказан, по всей видимости, кем-то из энциклопедистов, окружавших Гримма или Гольбаха. И именно Лагарп заронил в сознание Александра идеи равенства и всеобщей свободы<sup>4</sup>. Лагарп играл значительную роль и во время деятельности «партии молодых людей», в которую входил и князь Адам. Вот характеристика Лагарпа, данная

---

<sup>1</sup> Жозеф де Местр. Петербургские письма., с. 79.

<sup>2</sup> Там же., с. 161;.

<sup>3</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 74;

<sup>4</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 88;

ему А. Чарторыйским. «Лагарп принадлежал к поколению, воспитанному на иллюзиях конца восемнадцатого века, — к тем людям, которые воображали, что их доктрины, как новый философский камень, как новое универсальное средство, разрешали все вопросы, и что одними сакраментальными формулами можно рассеять все разнообразные препятствия, выдвигаемые практической жизнью при осуществлении отвлеченных идеалов»<sup>1</sup>. Данное высказывание князя Адама, кстати, к тому же еще несет на себе печать влияния на него Ж. де Местра, которое не исключается, поскольку князю Адаму, видимо, не раз приходилось его слышать.

Тем не менее, общие взгляды, возникшие благодаря распространяющимся философским идеям XVIII века, сближали А. Чарторыйского с Александром I. Ни польский патриотизм, ни либерализм князя Адама не отталкивали будущего императора. Наоборот, убеждения князя Адама входили составной частью в проект радикального преобразования российской империи. Когда Александр I после убийства заговорщиками его отца оказался на троне, он не мог не приблизить к себе А. Чарторыйского. Это закончилось тем, что со временем князь Адам стал министром иностранных дел. Став одним из ключевых деятелей российской империи с ее жесткими установками, А. Чарторыйский однако, будучи по убеждению республиканцем, не оставлял надежды на освобождение Польши. Но это предполагало и обязательные либеральные реформы в самой империи.

В конце концов, А. Чарторыйский оказался одним из представителей группы молодых реформаторов, считавших себя способными радикально реформировать Россию, превращая ее в либеральную страну. Так началась в российской империи рубежа XVIII–XIX веков оттепель, предшествующая многим последующим оттепелям. Этот замысел свободомыслящих молодых людей во главе с самим молодым императором оказался одной из первых утопий. И без выявления существа этой утопии мы не можем понять смысла последующих утопий. Утопией было то, что империю невозможно было реформировать. От нее следовало отказываться. Но для этого еще не пришло время. Частные и половинчатые реформы при существующем положении дел отторгались, и все возвращалось в прежнее состояние. Когда Г. Флоровский характеризует эпоху Александра I, он обращает внимание на психологию этой эпохи, проявляющуюся в ожидании нового «золотого» века. «Верно понять и представить психологическую историю тех времен и поколений — пишет он — можно только в этой перспективе возбужденных социально- апокалиптических ожиданий, в обстановке всех этих

---

<sup>1</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 188;

тогдашних и вселенских ошеломляющих событий и свершений... Это была полоса теократического утопизма»<sup>1</sup>.

Конечно, замысел молодых реформаторов провалился, как он будет в последующей истории проваливаться не один раз. Но, однако же, он и не был пустоцветом. Идеи А. Чарторыйского, как и других приближенных к императору молодых реформаторов, несомненно, сыграли свою роль в возникновении одного из самых светлых фактов в российской истории, а именно, движения декабристов. Тем большую значимость приобретают для нас мемуары польского вольнодумца и патриота.

Однако следовало бы задуматься над тем, почему же первая либеральная оттепель в России не получила развития, а если и получила, то этот процесс в последующей истории разворачивался подспудно, редко выходя на поверхность и охватывая все общество. Может быть, все дело в том, что реформа замышлялась и начала осуществляться, как это всегда и происходило в истории России, в верхах, т.е. представителями правящей элиты? В какой мере этот замысел реформировать империю был поддержан снизу? Выражал ли он волю «нетворческого большинства», как выражается А. Тойнби, или «молчаливого большинства», как выразился популяризатор исторической школы «Анналов» А. Гуревич?

Очевидно, что либеральная волна, от кого бы она ни исходила и в какое бы время ни набегала, была реакцией на авторитаризм. В данном случае, на авторитаризм Павла I, деятельность которого очень раздражала правящую элиту, которую он, как в более позднее время Сталин, держал в страхе, часто прибегая к террору. О Павле А. Чарторыйский пишет, что ни один государь не был более ужасен в своих жестокостях. Описывая атмосферу в обществе во время правления Павла, он пишет: «Над каждым тяготела возможность быть высланным или подвергнуться оскорбительным выговорам в присутствии всего двора, причем император обыкновенно возлагал исполнение этого неприятного поручения на маршала двора. Наступало нечто вроде эпохи террора»<sup>2</sup>.

Но вот любопытное наблюдение. Оказывается, если бы Павел успел опереться на солдатскую массу, которой он нравился, преступления могло бы не произойти. Здесь князь Адам в своих суждениях оказывается последовательным. Как ни странно, но массе имперская идентичность вовсе не противопоказана. Жестокость Павла больше обрушивалась на чиновников, офицеров и генералов. Солдат от гнета власти страдал меньше. «Солдатам нравилось, их забавляло то,

---

<sup>1</sup> Флоровский Г. Пути русского богословия., с. 130;

<sup>2</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 131

что их император, их великий ценитель, подвергал наказаниям и строгостям офицеров, в то же время при всяком случае обильно награждая войска за работы, бессонные ночи и всякие стеснения, которым они подвергались»<sup>1</sup>.

Но настроения массы во многом оказались определяющими и для всей неудачной истории реализации либеральной идеи. И здесь мы снова возвращаемся к суждениям историка С. Соловьева по поводу отношений между императором и массой. Да, конечно, идеи Александра I, которые он начал осторожно проводить в жизнь, наталкивались на сопротивление старшего поколения, среди которого было много убежденных единомышленников Екатерины II и почитателей Петра I. Причина недоверия к Александру со стороны старшего поколения ясна. И А. Чарторыйский недвусмысленно констатирует: в XVIII столетии Россия пользовалась большей славой и значением за рубежом, чем это будет позднее<sup>2</sup>. Далее А. Чарторыйский более конкретно говорит об этой блистательной эпохе в истории России. Всемирная слава России связана с именем императрицы, которая, по словам князя Адама, вела успешную маккиавелистскую политику. «Все улыбалось ей — пишет он — дела несчастной Польши закончились так, как она этого хотела; король Пруссии, по ее приказу, уступил Австрии город Краков. Она видела, что все государства склонялись к ее ногам, потворствуя всем ее желаниям и одобряя их; Англия и Австрия старались добиться ее активной помощи в их борьбе с Францией. Неаполь, Рим и Сардиния, дрожа перед республиканцами, стремились к той же цели»<sup>3</sup>.

Что же касается Александра, то, как об этом свидетельствует мемуарист, он признавался Чарторыйскому, с которым сблизился и которому доверял, что не разделяет установок существующего государства, не оправдывает политики своей бабушки и порицает ее принципы. Стоит ли удивляться, что такие взгляды не могли не привести к появлению его недоброжелателей, убежденных в том, что «золотым веком» для России был именно век Екатерины II. Как отмечает Г. Флоровский, именно это время явилось «вряд ли не самой высшей точкой русского западничества»<sup>4</sup>. Несмотря на общение с европейскими философами самой императрицы, как и представителей дворянского круга, все же, как констатирует Г. Флоровский, «екатерининская эпоха кажется совсем примитивной по сравнению с этим торжествующим ликом Александровского времени»<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 177;

<sup>2</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 65;

<sup>3</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 72;

<sup>4</sup> Флоровский Г. Указ. соч., с. 128;.

<sup>5</sup> Флоровский Г. Указ. соч., с. 128;



Говоря о недоброжелателях, мы в данном случае сталкиваемся с постоянно в истории возникающей проблемой «отцов» и «сыновей», которая усложняет потребность в реформировании империи. Так случится во времена Александра II, так случится в эпоху футуристов и даже в более близкую нам эпоху оттепели, когда возникнет это понятие — «шестидесятники»<sup>1</sup>.

Конфликт единомышленников Александра, которых называли «партией молодых людей», с представителями старшего поколения оказался неизбежным. Молодые торопили, а старшие сопротивлялись. «Они (молодые — Н. Х.) — пишет А. Чарторыйский — торопили императора с приведением в исполнение высказанных им взглядов и тех предложений неофициального комитета, которые были им одобрены и признаны необходимыми. Раз или два хотели убедить его приступить к энергичным действиям, заставить себя повиноваться, устранить людей с устаревшими взглядами, служивших помехой всяким преобразованиям, и заместить этих людей молодежью»<sup>2</sup>.

Тем не менее, та, пусть и незначительная часть российского общества — точнее, российской аристократии, воспитанная на философии энциклопедистов — симпатизировала «партии молодых людей». Один из важных сановников империи — граф Строганов, бывавший в пору царствования Людовика XV в Париже и посещавший салоны, в которых общался с Гриммом, Гольбахом, Даламбером и другими, поддерживал молодых реформаторов. Будучи сам либералом, граф Строганов не мог не сочувствовать либеральным реформам. Тем не менее, несмотря на исключения, александровская весна наталкивалась на убеждения весьма консервативной прослойки в аристократических кругах.

Но в данном случае речь должна идти о настроениях не верхних слоев общества, не о части правящей элиты или отдельных ее представителях, а о настроениях массы, которая хотя и была бесправной, но, тем не менее, на государственную власть оказывала давление. Этой массе, естественно, не нравилась бюрократия, на которой с эпохи Петра I держалась российская империя. Но, что касается ауры императора, т.е. главного лица в государстве, то в массовом сознании по этому поводу существовали особые установки. Так мы сталкиваемся с тем (и об этом постоянно говорится у А. Чарторыйского), что образ либерального императора, каким был Александр I, массой отторгается. Это фиксирует не только А. Чарторыйский, но и пребывающий в Петербурге Ж. де Местр. Так, в письме королю Виктору Эммануилу I он в 1811 году пишет: «Но здесь он (Александр I — Н. Х.)

<sup>1</sup> Хренов Н. Смена поколений в границах культуры модерна: надежды, иллюзии, реальность. В кн.: Поколение в социо-культурном контексте XX века. М., 2005;

<sup>2</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 187;

не на своем месте, он совсем не русский, подданные безжалостно судят его, а он в свой черед не доверяет им и охотно полагается на верность иностранцев»<sup>1</sup>.

В массовом сознании имел место совсем другой образ главы государства, и тот образ, который подавал новый либеральный император, ему не соответствовал. Почему? Потому, что в массовом сознании власть еще не успела деса-крализироваться. Мы имеем дело с сакрализацией власти в российской империи и, соответственно, с сакрализацией первого лица государства. Это будет иметь место на рубеже XVIII–XIX веков. Но это, если иметь в виду сталинскую эпоху, повторится даже в XX веке. Александр I явно не соответствовал сакральной ауре империи. Г. Флоровский очень лаконично, но точно формулирует то же самое: Александр I не любил и не искал власти<sup>2</sup>.

Налицо несоответствие реального человека — первого лица государства и имперской сакральной ауры, сопровождающей власть в империи, кто бы ее не представлял. Вот вывод А. Чарторыйского, который переходит в характеристику российской ментальности. «Если бы человеческая натура могла довольствоваться только возможным, Александр должен был бы удовлетворить русских, так как он доставил им спокойствие, довольство, даже некоторую свободу, чего они не знали до начала его царствования; одним словом, во всей русской жизни чувствовался известный прогресс. Но русские желали другого. Похожие на игроков, жадных до сильных ощущений, они скучали однообразием благополучного существования. Молодой император не нравился им; он был слишком прост в обращении, не любил пышности, слишком пренебрегал этикетом»<sup>3</sup>.

Любопытно, как же реагировал на это отчуждение от массы находящийся во власти передовых идей император? Он явно ощущал это отторжение и, разумеется, учитывал. Именно поэтому во многом реформы в том виде, в каком они были задуманы, осуществиться не могли. Очевидно, что не могли осуществиться и мечты А. Чарторыйского о свободной Польше, а он их реализацию возлагал именно на Александра I, и тот, казалось, должен был многое в этом направлении сделать. Так, мемуарист сообщает, что, критикуя макиавелистскую политику бабушки, Александр критически относился к присоединению Польши к России. Так, по признанию А. Чарторыйского, в глазах Александра даже «Костюшко был великим человеком по своим доблестным качествам и по тому делу, которое он защищал и которое было также делом человечности и справедливости»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Жозеф де Местр. Указ. соч.. с. 179;

<sup>2</sup> Флоровский Г. Указ. соч., с. 131;

<sup>3</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 243;

<sup>4</sup> Чарторыйский А. Указ. соч.. с. 74;

Изменения характера Александра под воздействием обстоятельств, сохранение имперской ауры России оказывались в центре внимания мемуариста. Вот констатация впечатления от только что вступившего на трон Александра. «Он еще не совсем отрешился от прежних грез, к которым постоянно обращались его взоры; но его уже захватила железная рука действительности: он отступил перед силою обстоятельств, не обнаруживал господства над ними, не отдавал еще себе отчета во всем объеме своей власти и не проявлял умения применять ее на деле»<sup>1</sup>.

Свои надежды А. Чарторыйский возлагал и на Наполеона, который, казалось, продолжал идеи Французской революции, как воплощение программ французских энциклопедистов, а на самом деле создавал в Европе новую и великую империю, присоединяя к Франции все новые и новые территории. Здесь возникает новая и, может быть, определяющая причина захлебнувшейся реформы Александра I. Она связана с новой расстановкой сил на международной арене.

По сути, речь должна идти о возникающем в истории столкновении между двумя выдвинувшимися в начале XIX века на арену истории империями — российской и наполеоновской. Целью каждой империи является мировое господство. Это стало целью Наполеона. Но и Россия, благодаря реформам Петра I и деятельности Екатерины II, тоже заметно о себе заявила и начала активно вмешиваться в европейскую политику. Назревание этого столкновения между империями не могло ускользнуть от внимания А. Чарторыйского, оно сделалось предметом его наблюдений и размышлений.

Конечно, задолго до Аустерлица и 1812 года было ясно, что столкновение между Россией и Францией неизбежно. Ж. де Местр в письме кавалеру де Росси в 1810 году по этому поводу пишет: «Наполеон не может смириться с самостоятельной Россией. Ему совершенно необходимо напасть на нее и покорить одной воле»<sup>2</sup>. Разумеется, в этом не мог не отдавать отчет и Александр I. Наверное, именно поэтому он не выпускал армию из своих рук, укрепляя ее и продолжая в этом смысле дело отца. Империя есть империя, и военное могущество — ее первейший признак. Если же не реформируется армия, то в своем неизменном виде остается и империя.

В данном случае можно констатировать реальное противоречие, перестающее быть противоречием характера Александра I и оказывающееся противо-

---

<sup>1</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 162;

<sup>2</sup> Жозеф де Местр. Указ. соч., с. 158;

речием между идеями в их философском смысле и реальностью империи. Это противоречие, естественно, первый представитель имперской власти преодолеть не мог. Вот почему традиция, характерная для отца императора и связанная с культом армии, оружия и парадов, остается главной и для Александра I.

Так, касаясь перемен в характере Александра, князь Адам размышляет и о его отношении к армии. Он прямо говорит об усвоенной им от отца парадомании. «В продолжение всего своего царствования он страдал парадоманией, этой специфической болезнью государей, благодаря которой, будучи на троне, он терял много драгоценного времени и которая мешала ему в его юные годы плодотворно работать и приобретать необходимые знания»<sup>1</sup>.

В другом месте А. Чарторыйский констатирует особое внимание Александра к армии. «По отношению к этому последнему (военному ведомству — Н. Х.) Александр, проникнутый принципами своего отца, не хотел отклоняться от его системы и оставил при себе адъютанта для ведения дел военного министерства. Все, что касалось армии, вплоть до какого-нибудь малейшего производства, должно было исходить непосредственно от императора, от его личной воли, и армии это должно было быть известно. Армия была кумиром; никто не должен был ее касаться, никто не должен был вмешиваться в ее дела; разве только по инициативе и при прямом участии самого императора»<sup>2</sup>.

Не случайно военные парады, которыми так утомлял Павел, в России не прекращались. Численность российской армии постоянно увеличивалась. Приводя статистику, касающуюся численности войск российской империи при Александре, Ж. де Местр сопоставляет ее с численностью войска в российской империи. Оказывается, по своей численности российская армия даже превосходила римскую. «Никогда еще не бывало ничего, подобного теперешней русской армии — пишет Ж. де Местр — В ней под ружьем 560 000 человек; одни только резервные войска состоят из 180 000 пехоты и более 80 000 кавалерии; это лучшая молодежь в свете, которую ничуть не беспокоит миллион уже погубленных жизней... Если вспомнить, что у Петра I было только 30 000 солдат по всей империи, а император Август повелевал всем известным миром с 400 000, невольно задаешься вопросом, куда приведет нас сие непрерывное увеличение военной силы?»<sup>3</sup>.

Однако забота об армии и сохранении имперских ритуалов положения не спасали. Получается, что несоответствие Александра I как реального челове-

---

<sup>1</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 83.

<sup>2</sup> Чарторыйский А. Указ. соч.. с. 219.

<sup>3</sup> Жозеф де Местр. Указ. соч., с. 282.

ка сакральной ауре императора стало решающей причиной неприятия маской Александра I на этом посту. Российский император, когда его сравнивали с французским императором, явно проигрывал. Естественно, что первых лиц двухдвигающихся к историческому триумфу империй часто сравнивали. Так, А. Чарторьский сообщает о беседе с маркграфиней Баденской, матерью императрицы Елизаветы, сестрой первой жены императора Павла, во время которой она позволила себе сравнить Александра и с Наполеоном не в пользу российского императора. «Она (маркграфиня — Н. Х.) проводила параллель между Александром и первым консулом, который, наоборот, зная лучше людей и то, что нужно, чтобы заставить себя любить, уважать и повиноваться себе, окружал себя блеском и не пренебрегал ничем, что могло увеличить его престиж, без которого верховная власть не может существовать»<sup>1</sup>.

Что же касается Александра I, то он, наоборот, стремился уменьшить пышность публичных церемоний и придворной обстановки. Его образ не соответствовал царскому величию. А вот вывод А. Чарторьского: «Александр не обладал умением властвовать над умами, увлекать и наполнять довольством тех, которых он желал привлечь к себе. Ему недоставало этой способности, столь необходимой монархам, в особенности, в первое время царствования. Коронационные торжества были для него источником сильнейшей грусти»<sup>2</sup>.

Однако в отношении императора и армии проявилась и еще одна черта — и самого императора, и времени, которое он представляет. Несмотря на несоответствие сакральной ауре власти, Александром владела идея, которая была скорее религиозной и мистической. Иначе говоря, утопичность александровского времени имела специфические черты, которые и отметил Г. Флоровский, называя эту утопичность теократической. Оказывается, она не противоречила просветительскому идеалу, усвоенному с помощью Лагарпа и А. Чарторьского. Эту особенность, т.е. представление императора о силе и о своей миссии, пронизательно подметил Г. Флоровский, утверждая, что Александр I осознавал себя носителем сакральной идеи. Без этой идеи невозможно понять и замысел Священного Союза. «Этот замысел — пишет Г. Флоровский — имея в виду Священный Союз, предполагал такую же веру во всемогущество благородного законодателя, изобретающего или учреждающего вселенский мир и всеобщее блаженство, что и политические теории просветительского века»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Чарторьский А. Указ. соч., с. 191;

<sup>2</sup> Чарторьский А. Указ. соч., с. 202;

<sup>3</sup> Флоровский Г. Указ. соч., с. 131;

История распорядилась так, что на пути к «золотому веку» возникло препятствие — имперские амбиции Наполеона, которого в России тоже воспринимали в апокалиптическом духе. Не случайно у Л. Толстого в романе «Война и мир» Анна Павловна Шерер в разговоре с князем Василием называет Наполеона Антихристом<sup>1</sup>. Л. Толстой даже называет дату этого разговора — 1805 год. Конечно, предчувствие военного столкновения всегда способствовало укреплению государственной власти. Это нам известно по эпохе Сталина. Александр I этому искушению не поддался.

Но логика истории оказалась весьма жесткой. Если этого не сделал Александр I, то это пришлось проделать следующему за ним монарху — Николаю I. Франция проиграла эту логику перехода от смуты к оттепели на примере биографии одного государственного лица — от республиканца и участника Французской революции Наполеона Бонапарта, которого, в конце концов, приветствовала восторженная масса. Что касается России, то следует отдать должное Александру I, он не стал диктатором. Но, с другой стороны, он должен был сохранить сделанное Петром I и Екатериной II. Это и замедляло задуманные реформы, и останавливало их реализацию. Тем не менее, трансформации его из либерала в авторитарного политика все же не произошло. Железная логика истории будет иметь продолжение в свободомыслии декабристов, с одной стороны, и как реакцию на свободомыслие — усиление авторитаризма в лице Николая I.

Эта трансформация Наполеона не ускользнет от А. Чарторыйского. Так, когда он пишет о медовом месяце республиканской Франции, он уже имеет в виду и вырождение революционных идеалов, и реставрацию имперского комплекса. «Оправившаяся от террора Французская республика, казалось, победоносно шла к удивительной будущности, полной благоденствия и славы. В 1796 и 1797 годах она переживала свои лучшие дни. Империя еще не охладилась и не совратила с прежнего пути наиболее горячих приверженцев революции»<sup>2</sup>. То обстоятельство, что Александр I так и не смог провести в жизнь задуманные либеральные реформы, объясняется еще и изменяющимися настроениями после Французской революции не только во Франции, но и во всей Европе. Террор, имевший место в этой революции, напугал не только государственников, но и творческую элиту. Именно с этим связана вспышка мистицизма и сопровождающая мистицизм религиозность. «Для той эпохи характерно — пишет Г. Фло-

---

<sup>1</sup> Толстой Л. Собрание сочинений в 20 томах., Т. 4., М., 1961., с. 7;

<sup>2</sup> Чарторыйский А. Указ. соч., с. 76.

ровский — что мистицизм становится общественным течением и одно время даже пользуется правительственной поддержкой»<sup>1</sup>.

Не случайно александровскую эпоху называют мистической эпохой. Удивляться этому не приходится, ведь и сам Александр I был мистиком. Эта потребность не ускользает от мемуариста. Правда, он считает, что погружение императора в мистицизм связано с «несмываемым пятном», т.е. с убийством его отца, к которому он косвенным образом, поддерживая идею отречения его от престола, был причастен»<sup>2</sup>. Как свидетельствует А. Пыпин, после Отечественной войны 1812 года прежние либеральные идеи императора отступают перед мистическими настроениями. Смена настроения императора способствовала успехам в России Библейского общества, президентом которого был А. Н. Голицын, а, следовательно, и контактам русской элиты с западными мистиками и сектантами.

Вот как об этой странице русской неофициальной истории пишет А. Пыпин: «Библейское общество, несомненно, было одним из любимых дел императора Александра: мистические тенденции общества соответствовали его собственным влечениям в этот период его жизни; он сам лично интересовался теми людьми, которые содействовали развитию пиетистических стремлений в русском обществе, он оказывал им внимание и поддерживал их, — ему казалось, что распространение библейской религиозности будет могущественным средством основать то христианское воспитание, на котором утверждается спокойствие и счастье народов»<sup>3</sup>.

Деятели Библейского общества, сопротивляющиеся просветительскому вольнодумству, способствовали проникновению мистицизма в среду творческой элиты. «Лица высшего света наперекор друг пред другом вступали в мистические кружки. В Петербурге у Голицыной и Мещерских они собирались для чтения мистических книг, бесед, духовной молитвы и других мистических упражнений. От придворной среды мистицизм передавался чиновному классу и даже, скоро сделавшись таким же модным явлением, каким прежде было вольнодумство. Всюду по городам стали появляться мистические кружки, подобные кружкам Голицыной»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Флоровский Г. Указ. соч., с. 137

<sup>2</sup> Чарторыйский Г. Указ. соч., с. 169;.

<sup>3</sup> Пыпин А. Исследования и статьи по эпохе Александра I., т. 1. Религиозные движения при Александре I. Петроград., 1916., с. 232;.

<sup>4</sup> Доброклонский А. Руководство по истории русской церкви., Выпуск 4., М., 1893., с. 330;

И все же, несмотря на воздействие на внутреннюю политику внешних факторов, нельзя считать, что вспышка либерализма была погашена исключительно этими факторами. Поскольку аналогичные ситуации, обозначаемые нами оттепелью, будут повторяться и в последующей истории, то этому следует дать какое-то другое обоснование. В нашей гуманитарной науке попытки объяснения таких повторов в истории существуют. Так, известна попытка эти повторы представить в виде исключительной логики развертывания российской истории, называемой циклической.

Речь идет о фундаментальном сочинении А. Ахиезера, который объектом своего наблюдения как раз и делает эту логику повторов или циклов, называемую им инверсионной логикой. Как считает философ, российская история, поскольку в ее основе оказывается раскол, развивается в соответствии с этой логикой. В этой империи очень сильны соборные, вечевые, т.е. догосударственные механизмы достижения единства общества. Некогда они эффективно действовали в локальных территориях, княжествах, но не срабатывали в поздней истории, когда государства, объединяя множество этносов и территорий, превращались в империи.

Выходом из этого противоречия стала государственная централизация со свойственным ей наращиванием бюрократии. Это постоянно приводило к возникновению авторитаризма, а позднее и тоталитаризма. Когда авторитарная власть становилась невыносимой, нарастало сопротивление и, следовательно, возникали сопровождающие активизацию либеральных ценностей слом, смута, социальная аномия. Эту ситуацию мы и называем оттепелью.

Но утверждение либеральных ценностей с присущим ему утилитаризмом и рационализмом также отдаляет массу от соборных, вечевых установок. Это тоже приводит к тупику, преодолеваемому с помощью харизматической личности, становящейся со временем диктатором. В записке графу Н. П. Румянцеву от 1811 года, Ж. де Местр сожалел о том, что человек «слишком плох для свободы»<sup>1</sup>.

Так в истории мы наблюдаем заколдованный круг, из которого, кажется, нет выхода. Но выход все же существует. А. Ахиезер его связывает с постепенным формированием в истории срединной культуры, не допускающей падение общества то в чистый авторитаризм, то в архаическую соборность. Такая срединная культура сформировалась на Западе. Ее эмбрионы всегда существовали и в России. Ведь смысл оттепели, не важно идет ли речь об оттепели рубежа XVIII

---

<sup>1</sup> Жозеф де Местр. Указ. соч., с. 187.



–XIX веков или о хрущевской эпохи, как раз и заключается в возникающей возможности создавать срединную культуру. Именно это Ж. де Местр угадывал, например, в реформе Александра I. Имея в виду Александра I, он писал кавалеру де Росси в 1809 году: «Император в глубине сердца чувствует неистребимое презрение к устройству своей державы, и чувство сие весьма сильно способствует духу нововведений: я подозреваю у него намерение учредить среднее состояние, некое подобие третьего сословия»<sup>1</sup>.

Такую потребность в создании третьего сословия имел не только Александр I, но и его бабушка Екатерина II. Тем не менее, в России эти попытки сформировать срединную культуру никогда не достигали такой стадии развития, чтобы противостоять инверсионным процессам. Поэтому все либеральные реформы здесь наталкивались на мощное сопротивление. Используя мемуары А. Чарторыйского, мы старались показать это, обращаясь к одной из первых в истории ситуаций оттепели, которая имела место на рубеже XVIII–XIX веков.

---

<sup>1</sup> Жозеф де Местр. Указ. Соч., с. 124.

**М. М. Сафонов**

Санкт-Петербургский институт истории РАН,  
Санкт-Петербург, РФ

## РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ И ДЕКАБРИЗМ

Название этой статьи не может не вызвать удивления. Когда существовала Речь Посполитая, никакого декабризма еще не было. Когда же возник декабризм, Речи Посполитой уже не было. Но эти два предмета связаны между собой теснейшим образом. Многообразное влияние польской культуры на Россию проявилось в частности и в том, что Речь Посполитая самим фактом своего исторического существования явилась одним из тех факторов, которые породили декабризм. Как это не покажется парадоксальным на первый взгляд, но декабризм возник прежде всего для того, чтобы не дать возможности только что созданному Королевству Польскому вновь стать Речью Посполитой.

Официальной датой образования первого декабристского общества — Союза спасения — считается 9 февраля 1816 г. Ее назвал один из основателей тайного общества С.П. Трубецкой, на первом же допросе в Следственном комитете делу декабристов.<sup>1</sup> Четверть века спустя он повторил ее в своих «Записках».<sup>2</sup> Трубецкой был единственным человеком, который назвал месяц и число, когда образовалось тайное общество. Поскольку все декабристские юбилеи отсчитывались от известных событий на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., никто никогда не придавал точной дате образования Союза спасения серьезного значения. Хотя тот факт, что Трубецкой десять лет спустя мог назвать дату с точностью до дня, не может не привлечь к себе пристального внимания и требует объяснения. Очевидно, один из основателей декабристской конспирации запомнил точную дату потому, что в этот день произошло что-то очень важное. И оно было связано с образованием тайного общества. Как это не покажется стран-

---

<sup>1</sup> Восстание декабристов. (Далее: ВД). Т. I. М.:Л, 1925. С. 9.

<sup>2</sup> Трубецкой С.П. Записки : Письма И.И. Толстому 1818- 1823. СПб, 2011. С. 52.

ным, но ни один ученый не задался вопросом, что же такого произошло в этот день.

Между тем это «что-то» служит ключом для понимания того, что побудило офицеров гвардии, принадлежавших, что называется к «сливкам общества» создать тайное общество и назвать его «Союзом спасения». Кого и от чего юные гвардейцы, прошедшие горнило наполеоновских войн, собирались спасать?

Оказывается, событие, послужившее толчком к образованию декабристкой конспирации, имело непосредственное отношение к Царству Польскому. Точнее говоря, явилось важным моментом в истории сложных русско-польских отношений. 8 февраля 1816 г. Александр I подписал указ, который в «Полном собрании законов» обозначен так: «Об определении в Виленской губернии и в других губерниях исправников и заседателей земских судов по выбору дворянства». <sup>1</sup> На первый взгляд этот указ — одно из тех рутинных распоряжений правительства, ничего важного в себе не заключающих. Однако это далеко не так. Новый закон очень больно бил по интересам русского дворянства и мог быть воспринят чуть ли не как предательство национальных интересов России. В указе речь шла о русско-польских губерниях, присоединенных к России в результате разделов Польши. В 1802 г. там был установлен порядок, на основании которого на этих территориях со смешанным населением заседатели в земских судах и земские исправники, должны не выбираться дворянством этих губерний, как это предписывалось во всей империи «Учреждением об управлении губерний», но назначаться правительством. Понятно, что таковые назначения позволяли лучше отстаивать интересы российского населения. 8 февраля 1816 г. законодатель отменил этот порядок. Царь мотивировал это тем, что опыт показал: назначаемые правительством чиновники не знают местных особенностей и не могут успешно выполнять возложенные на них функции. На практике это означало, что суд и расправа в русско-польских губерниях передавалась в руки поляков. Численное превосходство польского дворянства на этих территориях гарантировало обеспечение прежде всего польских интересов.

Но могло ли это, пусть и значительное само по себе событие, повлечь образование декабристкой конспирации? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо рассмотреть этот указ через призму русско-польских отношений второго десятилетия XIX в.

Как известно, в противостоянии александровской России и наполеоновской Франции Польша являлась разменной картой, и вопрос о восстановлении

---

<sup>1</sup> ПСЗ, I, № 26 131.

польского государства делал ее картой козырной. После разгрома Наполеона по инициативе Александра I на Венском конгрессе из большей части Герцогства Варшавского, созданного французами, было образовано Королевство Польское, которое стало частью Российской империи, и было накрепко связано с ней одной правящей династией. 21 апреля / 3 мая 1815 г. Россия подписала два трактата один с Австрией<sup>1</sup>, другой с Пруссией<sup>2</sup>. Варшавское герцогство, под именем Царства (Королевства) Польского навсегда объявлялось владением российского императора, принявшего титул царя (короля) польского и его наследников и преемников (*ses héritiers et successeurs*). 9/21 мая 1815 г. манифест Александра I известил поляков о присоединении к России герцогства Варшавского и создании Царства Польского.<sup>3</sup> 13/ 25 об этом было объявлено полякам.<sup>4</sup> 28 мая/9 июня 1815 г. был подписан заключительный Генеральный акт Венского конгресса. I статья акта буквально воспроизводила формулировки трактатов, заключенных Россией с Австрией и Пруссией относительно Царства Польского. В частности здесь говорилось «*Sa Majesté Imperiale se réserve de donner à cet Etat jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable*».<sup>5</sup> В манифесте, объявившем российским поданным об акте Венского конгресса, это выражение было передано так: «Его императорское величество предполагает даровать по своему благоусмотрению внутреннее распространение сему государству, имеющему состоять под особым управлением».<sup>6</sup>

Выражение «*l'extension intérieure*», то есть «внутреннее распространение» было, неопределенно и двусмысленно. Можно было увидеть в нем расширение прав особого управления этой части России, то есть большей самостоятельности, или же обещание дальнейших территориальных приращений, только что созданного государства. Но большинство современников увидели в этой фразе право императора и польского короля расширять территорию королевства Польского за счет его собственных владений.<sup>7</sup>

Эта многообещающая фраза отражала стремление Александра создать на западной границе России мощный форпост против западных государств. На это

<sup>1</sup> Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. СПб., 1876. С. 319; ПСЗ, I, № 25824.

<sup>2</sup> Мартенс Ф.Ф. Указ. Соч. С. 336–337; ПСЗ, I, № 25827.

<sup>3</sup> ПСЗ, I, № 25842.

<sup>4</sup> Angeber. Le Congrès de Vienne et les traités 1815. T. III. Paris, 1864. P. 1224–1225.

<sup>5</sup> Мартенс Ф.Ф. Указ. соч. С. 237.

<sup>6</sup> ПСЗ, I, № 25863.

<sup>7</sup> Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории автономного Королевства Польского. 1815–1830. М., 2010. С. 94.

обстоятельство недвусмысленно указывал манифест 9 мая 1815 г, сообщивший россиянам о заключении договоров с Пруссией и Австрией о создании «Польского царства». В манифесте объявлялось, что «сим ограждается пределов наших безопасность, возникает твердый оплот, наветы и вражеские искушения отражающий, возрождающий узы братства племен взаимно между собой сопряженных единством происхождения».<sup>1</sup> Да и сам Александр так объяснил это А.И. Михайловскому-Данилевскому : «Польское царство послужит нам авангардом во всех войнах, которые мы можем иметь в Европе; сверх того, для нас есть еще та выгода, что давно присоединенные к России польские губернии, при могущей встретиться войне, не зашевелятся, как то бывало прежде, и что опасности сей подвергнуты Пруссия, которая имеет Позень и Австрия, у которой есть Галиция».<sup>2</sup>

Но для того, чтобы этот заслон мог быть эффективным, он должен был быть достаточно силен и жизнеспособен. Чтобы возрожденная Польша могла стать сильным государством, она должна была обладать достаточной для этого территорией, располагать значительными людским ресурсами, иметь выход к морю и быть обеспеченным полезными ископаемыми. Поэтому Александр всерьез думал о воссоздании Речи Посполитой.<sup>3</sup> Это означало восстановление Великого княжества Литовского и возвращение Польше русско-польских губерний, отошедших в ходе разделов последней четверти XVIII в. Еще надо было склонить Австрию и Пруссию вернуть Польше отобранные у нее в ходе разделов территории. Но это грозило развалом Священного союза, которым царь весьма дорожил. Поэтому на первый план вставал вопрос о восстановлении Великого княжества Литовского и возвращении русско-польских губерний. Этого настоятельно требовала польская сторона. И царь не мог не реагировать на эти требования.

15/ 27 ноября 1815 г. Александр I подписал написанную по-французски конституцию Царства Польского. В 1816 г. она была опубликована на французском языке и в польском переводе «Дневнике законов Царства Польского»<sup>4</sup> Российский самодержец Александр I стал конституционным польским королем.

Французская публикация конституции Царства Польского вызвала негодование у патриотично настроенных русских. «В последних пунктах этой кон-

---

<sup>1</sup> ПСЗ, I, № 25 842.

<sup>2</sup> Шильдер Н.К. Император Александр Первый. Т. IV. СПб., 1898. С. 63–64.

<sup>3</sup> Аскенази Ш. Царство Польское. 1815–1830. М., 1915. С. 25.

<sup>4</sup> Конституционная хартия 1815 года и некоторые другие акты бывшего Царства Польского. (1814–1881). СПб., 1907. С. 5, 64–108.

ституции, — вспоминал И.Д. Якушкин, — было сказано, что никакая земля не могла быть отторгнута от Царства, но что по усмотрению и воле высшей власти могли быть присоединены к Польше земли, отторгнутые от России, из чего следовало заключить, что по воле императора часть России могла сделаться Польшей». В людях, готовых жертвовать собою для блага России «все это посеяло ненависть к императору Александру». <sup>1</sup> Ни в одном из пунктов конституционной хартии Польши об этом не упоминалось. Видимо, Якушкин так растолковал Генеральный акт Венского конгресса. Но едва ли следует сомневаться в том, что общее настроение вчерашних победителей Наполеона он передал верно.

По пути с Венского конгресса Александр I посетил Варшаву. Там был образован его двор как короля Польши, учрежден придворный штат, назначены чины его. Туда даже были доставлены придворные экипажи. После этого посещения они остались в Варшаве. <sup>2</sup> Это дало основание для подозрений, что император готовится к тому, чтобы перенести свою столицу в Варшаву. Любая похвала польским чиновникам, польскому дворянству, подчеркнутая любезность с польской знатью, особенно с дамской ее частью, что было продемонстрировано русским царем во время его визита в Варшаву во второй половине 1816 г., воспринималось в контексте дворянских опасений, окрашенных в патриотические тона.

В Петербурге и в Москве распространялись слухи о переносе столицы России в Варшаву. Впоследствии об этих нелепых слухах вспоминал Якушкин. Они сводились к следующему: «Во-первых, что царь влюблен в Польшу и это было всем известно; на Польшу, которой он только что дал конституцию и которую почитал несравненно образованнее России, он смотрел как на часть Европы: во-вторых, что он ненавидит Россию, и это было вероятно после всех его действий в России с 15-го года; в-третьих, что он намеревается отторгнуть некоторые земли от России и присоединить их к Польше, и это было вероятно; наконец, что он, ненавидя и презирая Россию, намерен перенести столицу свою в Варшаву. Это могло показаться невероятным, но после всего невероятного, совершаемого русским царем в России, можно было поверить и последнему известию, особенно при нашем в эту минуту раздраженном воображении». <sup>3</sup>

1/13 июля 1817 г. вышел указ о формировании отдельного корпуса литовских войск. <sup>4</sup> Указом 14 октября 1817 был определен состав этого корпуса. Он

---

<sup>1</sup> Якушкин И.Д. Записки, статьи, письма, документы. М., 1951. С. 16.

<sup>2</sup> Шильдер Н.К. Император Александр Первый. Т. III. СПб, 1905. С. 176, 356.

<sup>3</sup> Якушкин И.Д. Указ. Соч.. С. 16.

<sup>4</sup> ПСЗ, I, № 26950.

должен был набираться из уроженцев Виленской, Гродненской, Минской, Волынской, Подольской губерний, а также Белостокского округа. Причем уроженцы этих губерний в составе русской гвардии переводились в Литовской корпус. Корпус был обмундирован по польскому образцу. У него был особый герб — «Литовские погоны» — государственный герб Литвы на груди двуглавого российского орла, вместо Святого Георгия. Литовский корпус представлял собой самостоятельную единицу, обособленную от русской армии. Очевидно, он предназначался к слиянию с войсками Царства Польского. Корпус насчитывал 40 тысяч человек. Присоединение его к польской армии, главнокомандующим которой являлся цесаревич Константин, увеличило бы численность вооруженных сил Царства Польского почти вдвое.

В российских верхах складывалось впечатление, что дело идет о восстановлении Великого княжества Литовского и соединении его с Царством Польским. Уезжая из Польши после открытия первого Сейма 1818 г., Александр приказал сенатору Н.Н. Новосильцеву подготовить перевод с латинских актов 1423 и 1551 гг., соединивших в союз Речь Посполитую и Великое княжество Литовское.<sup>1</sup> 20 декабря 1819 г. Новосильцев предоставил царю итоговую справку о соединении Литвы и Польши вместе с переводом указанных актов на русский язык.<sup>2</sup>

Замысел царя встретил резкое осуждение среди русской элиты. Прежде всего он грозил материальными потерями русского дворянства, крупной земельной знати, обогатившейся в ходе разделов Польши. Но эта материальная подкладка сопротивления польской политике царя маскировалась расхожими утверждениями, что Александр «влюблен в Польшу», предпочитает поляков соотечественникам и презирает русских

Восстановление Речи Посполитой означало, что и на этих территориях со смешанным населением также будет действовать Конституционная хартия. Государственным языком станет польский, религия — католической, чиновники — поляки, вооруженные силы так же польские.<sup>3</sup> Более того, Хартия не могла действовать на территориях, где существовало крепостное право, ибо последнее не позволяло реализовать провозглашенные ей права: неприкосновенность личности, равенство всех сословий перед законом и т.д.<sup>4</sup> Поэтому, прежде чем включить эти территории в Царство Польское, необходимо было произвести на

---

<sup>1</sup> Польша и Россия в первой трети XIX века. С. 341.

<sup>2</sup> Русская старина. 1882. Т. XXXV. С. 142–144.

<sup>3</sup> См. статьи 11, 28, 29, 56. ( Конституционная хартия 1815 года и некоторые другие акты бывшего Царства Польского. С. 42, 62)

<sup>4</sup> Там же. С. 42–43. См. статьи 16–23.

них освобождение крестьян. Это делало проблему восстановления Речи Посполитой особенно щекотливой для российских душевладельцев.

В 1817–1819 г. Александр стал осуществлять постепенную отмену крепостного права по отдельным регионам страны. Начал он с прибалтийских губерний. Следующим этапом должны были стать Малороссийские губернии: Полтавская и Черниговская.<sup>1</sup> Летом 1816 г. по пути в Варшаву Александр посетил их<sup>2</sup>. При этом он обращал особо внимание на положение крестьян, организацию их труда, отношения с помещиками. Бывшему предводителю дворянства С.М. Кочубею, полтавскому помещику, было поручено подготовить проект освобождения малороссийских крестьян. Летом 1817 г. царь посетил белорусские губернии, в том числе Витебскую и Могилевскую. Снова он побывал и в Малороссии. «Кажется, что цель этой поездки, вспоминал С.П. Трубецкой, была приготовить мысли дворянства этих губерний к свободе крестьян. Первое начало положено уже было в Эстляндии, за которую должны были следовать Лифляндия и Курляндия... Малороссийскому дворянству государь сам лично в сказанной речи объявил о своем намерении, но в сердцах их не нашел созвучия; сопротивление ясно выразилось в ответной речи Черниговского губернского предводителя. Это кажется поколебало твердость государя, ибо в Москве он удержался от выражения своих чувств касательно этого предмета. Должно полагать, однако ж, что он искренне желало его исполнения. Но между тем от дворянства хотел только повиновения своей воле, а не содействия». Во время пребывания царя в Москве в дворянских гостинных обсуждали вопрос о свободе крестьян «со страхом». Более того, «многие говорили, что если государь будет упорствовать в своем намерении дать свободу, то дворянам не останется ничего более делать, как уехать в чужие края».<sup>3</sup>

В 1817–1819 г. в прибалтийских губерниях была проведена отмена крепостного права. Согласно донесениям прусского посла Шепера освобождение крестьян в Литовских губерниях считалось необходимою предпосылкой соединения «русско-польских губерний с королевством».<sup>4</sup> Прусский консул в Варшаве Шмидт 9 февраля 1819 г. донес в Берлин о намерении присоединить Литовские губернии к Польше, как о деле решенном. Указом 9 августа 1823 г., Псковская губерния была присоединена к прибалтийскому наместничеству.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. М., 1989. С. 77–80.

<sup>2</sup> Шильдер Н.К. Император Александр Первый. Т. IV. С. 47–48, 71–78.

<sup>3</sup> Трубецкой С.П. Указ. соч. С. 54–55.

<sup>4</sup> Вернадский Г. В. Государственная уставная грамота Российской империи 1820 г. Прага, 1925. С. 30.

<sup>5</sup> Трубецкой С.П. Указ. соч. С. 100.



Никто из биографов династии Романовых не обратил внимания на то важное обстоятельство, что особый Литовский корпус во главе с Константином, был создан в тот же день, когда состоялось бракосочетание его младшего брата Николая с прусской принцессой Шарлоттой.<sup>1</sup> Летом 1819 г. Александр впервые сообщил Николаю о своем намерении передать ему российский престол.<sup>2</sup> В мае 1820 г. Константин женился на польке. Его супруга не получила титула великой княгини и осталась католичкой.<sup>3</sup> Цесаревич вступил в морганатический брак, дети от которого теряли права на российский престол. В январе 1822 г. Константин в письме на имя Александра просил уволить его от прав на российский престол, а в феврале того же года он получил согласие царя. Затем двумя указами 29 июня 1822 г. Константин, глава Литовского корпуса, был назначен главнокомандующим в губерниях Виленской, Гродненской, Минской, Вольнской, Подольской и Белостокской области.<sup>4</sup> Ему были присвоены «все права, власть и преимущества», предоставленные главнокомандующим по учреждению действующей армии от января 1812 г.<sup>5</sup> По сути дела это означало, что все верховное управление на этих территориях перешло в его руки. Чиновники этих областей носили мундиры польского образца с малиновым воротником.<sup>6</sup> Такое положение объявлялось «впредь до нашего указа», то есть временным.

16 августа 1823 г. Александр подписал манифест о передаче после его смерти престола Николаю. Манифест был положен в Успенский собор и в высшие государственные учреждения, но остался не опубликованными. На конверте была сделана надпись о том, что он может быть возвращен по первому требованию царя.<sup>7</sup> То есть, допускалась возможность изменения в будущем устанавливаемого порядка. Складывалось впечатление, что Россия и Польша, объединенные одним престолом, будут управляться разными лицами, при этом Царство Польское окажется в руках цесаревича Константина, но неизвестно с каким титулом. Манифест 16 августа упоминал о Николае как назначенном наследнике «единого неразделенного престола Всероссийской Империи, Царства Польского и Княжества Финляндского престола».<sup>8</sup> Но поскольку генеральный акт Венского

<sup>1</sup> ПСЗ, I, № 26 951.

<sup>2</sup> 14 декабря 1825 года и его истолкователи. М., 1994. С. 317.

<sup>3</sup> Шильдер Н.К. Император Александр I. Т. IV. С. 176, 278–282.

<sup>4</sup> ПСЗ, I, № 29087.

<sup>5</sup> ПСЗ, I, № 29088.

<sup>6</sup> Аскенази Ш. Царство Польское. 1815–1830. М., 1915. С. 109.

<sup>7</sup> Сафонов М.М. Междоусобие // Дом Романовых в истории России. 1995. С. 166.

<sup>8</sup> 14 декабря 1825 года и его истолкователи. С. 223.

конгресса, упоминал о Царстве Польском как вечном владении всероссийского императора и его «наследников и преемников», не исключали, что преемником Александра в Польше станет Константин. Возможно, он получил бы должность наместника, определить которую особым указом предписывала Конституционная хартия Польши.<sup>1</sup>

В этой связи характерна реакция генерал-адъютанта М.Ф. Орлова на события междуцарствия. В записке, подданной Николаю I 29 декабря 1825 г. он писал, что после смерти Александра I «по Москве пошел зловещий слух о разделе. Говорили, будто царское завещание устанавливало полное отделение Польши и русско-польских провинций, а также Курляндии, и что Священный союз гарантирует это отделение.... Некоторые же истинно русские люди, и я в том числе, ... сокрушались по поводу отделения Польши ...».<sup>2</sup> Примерно то же самое 27 декабря 1825 г. показал на следствии и А.А. Бестужев: «Стали носиться слухи, что он (Константин — М.С.) отказывается; Польша с Литвой и Подолией отойдет от России, чтобы не обделить экс-императора... тогда, признаюсь, закипела во мне кровь, неуместный патриотизм возмутил рассудок».<sup>3</sup>

Восстановление Речи Посполитой в ее исторических границах, существовавших задолго до разделов XVIII в., вызывало страх у русских землевладельцев еще и потому, что оставалось неясным, как далеко эти границы будут распространены. Н.М. Карамзин в сентябре 1819 г. в записке царю писал о том, что восстановление «древнего Королевства Польского» чревато не только потерей губерний, приобретенных Россией в ходе разделов, но гораздо большими территориальными потерями. Карамзин пугал царя тем, что если он отдаст Белоруссию, Волынь, Подолию вместе с Галициею, то от него потребуют «и Киева и Чернигова и Смоленска», ибо они также принадлежали враждебной Литве».<sup>4</sup>

Ум военного человека не мог понять, как можно отдавать свою территорию с населением 12 млн. человек своему поверженному противнику. Никакие дипломатические соображения не могли заставить вчерашних победителей Наполеона смириться с этим. Так же думали и высшие гражданские лица. Они утверждали, что помимо соображений целесообразности, существуют еще и юридические основания, не позволяющие самодержавному монарху добро-

---

<sup>1</sup> Конституционная хартия 1815 года и некоторые другие акты бывшего Царства Польского. С. 41.

<sup>2</sup> ВД. Т. XX. М., 2001. С. 164.

<sup>3</sup> ВД. Т. I. С. 436.

<sup>4</sup> Цит. по: Чернов К.С. Забытая конституция : «Государственная Уставная Грамота Российской империи. М., 2007. С. 55.

вольно передавать часть территории своей страны с проживающим на нем населением кому бы то ни было: ведь при обряде коронации самодержец присягал неделимости Российской империи. Эту аргументацию подробно развил председатель департамента законов Государственного совета Н.С. Мордвинов<sup>1</sup>. Сильнейшее сопротивление польская политика Александра встретила среди генералитета. Первую скрипку здесь играл М.Ф. Орлов.<sup>2</sup>

Учитывая все это, становится понятным, что указ 8 февраля 1816 г. был только первой тревожной ласточкой. Но он не мог не восприниматься как предательство русских интересов и как подготовительный шаг к отделению от России ее исконных территорий. Отторжение российских земель воспринималось дворянством как национальная измена и поднимало вопрос о том, входит ли в компетенцию верховной власти право уменьшать территорию своего государства, а это вело к постановке более общего вопроса о пределах власти самодержца. В такой ситуации возникновение Союза спасения было почти неизбежным. Он был призван спасти Россию, от врага Отечества, царя, готового принести в жертву национальные интересы страны в угоду своим личным предубеждениям. В таком случае, он сам должен был стать жертвой.

Едва ли случайно, что Союз спасения был создан А.Н. Муравьевым, капитанам Генерального гвардейского штаба. А.М. Муравьев был племянником Н.М. Мордвинова и жил во флигеле его дома; там он встречался членами созданного им тайного общества.<sup>3</sup>

Но самое, пожалуй, интересное заключается в том, что Союз спасения, образованный на следующий день после указа 8 февраля 1816 г., не был первой конспирацией, возросшей на почве противостояния польской политике Александра. Союзу спасения предшествовал Орден русских рыцарей, созданный М.Ф. Орловым и М.А. Дмитриевым-Мамоновым. Отметим, что они оба были представителями крупной землевладельческой знати, обогатившейся во время царствования Екатерины II. Первый племянник одного фаворита императрицы, участника первого раздела Польши, второй родной сын фаворита. (Небезынтересно отметить, что в последний год существования декабристкой конспирации ее участником стал и внук Екатерины В.А. Бобринский<sup>4</sup>).

Традиционно декабристоведе стараются развести эти две организации как можно дальше. Причин этому несколько. В марксистском декабристоведении не

---

<sup>1</sup> Архив графов Мордвиновых. Т. IV. СПб., 1902. С. XX-XXXIII.

<sup>2</sup> Якушкин И.Д. Указ. соч. С. 38.

<sup>3</sup> Муравьев А.Н. Сочинения и письма. Иркутск. 1986. С. 74.

<sup>4</sup> Декабристы: Биографический справочник. М., 1988. С. 24.

должно было никаких рыцарских орденов. К тому же, ярко выраженная антипольская направленность ордена, носившего национальную окраску с признаками ксенофобии, не позволяла объявить его первой декабристкой организацией. Поэтому предпочитали признать орден «мнимой» организацией, то есть не существующей. А между тем она не только существовала, но генетически была связана с Союзом спасения.

26 декабря 1825 г. А. А. Бестужев показал в Следственном комитете, что тайное общество, в котором он находился, «есть остаток какого-то общества еще с 1815 года». В нем «якобы участвовали генералы Михаил Орлов, Лопухин и Фон Визин». <sup>1</sup> П.Г. Каховский 18 декабря утверждал, что «Общество наше началось с 1815 года». <sup>2</sup>

В записке на имя царя 29 декабря 1825 г. Орлов писал, что, «кажется, первым задумал создать в России тайное общество» еще в 1814 г. Вместе с Дмитриевым-Мамоновым он собирался бороться с внутренними врагами, с «наполеонами в администрации», «которые творят внутренний разбой». Но наступили события 1815 г. «Создание Польского царства, тщетность моих возражений против этого плана, высказанных царствующему тогда государю, убеждение, что в Польше существовало ...тайное общество, подготавливающее ее воссоединение, место, которое польский вопрос все больше приобретал, или, по крайней мере, казалось, что приобретал в планах государя, ибо как раз в это момент был создан Литовский корпус, — все это вместе взятое, внушило мне мысль включить противодействие польской системе в мои первоначальные планы. В связи с этим в (...) в 1816 и частично в 1817 г. я был занят вместе с Мамоновым этим делом, но оно не было завершено, а вскоре было совершенно оставлено нами». Однако Орлов узнал, что уже «образовалось общество молодых людей, большей частью гвардейских офицеров, которые тоже ...работали в том же направлении». <sup>3</sup> То есть противодействовали польской политике Александра.

Орлов имел в виду общество, созданное А.Н. Муравьевым. Орлов пытался убедить царя в том, что, несмотря на свои планы, никакого тайного общества он не создал, а в общество А.Н. Муравьева вступать не стал. Объяснения Орлова были сочтены неудовлетворительными. 4 января 1826 г. в развернутом виде Орлов повторил то, что ранее уже сообщил. Он подчеркнул только то, что план общества по борьбе с лихоимством хотел представить на утверждение Александра. Но польские замыслы царя заставили отказаться его от этой мысли. «Государь из-

---

<sup>1</sup> ВД. I. С. 431.

<sup>2</sup> ВД. I. С. 340.

<sup>3</sup> ВД. Т. XX. М., 2001. С. 161.

волил отправиться в Вену и вскоре разнеслись слухи о восстановлении Польши. Сия весть горестно меня поразила, ибо я всегда почитал, что сие восстановление будет истинным несчастьем для России. Я тогда же написал почтительное, но, по моему мнению, довольно сильное письмо к его императорскому величеству. Но сие письмо, известное генерал-адъютанту Васильчикову, у меня пропало еще не совсем доконченным, и сведение об оном, дошедши до государя, он долго изволил не меня гнеться». Большую часть 1816 г. Орлов отсутствовал в Париже. «Тогда преубежденным будучи, что восстановление Польши не могло столь сильно быть поддерживаемо русским правлением без влияния польского тайного общества над намерением и волею государя, я вознамерился к первому моему предмету присоединить и другой, то есть противопоставить польскому русское тайное общество. Но это сделало невозможным представить свой план на утверждение Александра. Орлов занимался этим делом в конце 1816 и начале 1817 г., но не довел его до конца. Узнав от М.Н. Новикова или А.Н. Муравьева, что такое общество уже существует, бросил все прежние свои сочинения. На предложение войти в их общество Орлов ответил отказом, но «был внесен в табель другом». «Другом» члены общества Муравьева называли тех, кто имел свободный образ мысли.<sup>1</sup>

В дополнении к первому допросу 4 января 1826 г., П.И. Пестель стремился убедить царя в том, что в России существует много тайных обществ. Среди них он назвал «Орден русских рыцарей», о котором он слышал от Орлова. Но Пестель не знал ни о его составе, ни об организации.<sup>2</sup> 8 января Н.М. Муравьев показал, что в феврале 1817 г. общество А. Н. Муравьева — «Союз спасения» — приняло написанный Пестелем устав. Его организаторами стали Пестель, Трубецкой, и Александр Муравьев. Пестель уехал в Митаву, а Александр Муравьев стал руководить обществом. В это время в Петербурге находился Орлов. «Они открылись друг другу потому, что каждый из них стал уговаривать другого вступить в свое общество. Переговоры сии кончились тем, что они обещались не препятствовать один другому, идя к одной цели оказывать взаимные пособия. Нашему обществу стал известен один г. Орлов — его обществу один Александр Муравьев».<sup>3</sup> Орлову общество создать не удалось. Его представитель в Петербурге Н.И.Тургенев вступил в Союз благоденствия, преобразованный из Союза спасения. Тогда его примеру последовал и Орлов. Он был принят в Москве Александром Муравьевым.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> ВД. Т. XX. С. 165, 167–168.

<sup>2</sup> ВД. Т. IV. М.: Л., 1927. С. 83.

<sup>3</sup> ВД. Т. I. С. 305–306.

<sup>4</sup> Там же. С. 307.

9 января в Комитете заслушали показание Орлова.<sup>1</sup> А три дня спустя он представил дополнительное показание об «Обществе русских рыцарей». Орлов утверждал, что такого общества не существует. Он хотел его составить с целью, противодействия польской политике, но оно так и не было составлено. Хотя был написан устав, но в 1818 г. его сожгли. Предание о нем возникло от того, что, когда Орлова приглашали в Союз благоденствия, он отговаривался тем, что принадлежит к другому обществу — русских рыцарей.<sup>2</sup>

29 января Матвей Муравьев показал в Комитете, что основателями тайного общества были Орлов, Пестель, Александр Муравьев. В 1817 г. слышал, что М. Орлов начальствовал над тайным обществом, но члены его составляющие, Матвею не были известны. Общество, к которому Матвей принадлежал, было основано в Петербурге в 1817 г. и не имело никаких сношений с Орловым.<sup>3</sup>

31 января Сергей Муравьев дал показания в Комитете об образовании тайного общества, подчеркнув, что сведения могут быть и неверными, потому что сам не был деятельным членом. Основателями того общества, в которое он был принят, являлись Пестель, Н.М. Муравьев, А.Н. Муравьев, М. И. Муравьев, Якушкин, Трубецкой. Тогда же или еще раньше возникло другое, основателем которого был Орлов. Общество, в которое был принят Сергей, основано в Петербурге в 1816 г. Оно не имело никакого наименования и цели. Сергей не знал никаких других обществ, кроме общества Орлова, «называющегося, если не ошибаюсь, Рыцарями правды, и слившегося в последствии с нашим».<sup>4</sup> (разрядка моя — М.С.)

Итак, один брат, Матвей, утверждал, что основанное Александром Муравьевым общество не имело никаких сношений с антипольским обществом Орлова, другой брат, Сергей, заявлял, что оба общества впоследствии соединились. Спрошенный об этом Александр Муравьев пытался отрицать, что он был единственным основателем тайного общества в России. При этом он подчеркнул, что общество Орлова составилось «независимо от нашего». Хотя руководители каждого общества открылись друг другу и обязались оказывать взаимные пособия, Муравьев был известен только самому Орлову, а не его обществу, ибо никогда не знал, кто были его члены. Не знал он и о целях общества Орлова.<sup>5</sup> Странное заявление. Как можно обязываться помогать обществу, цель которого тебе неизвестна?

---

<sup>1</sup> ВД. Т. XVI. М., 1986. С. 53.

<sup>2</sup> ВД. Т. XX. С. 181–182.

<sup>3</sup> ВД. Т. IX М., 1950. С. 217–224.

<sup>4</sup> ВД. IV. С. 273–274.

<sup>5</sup> ВД. Т. III. М.: Л., 1927 С. 16, 18.

Все эти показания свидетельствуют о том, что Орден русских рыцарей, созданный для противодействия польской политике Александра, в действительности существовал. Это находит подтверждение и в «Записках» С.П. Трубецкого, который называет среди его членов, ведущих деятелей декабристского движения: М.А. Орлова, М.А. Фонвизина, Н.И. Тургенева.<sup>1</sup>

15 декабря 1825 г. в 4 ч. утра в столе Трубецкого была обнаружена написанная его рукой рукопись так называемого «Манифеста Русскому народу». Конспект был написан на листе, вырванном из тетради, содержащей раннюю редакцию проекта конституции М.Н. Муравьева. По-видимому, оба документа сохранились совершенно случайно. Во всяком случае, никаких других бумаг, относящихся к деятельности тайного общества, кроме этих двух, при обыске найдено не было. Очевидно, всех их успели уничтожить, а об этих «старых» бумагах забыли. Конспект вместе с проектом конституции был вложен в обложку, на втором листе которого имелась надпись: «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое!». Фраза эта заимствована из «Тропаря Кресту и молитвы за Отечество». В Тропаре эта молитва звучит так: «Спаси, господи, люди твоя, и благослови достояние твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и твое сохраняя крестом твоим жительство». Еще прочитать ее в контексте российско – польских отношений того времени, становится очевидным: эта формула словно изобретена, чтобы быть противопоставленной польским планам Александра I.

Надпись эта не вызвала интереса у следователей. Не привлекла она и внимание ученых. А между тем она давала некоторые основания поставить вопрос о причастности документов, найденных у Трубецкого, к идеологии «Ордена русских рыцарей»<sup>2</sup>. Впрочем, только 18 января 1826 г.<sup>3</sup> в руках следствия оказались документы, из которых явствовало, что члены «Ордена» должны были носить кресты, на внутренней стороне которых находилась та же надпись: «Спаси, господи, люди твоя».<sup>4</sup> Впрочем, и содержание конституционного проекта Н. М. Муравьева, который следователи анализировать не стали, перекликалось с идеологией «Ордена», призванного сплотить оппозиционно настроенных представителей высшей аристократии, выступавшей противником польской политики

---

<sup>1</sup> Трубецкой С.П. Указ. соч. С. 60.

<sup>2</sup> Семевский М.И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909. С. 385–415; Лотман Ю.М. М.А. Дмитриев – Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель // Лотман Ю.М. Избранные труды. Таллинн, 1992. С. 285–290.

<sup>3</sup> ВД. Т. XVI. С. 64.

<sup>4</sup> Нечкина М.В. Движение декабристов. Т. I. М., 1955. С. 136.

Александра. Но вопрос об Ордене, едва возникнув, сразу же был закрыт следователями.

Декабристоведа всегда стремились развести как можно дальше ранние организации декабристов и «Орден русских рыцарей» и выносили его за скобки декабристского движения. Некоторые ученые даже считали его несуществующей, «мнимой» организацией.<sup>1</sup> (Чтобы у исследователей 14 декабря не могло возникнуть никаких ассоциаций с деятельностью «Ордена русских рыцарей», М.В. Нечкина ту же самую фразу — «Спаси, господи, люди твоя» — когда речь шла о рукописи конспекта Трубецкого, назвала «молитвой за Отечество», но в разделе, посвященным документам Ордена, охарактеризовала ее как «молитву за царя». Однако в обоих случаях упоминание о «тропаре», то есть хвале «кресту», патриарх советского декабристоведа опустил. Декабристоведа в этом вопросе шли за «Донесением следственной комиссии», объявившим, что «Орден русских рыцарей» не существовал.

Не получил адекватной оценки и тот факт, что накануне 14 декабря Трубецкой срочно вызвал Орлова в Петербург. Стоило бы только произвести сопоставление бумаг Дмитриева-Мамонова<sup>2</sup> с показаниями на Пестеля и допросами самого Пестеля, как сразу же обнаружилась генетическая связь и тактических приемов и программных установок лидера южан с тем, что первоначально разрабатывалось в окружении опального генерал-майора, задумавшего создать «Орден русских рыцарей». Если бы следствие всерьез занялось «Русской правдой» Пестеля, то оно без труда установило бы, что она является не чем иным, как развитием проектов,<sup>3</sup> обсуждавшихся в окружении сына екатерининского фаворита, объявленного душевнобольным.<sup>4</sup> От следователей не укрылось бы, что и название первого тайного общества ведет свое происхождение от замыслов, возникших в той же среде.

Тайного общества, созданное А.Н. Муравьевым как раз в то время, когда Орлов создавал свое, неся в себе черты сходства с «Орденом русских рыцарей». При этом надо иметь в виду, что, и подследственные и сами следователи всегда избегали употреблять термин «орден», заменяя его более нейтральным — «общество». Следует особо подчеркнуть, что следствие так и не установило точное название того тайного общества, деятельность которого оно расследовало. Следователи установили, что тайное общество, созданное в феврале 1817 г. носило

---

<sup>1</sup> Бокова В.М. Эпоха тайных обществ. М., 2003. С. 254–270.

<sup>2</sup> Семевский М.И. Указ. Соч. С. 404–404.

<sup>3</sup> Бокова В.М. Указ.соч.. С. 257–259.

<sup>4</sup> Лотман Ю.М. Указ.соч. С. 282–349.



название «Союз спасения». Эти данные извлекли из «Исторического обозрения хода Общества» Н.М. Муравьева, прочитанного 8 января 1826 г. в Комитете.<sup>1</sup> Но Пестель в ответах на вопросные пункты после допроса 12 января назвал это общество, устав которой вышел из под его пера, по другому: «общество *Истинных и Верных сынов Отечества*».<sup>2</sup> 1 апреля ему указали на это несоответствие и потребовали внести ясность. Пестель ответил: «Устав общества, образованного в 1816 г., принятый в начале 1817 г. имел заглавие Общество истинных и верных сынов отечества. О наименовании же общества Союзом спасения, никогда я не слышал».<sup>3</sup> Следствие соединило эти два названия — «Союз спасения или истинных и верных сынов отечества»<sup>4</sup> — так оно было названо в «Донесении следственной комиссии» и из него переключалось и в научную литературу. Никто из ученых не обратил внимания на одно существенное обстоятельство: и то, и другое наименование восходить к «Ордену русских рыцарей», И то, и другое наименование восходить к «Ордену русских рыцарей», апеллирующих к тени Минина и Пожарского. М.А Дмитриев-Мамонов, обсуждавший в переписке с М.Ф. Орловым вопрос о создании этого тайного общества, писал о необходимости того, чтобы рыцари «гремели» об установления закона «спасения нации». Он считал необходимым поставить его под охрану всех храбрых людей России *всех истинных сынов Отечества* (курсив мой М.С.).<sup>5</sup>

Примечательно употребление глагола «греметь». Ни один исследователь не обратил внимания на то, что оно встречается не раз в более поздних декабристских документах. Так Якушкин в «Записках» писал о том, что члены тайного общества «гремели против диких учреждений».<sup>6</sup> Использование именно этого термина отнюдь не случайно.

М.Ф. Орлов в записке к Николаю I 29 декабря 1825 г. утверждал, что члены Союза благоденствия, не имея связи между собой и без определенной цели, «шумели по поводу и без повода».<sup>7</sup> Орлов написал свою записку по-французски. Он употребил глагол «vociferer»<sup>8</sup>, что означает «вопить, орать, реветь, выкрикивать». Терминологическое сходство и генетическая зависимость налицо.

<sup>1</sup> ВД. Т. I. С. 305.

<sup>2</sup> ВД. Т. IV. М.-Л., 1927. С. 100.

<sup>3</sup> Там же. С. 154.

<sup>4</sup> 14 декабря 1825 года и его истолкователи. С. 74.

<sup>5</sup> Семевский М.И. Указ.соч. С. 405.

<sup>6</sup> Якушкин И.Д. Записки, статьи, письма, документы. С. 19.

<sup>7</sup> ВД. Т. XX. С. 161.

<sup>8</sup> Там же. С. 155.

Как на практике декабристы реализовывали призыв «vociferer», хорошо видно из истории так называемого «Московского заговора» 1817 г., выдвинувшего проект убийства царя за то, что он хотел передать Польше русско-польские губернии и освободить крестьян.<sup>1</sup> 1815 -1825 гг. можно считать временем, когда польская политика Александра I стала средоточием разногласий между властью и обществом.<sup>2</sup> Именно в ней, как в фокусе, отразилось «расхождение официального курса с оппозиционными настроениями, захватившими различные круги». Но в историографии никогда не предпринималось попыток рассмотреть феномен тайного общества в России через призму этого расхождения, в основе которого лежало отсутствие выработанного механизма разрешения противоречий между интересами дворянского сословия и верховной власти

Для работ, посвященных движению декабристов, характерна абсолютизация протеста против деспотической сути самодержавия. Конкретные же причины, заставившие дворян вступить на путь конспирации, оставались в тени. Между тем среди этих причин важнейшую роль играло стремление царя восстановить Речь Посполитую как самостоятельное государство. Декабристская конспирация традиционно трактуется как организация, ставившая целью отмену крепостного права и ликвидацию самодержавия. Это верно лишь отчасти.

Отсутствие легального инструмента противодействия политике самодержавия, которая шла вразрез с интересами дворянства, не могло не привести к образованию конспирации. При этом прослеживается четкая схема: вначале противодействие намерениям царя присоединить к Польше российско-польские губернии. Потом попытки противостоять проведению освобождения крестьян именно на этих территориях, как первый шаг к воссоединению с Королевством Польским, где освобождение крестьян уже было произведено при Наполеоне. Затем только создание собственных проектов решения крестьянского вопроса по собственному сценарию, максимально обеспечивающему интересы дворянства. Потом разработка идеи представительного правления, при котором ни отторжение территории с 12 миллионным населением, ни освобождение крестьян по сценарию монарха, становиться невозможным без согласия народных представителей. При этом инициатором перемен, мотором преобразований выступала самодержавная власть, персонифицировавшаяся в Александре I, а все, что

---

<sup>1</sup> См. подробно: Сафонов М.Р. Речь Посполитая и «Московский заговор» 1817 года // Россия — Польша. Два аспекта европейской культуры. Материалы XVIII Царскосельской научной конференции. СПб, 2012. (В печати)

<sup>2</sup> Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории автономного Королевства Польского. 1815–1830. М., 2010. С. 469–470.

делала декабристская конспирация, являлось лишь реакцией на предпринятые монархом шаги.

Декабристская конспирация никогда не рассматривалась как орган, являвшаяся в руках дворянства, орудием воздействия на внешнюю и внутреннюю политику, не столько даже самого правительства, сколько конкретного монарха. «Московский заговор» был первым в длинной череде царевубийств, проекты которых тайное общество на протяжении своего десятилетнего существования выдвигало одно за другим. Но ни одно из них не было совершено. Следственный комитет, тщательно искавший прежде всего царевубийц, так и не смог обнаружить каких-либо следов практической подготовки убийства царя.

Между тем, потенциальная угроза, даже в большей степени личной расправы над царем и его семьей, нежели социального переворота в целом, являлась сильнодействующим средством, удерживающим монарха от шагов, которые он сам считал в принципе целесообразными. При этом просматривается некая синхронная связь между попытками Александра I восстановить Речь Посполитую и появлением проектов царевубийства, от совершения которого в действительности удерживали руководители конспирации. Эта схема прослеживается на протяжении всего существования декабристской конспирации. При чем эти весьма эмоциональные проекты возникали с удивительной регулярностью накануне поездок царя на Сеймы Царства Польского или европейские конгрессы Священного союза.

В XVIII столетии, конфликт между интересами всего дворянства и личными взглядами царя разрешался дворянской расправой над помазанником. Но более просвещенный XIX век породил и более гуманную форму решения этого вопроса: муссирование слухов о царевубийственных планах, которые рано или поздно по не совсем понятным каналам становились известными царю, и удерживали его у роковой черты.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архив графов Мордвиновых. Т. IV. СПб., 1902. С. XX-XXXIII. Восстание декабристов. Т. I. 1925.
2. Восстание декабристов. Т. III. М.: Л., 1927.
3. Восстание декабристов. Т. IV. М.: Л., 1927.
4. Восстание декабристов. Т. IX. М. 1950.
5. Восстание декабристов. Т. XVI. М., 1986.
6. Восстание декабристов. Т. XX. М., 2001.

7. Конституционная хартия 1815 года и некоторые другие акты бывшего Царства Польского. (1814–1881). СПб., 1907.
8. Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. СПб., 1876.
9. Муравьев А.Н. Сочинения и письма. Иркутск. 1986.
10. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. XXXIII. СПб., 1830.
11. Русская старина. 1882. Т. XXXV.
12. Трубецкой С.П. Записки : Письма И.И. Толстому 1818- 1823. СПб, 2011. С. 52.
13. Якушкин И.Д. Записки, статьи, письма, документы. М., 1951

#### СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Аскенази Ш. Царство Польское. 1815–1830. М., 1915.
2. Бокова В.М. Эпоха тайных обществ. М., 2003.
3. Вернадский Г. В. Государственная уставная грамота Российской империи 1820 г. Прага, 1925.
4. Декабристы : Биографический справочник. М., 1988.
5. Лотман Ю.М. М.А. Дмитриев –Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель // Лотман Ю.М. Избранные труды. Таллинн, 1992.
6. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. М., 1989.
7. Нечкина М.В. Движение декабристов. Т. I. М., 1955.
8. Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории автономного Королевства Польского. 1815–1830. М., 2010.
9. Сафонов М.М. Междуцарствие // Дом Романовых в истории России. СПб., 1995.
10. Сафонов М.Р. Речь Посполитая и «Московский заговор» 1817 года // Россия — Польша. Два аспекта европейской культуры. Материалы XVIII Царскосельской научной конференции. СПб, 2012. (В печати)
11. Семевский М.И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909
12. Шильдер Н.К. Император Александр Первый. Т. III. СПб, 1905.
13. Шильдер Н.К. Император Александр Первый. Т. IV. СПб., 1898. Чернов К.С. Забытая конституция : «Государственная Уставная Грамота Российской империи. М., 2007
14. 14 декабря 1825 года и его истолкователи. М., 1994. С. 317.
15. Angeber. Le Congrès de Vienne et les traités 1815. Т. III. Paris, 1864. P. 1224–1225.

С. М. Фалькович

Институт славяноведения РАН, Москва, РФ

## ПОЛЯКИ В СЕРДЦЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: УЧАСТИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОЙ, КУЛЬТУРНОЙ И НАУЧНОЙ ЖИЗНИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В XIX — НАЧАЛЕ XX В.

С начала XIX в., поляки превратились в подданных Российской империи, и Петербург стал восприниматься ими как столица государства. Именно там принимались решения, влиявшие на судьбу их родины и их собственные судьбы, отсюда исходили импульсы, дававшие направление экономическому и общественному развитию, ходу всей политической жизни, революционному движению. Столица открывала больше возможностей для предпринимательской деятельности, для учебы и научной карьеры, для пользования благами цивилизации и культуры. И хотя столичная жизнь была более дорогой, но и заработки там были гораздо выше, чем на периферии империи, в том числе и в Королевстве Польском. Поэтому неудивительно, что именно в Петербурге проживало больше поляков, чем в других крупных городах России. Уже на рубеже 30–40-х гг. XIX в. их было около 40 тысяч<sup>1</sup>. Это число росло на протяжении второй половины века, а в начале следующего столетия (в 1907–1913 гг.) польская колония Петербурга насчитывала более 60 тыс. человек. Начавшаяся Первая мировая война вызвала приток беженцев из Королевства Польского и западных губерний России, в результате чего численность польского населения Петербурга превысила 132 тыс. человек<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Serczyk W. Polityczne, gospodarcze i społeczne przesłanki polsko-rosyjskiej współpracy na przełomie XIX i XX wieku. // Polsko-rosyjskie związki społeczno-kulturalne na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa, 1980. S.18; Марголис Ю.Д. Студенты-поляки Петербургского университета в общественном движении 1840–1860-х годов // Польские профессора и студенты в университетах России (XIX - начало XX в.). Варшава, 1995. С.133.

<sup>2</sup> Róziewicz J. Polskie środowisko naukowe w Petersburgu w latach 1905–1918. // Polsko-rosyjskie związki... S.195.

Одним из главных источников его пополнения была молодежь, приезжавшая на учебу. На протяжении ста лет, начиная с первых десятилетий XIX в., не менее 30 тыс. поляков получили образование в столичных вузах, которых перед Первой мировой войной насчитывалось более 30. В это время в Питере ежегодно учились уже более 3 тыс. польских студентов, а начиналось в конце 30-х гг. XIX в. с сотни юношей, обучавшихся в университете; в 1847 г. число их возросло до 277 (из общего числа студентов в 700 чел.), затем наступил некоторый спад, вызванный политическими событиями, но после 1856–1857 гг. вновь усилился приток польской молодежи в университет Петербурга: в 1861 г. там учились около 450 человек. Новый спад был вызван восстанием 1863 г. в Королевстве Польском, в результате в конце 70-х — начале 80-х гг. польское университетское землячество насчитывало 250 человек. Однако, с учетом других учебных заведений Петербурга, численность польских студентов и в этот период переваливало за тысячу, а с конца XIX в. стала быстро расти, в том числе и в университете, где в 1909 г. училась тысяча поляков<sup>1</sup>.

Наибольшей популярностью среди польской молодежи пользовались кафедры польского права — гражданского и уголовного, прием на которые осуществлялся без экзаменов. Ее привлекали также технические и естественные науки: так, через петербургский Технологический институт за 1837–1913 гг. прошло более 1300 поляков; свыше тысячи обучил до 1917 г. Институт инженеров путей сообщения, возникший в 1809 г.; среди студентов Института гражданских инженеров, существовавшего с 1842 г., выявлено 333 польских учащихся, а в открытом в 1899 г. Политехническом институте насчитывалось 2892 поляка. Польские студенты обучались и в таких старейших вузах Петербурга, как основанный в конце XIX в. Горный институт (250–300 чел.), Лесной институт ( за период существования с 1803 по 1917 гг. его посещало более 700 поляков) и Медико-хирургическая (впоследствии Военно-медицинская) академия, действовавшая с 1798 г. Наряду с Академией, в Петербурге существовало еще четыре высших учебных заведения медицинского профиля и Фармацевтическая школа для женщин, которую в 1903 г. основала и руководила ею полька А.Лесьневская. Таким образом медицинским образованием в общей сложности было охвачено около 1500 польских учащихся<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ibid. S.194–195, 211; Idem. Powiązania J.N.Baudouina de Courtenay z petersburskim ośrodkiem naukowym. // Działalność naukowa, dydaktyczna i społeczno-polityczna J.N.Baudouina de Courtenay w Rosji. Warszawa-Wrocław-Kraków,1991. S.130; Рузевич Е. Поляки в высших учебных заведениях России до 1918 года. Состояние исследований. // Польские профессора...С.41; Курписова Г.,Новицкий Ф. Польские студенты в Петербургском университете в XIX в. // Там же. С.129–130.

<sup>2</sup> Бардах Ю. Курсы польского права в Санкт-Петербургском и Московском университетах в 1840–1860 годах. // Польские профессора...С.10–11; Рузевич Е. Указ

Поляки в Петербурге были не только потребителями знаний, но и сами вносили вклад в дело образования, просвещения, в развитие науки. Многие воспитанники питерских вузов становились их преподавателями, как, например, читавшие лекции в университете в 70-е гг. культурологи Л.Воеводзкий и Т.Зелинский или востоковеды А.Мухлиньский и И.Б.Петрашевский, преподававшие в 30–40-е гг. восточные языки на кафедре, основанной О.Сенковским, также поляком по происхождению. Выпускниками университета были и праведы С.Будзыньский, К.Губе, С.Лагуна. В 40–60-х гг. на кафедрах польского и международного права работали также Ц.Заборовский, Р.Губе, И.Кшижановский, А.Чайковский, И.Ивановский, Т.Багровский, В.Спасович. В последние десятилетия XIX в. профессором университета и деканом его историко-филологического факультета был выдающийся лингвист Я.Н.Бодуэн де Куртенэ, за 20 лет работы создавший школу, из которой вышли, в частности, российские ученые Л.В.Щерба, В.В.Виноградов, литераторы В.Б.Шкловский, А.А.Блок. Коллегами Бодуэна были Л.Петражицкий, Я.Лось, С.Пташицкий и другие. Известные деятели науки преподавали и на других факультетах университета — например, математик Ю.Сохоцкий, ботаник Л.Ценьковский, астроном В.Висьневский<sup>1</sup>.

Всего в Петербургском университете на протяжении XIX в. работали 11 профессоров-поляков. В 1901 г. в нем насчитывалось 5 профессоров и 9 доцентов, но общее число польских профессоров и преподавателей Петербурга было намного выше — более 60 человек. К 1918 г. это число возросло до 400, кроме того существовала большая армия младшего научного персонала — лаборанты, музейные работники, реставраторы и т.п. Поляки работали во всех питерских вузах — в том числе в Институте инженеров путей сообщения (С.Кербедзь, А.Пшеницкий, Ф.Ясинский, Г.Мерчинг и др.), Технологическом (Х.Евневич, В.Ярковский и др.), Горном (А.Скочиньский, К.Богданович, Г.Чечот и др.), Лесном (А.Рудзкий, А.Хребницкий-Докторович и др.), Электротехническом (Т.Фризендорф), Психоневрологическом (С.Владычко), Институте экспериментальной медицины (М.Ненцкий и др.), Военно-медицинской академии

соч. С.46–47, 49–50.

<sup>1</sup> Сыченкова Л.А., Чиглинец Е.А. Западноевропейская культура в исследованиях польских ученых России второй половины XIX-начала XX веков. // Польские профессора...С.34; Валеев Р.М. Изучение Востока польскими учеными в российских университетах в первой половине-середине XIX в. // Там же. С.29, 31–33; Бардах Ю. Указ. соч. С.11–16; Рузевич Е. Указ соч. С.44; Idem. Powiązania...S.115–116, 130; Idem. Polskie środowisko...S.196, 201.

(Я.Балиньский, З.Орловский, Я.Л.Межеевский и др.), Римско-католической духовной академии (С.Пташицкий). Они читали лекции на женских Бестужевских курсах и высших курсах Лесгафта, участвовали в научных экспедициях, работали в научных обществах, занимались написанием учебников и подготовкой научных публикаций, входили в комиссии Министерства просвещения, выполняли работу цензоров, инспекторов, кураторов.

Многие из них избирались и назначались на руководящие посты: так, А.Карпиньский и К.Богданович возглавляли кафедру геологии в Горном институте на протяжении почти 40 лет, Х.Евневич в течение 35 лет занимал должность декана в Технологическом институте. В.Подвысоцкий и Ш.Джегзовский в 1905–1917 гг. руководили Институтом экспериментальной медицины; Ю.Морозевич и С.Чарноцкий входили в Российский комитет геологии, а К.Богданович в 1914–1917 гг. стал его главой. С.Галензовский был вице-президентом Российского общества гражданских инженеров, Ю.Лукашевич руководил Петербургским географическим институтом.

Активными членами Русского географического общества были Б.Громбчевский, В.Массальский, Ю.Талько-Грынцевич. С этим Обществом, а также с Неофилологическим и Антропологическим научными обществами сотрудничал Бодуэн де Куртенэ. На примере последнего наглядно видно, каким уважением пользовались ученые-поляки: Бодуэн имел звание заслуженного профессора и почетного члена Петербургского университета, являлся обладателем золотой медали. Он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук и награжден академической премией имени Уварова. По линии Академии Бодуэн участвовал в издании «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И.Даля и в подготовке реформы русского правописания. Членом Российской академии наук был также А.Брюкнер, в 90-х гг. XIX в. исследовавший литературу и культуру России. А одним из первых поляков, избранных в Российскую академию, в 1806 г. стал Я.Потоцкий, занимавшийся русской историей и археологией<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Rózewicz J. Powiązania... S.79, 114–115, 130; Idem. Polskie środowisko...S.196–201; Он же. Указ.соч. С.46–47, 49–50; Курписова Г.,Новинский Ф. Указ соч. С.131; Бардах Ю. Указ соч. С.11–15; Валеев Р.М. Указ. соч. С.31–32; Вуйцик З. Польские геологи в университетах и высших технических училищах России. // Польские профессора... С.65–66; Филипович М. Ученые или патриоты? Взгляды польских историков на Россию и русских в конце XIX — начале XX в. // Российско-польские научные связи в XIX -XX вв. М.,2003. С.126–127, 129–130; Новак А. Ян Потоцкий, Тадеуш Чацкий, Н.М.Карамзин и другие: размышления о полити-



Поляки Петербурга работали не только в науке и просвещении, но и участвовали в практическом осуществлении многих технических проектов. Так, А.Пшеницкий, являвшийся конструктором-мостостроителем, был автором Дворцового моста в Петербурге, архитектор М.Лялевич построил там немало зданий. С.Джевецкий разрабатывал в Питере конструкции военных кораблей, подводных лодок, а затем занялся вопросами аэродинамики применительно к воздушному флоту. В.Ярковский участвовал в конструировании знаменитого «Ильи Муромца», над созданием которого работал И.Сикорский, также поляк.

В конце XIX — начале XX вв. авиация привлекала внимание как польских инженеров, так и пилотов. Пилотами и парашютистами стали ряд воспитанников Технологического института и курсов при нем (М.Сципио дель Кампо, Г.Сеньо, М.Богатырев, Е.Борейша, А.Залеский др.), морские инженеры (Я.Стаховский), офицеры всех родов войск. Они учились летать в Военно-инженерной и Аэронавтской школах Петербурга (Я.Нагурский, А.Середницкий), в гатчинской Школе военных летчиков (Э.Норвид-Кудло, З.Студзинский, К.Абаканович, А.Букевич, Е.Гарбинский и др.). Многие из них затем работали там инструкторами и руководителями полетов (Г.Сеньо, Я.Мальчевский, Р.Шоманский и др.). Выдающимся летчиком был Я.Нагурский, служивший в Морском министерстве: он являлся одним из первых, кто совершал арктические полеты, участвовал в подготовке к розыску экспедиции Седова; именем Нагурского названа одна из полярных станций. Польские пилоты Б.Матыевич и Г.Пётровский (впоследствии служивший в Генеральном штабе референтом по вопросам авиации) отличились во время Первого всероссийского авиационного праздника, проходившего в Петербурге в 1910 г., а в 1911 г. Е.Янковский получил вторую премию за участие в перелете из Петербурга в Москву<sup>1</sup>.

В это время профессия летчика была достаточно экзотической, и приток поляков в авиацию отражал, с одной стороны, свойственную им тягу к романтике и героизму, а с другой, являлся следствием того факта, что столица открывала возможность прежде всего получить хорошее техническое образование. Однако при преобладании инженеров и другие профессии были так же успешно освоены поляками в Петербурге, где насчитывалось большое число адвокатов, присяжных поверенных, врачей, дантистов, фармацевтов, ветеринаров польско-

---

ческом и идейном контексте польско-российского научного сотрудничества в первой четверти XIX в. // Там же. С.75.

<sup>1</sup> Aleksandrowicz S. Polacy w rozwoju awiacji rosyjskiej (do r.1914). // Polsko-rosyjskie związki... S.352–355, 359–364, 367–368, 370, 377; Róziewicz J. Polskie środowisko... S.196.

го происхождения. Вместе с деятелями науки, просвещения и культуры они образовывали большой отряд польской интеллигенции, а наряду с ним в состав польского населения Петербурга входили промышленники, купцы, рабочие и ремесленники<sup>1</sup>.

Хотя польская диаспора вполне вписалась в общественный контекст города, вокруг нее с самого начала стала складываться национальная и религиозная инфраструктура. Действовали костёлы — к 1913 г. их насчитывалось 7, а кроме того было 6 часовен. Три парафиальных костёла — Св.Катажины, Св.Станислава и Св.Казимежа сосредоточивали 51500 прихожан. С 1884 г. при костёле Св.Катажины существовало Римско-католическое благотворительное общество, под эгидой католической церкви находились польские приюты и учебные заведения, как, например, четырехклассная прогимназия ксёндза А.Малецкого и восьмиклассная гимназия при костёле Св.Катажины.

Кроме того в начале XX в. действовали светские мужские гимназии — филологическая (8 классов) и реальная (7 классов), а также женские восьмиклассные гимназии А.Ястшембской и С.Чвердзиньской и еще 13 начальных польских школ<sup>2</sup>. При гимназии костёла Св.Катажины возник Кружок педагогов, а при гимназии Ястшембской в 1916 г. были организованы Высшие курсы польского языка, готовившие женщин-учителей. Там преподавали видные ученые поляки, жившие в Петербурге. Они же читали лекции на Высших польских курсах, открытых также в 1916 г. На курсы записалось более 600 слушателей, и за два года 25 лекторов прочитали им лекции по 29 предметам из области философии, истории, литературы, социологии, права<sup>3</sup>.

К польским культурным организациям принадлежало Общество любителей истории и литературы, открывшееся в 1916 г. В его совет входили известные ученые, адвокаты, деятели культуры и искусства. Предполагалось созывать съезды, предоставлять стипендии, устраивать конкурсы, открывать библиотеки и читальни. Общество проводило научные заседания, с докладами выступали ученые и политики (С.Грабский, В.Жуковский, Т.Зелинский и др.), осуществлялось выявление материалов по истории Польши в архивах и музеях Петербурга. Аналогичную работу вело петербургское отделение (Коло) варшавского Общества попечения над историческими памятниками. Возникшее еще в 1908 г., оно активизировалось после легализации в 1915 г. и спустя год насчитывало уже 327 членов, среди которых были представители торгово-промышленных,

<sup>1</sup> Różiewicz J. Polskie środowisko... S.212.

<sup>2</sup> Ibid. S.211–212.

<sup>3</sup> Ibid. S.206–209.

помещичьих, научных и культурных кругов Коло, возглавленное членом Государственного совета промышленником С.Глезмером, ставило задачу выявления польских культурных ценностей, и его деятельность имела значение для позднейшего советско-польского сотрудничества в вопросе ревиндикации польского культурного достояния.

Пригодилась впоследствии в Польше и та работа, которую проводил образованный в Петербурге в 1907 г. Польский совет по экономике и расчетам: в 12 секциях рассматривались различные аспекты польской экономики — сельское хозяйство, геология, горнорудная, химическая, электротехническая, текстильная промышленность, торговля, финансы, городское хозяйство, связь и прочее. Деятельность Кола и Совета носила серьезный научный характер, поскольку направлялась профессионалами. Возможность создавать национальные профессиональные организации поляки получили после революции 1905 года: тогда оформился Союз польских врачей и естествоиспытателей, неофициально действовавший с 1901 г.; в 1913–1916 гг. он насчитывал около 500 членов, в том числе известных медиков Ю.Земацкого, С. Залеского, М. Ненцкого, Ш.Джежговского, Ю. А. Совиньского, У. Верциньского, Я. Межеевского, Х. Ноишевского, В. Орловского и др., а также специалистов других областей науки. Союз имел право создавать филиалы, больницы, лаборатории, он вел научную работу. Аналогичный путь прошло Общество польских юристов и экономистов, зарегистрированное в 1915 г. Его президентом стал Л.Петражицкий, вице-президентом — Б.Ольшановский. До этого времени в столице существовало Коло адвокатов-поляков, объединявшее большой отряд польских юристов: в окружной судебной палате их было более 200. Общество устраивало научные заседания, где выступали Е.Курнатовский, С.Грабский, Х.Гливиц и другие<sup>1</sup>.

Союз врачей и Общество юристов являлись самыми крупными польскими научными институтами в Петербурге. В целом же польских организаций к 1917–1918 гг. насчитывалось около 50. Они включали и студенческие объединения — «Згода» (Согласие), «Спуйня» (Соединение), Центральный комитет студенческой молодежи, Польский студенческий клуб, Коло польских студентов Университета, Общество поляков-студентов Политехники. Эти организации также устраивали научные заседания, вели культурную работу. Студенты университета первыми, еще с 30–40-х гг. XIX в., стали организовывать землячества, ставящие цель создания национальной культурной среды, поддержания связи с Польшей. Они пользовались библиотекой чиновника царской канцелярии

---

<sup>1</sup> Ibid. S.197–199, 202–206.

А.Сактынского, сами создавали собрания книг и периодики, выпускали рукописные журналы<sup>1</sup>.

В 40-е гг. питерский книгоиздатель Я.А.Исаков печатал польскую литературу для распространения за границей, в том числе собрание сочинений А.Мицкевича. Работавший у Исакова поляк М.Вольф в 1853 г. открыл собственный издательский дом, ставший с 80-х гг. крупным акционерным обществом. Там, уже под руководством Ю.Вольфа, печатались русские и польские книги, литература по истории и современной жизни Польши, по польскому вопросу. Эти книги поляки могли найти в магазине Вольфа, кроме того с 1880 г. в Петербурге существовала специальная Польская книжная лавка по руководством К.Грендышиньского, она также занималась издательской деятельностью, печатая произведения польских писателей и ученых, специальные календари и прочее. Позже возникли еще два польских книжных магазина — Католический магазин и Польская библиотека. Во второй половине XIX в. были сделаны попытки создания в Петербурге польской периодической печати: в 1860 г. И.Огрызко выпустил альманах «Письмо збёрове», содержащий научные статьи. 80-е годы ознаменовались появлением газеты «Край» (Страна, родина) под редакцией Э.Пильца, а в начале XX в. в столице выходили также ежедневный «Дзенник Петербургский», «Курьер новый», «Дзенник народowy»<sup>2</sup>.

Жившие в Петербурге поляки получали информацию о Польше и ее культуре и из русских изданий. Переводы произведений Г.Сенкевича, Б.Пруса, Э.Ожешко и других польских писателей публиковались как отдельными изданиями, так и в российской периодике. Не последнюю роль в этом сыграли работавшие в петербургских издательствах и редакциях журналисты польского происхождения. Таковыми были и О.Сенковский («Барон Брамбеус»), и Ф.Булгарин, а позднее А.Богданович, Л.Полоньский и другие. Подобные контакты способствовали сближению русской и польской культуры.

Уже в 30-е гг. польские студенты, общаясь с ректором университета П.А.Плетневым, цензором А.В.Никитенко, поэтом В.А.Жуковским, книгоиздателем А.Ф.Смирдиным, узнали о А.С.Пушкине и пришли с ним проститься. Ме-

---

<sup>1</sup> Ibid. S.201; Spustek I. Polacy w Piotrogradzie. 1914–1917. Warszawa, 1966. S.93–94; Мапролис Ю.Д. Указ. соч. С.133–134.

<sup>2</sup> Buczko M. Polskie źródłoznawstwo w Petersburgu w końcu XIX wieku. // Polsko-rosyjskie związki...S.155, 157–160; Łukawski Z. Rola polskiej i rosyjskiej prasy społeczno-politycznej w ostatnim dwudziestolecu XIX w. // Ibid. S.337–338; Róziewicz J. Polskie środowisko... S.212; Idem. Powiązania... S.133; Бардах Ю. Указ. соч. С.16.

стом соприкосновения служил магазин Вольфа, где собирались политики, журналисты, писатели (Н.С.Лесков, А.Ф.Писемский, П.И.Мельников-Печерский, И.А.Гончаров и др.), устраивались музыкальные концерты, в частности, выступления Г.Венявского, приходившегося Вольфу дядей<sup>1</sup>. Польская наука, культура и искусство становились таким образом достоянием не только польской диаспоры, но и русского общества.

Характерно, что в научных заседаниях польских студенческих обществ принимали участие и русские ученые, в частности, Н.И.Кареев сотрудничал с Колом польских студентов университета. Он же, а также Л.Ф.Пантелеев и другие русские, участвовал в митинге, который польская молодежь Петербурга организовала 25 ноября 1905 г. в 50-ю годовщину смерти А.Мицкевича. В свою очередь, в 1905 г. в Петербург специально приехал крупный польский художник-баталист В.Коссак, чтобы написать картину «Кровавое воскресенье» как знак протеста против расстрела мирной демонстрации 9 (25) января 1905 г. В общественной жизни столицы играли роль и другие деятели художественной сферы — польские живописцы, скульпторы, архитекторы, известные своей активной позицией (М.Лялевич, А.Боравский и др.).

Поляки вносили вклад и в творческую атмосферу Петербурга; это касалось польских музыкантов, проходивших там обучение или концертную практику (например, Ю.Зарембский учился в Консерватории в классе Н.А.Римского-Корсакова), но наиболее ярко проявилось на балетной сцене Петербурга, где выступали знаменитые танцовщики-поляки — В.Нижинский и М.Кшесинская. Ее отец Ф.Кшесинский танцевал в балете Мариинского театра с 1853 г., в 1888 г. театр торжественно отмечал 50-летие его творческой работы. В Мариинке учились и выступали жена Кшесинского, обе его дочери и сын Ю.Кшесинский-Нечуй. Наряду с этой династией, в петербургском балете было много других польских артистов<sup>2</sup>.

Контакты польской диаспоры с российской средой происходили не только по линии быта, производства, науки, культуры, искусства. С самого начала поляки стремились играть роль в политике Российского государства, и столица, где сосредоточивалась центральная власть, была для этого самым подходящим

---

<sup>1</sup> Łukawski Z. Op. cit. S.336–337; Byczkowa M. Op. cit. S.158–159; Марголис Ю.Д. Указ соч. С.132–133.

<sup>2</sup> Róziewicz J. Polskie środowisko... S.203; Lewańska M. Balet rosyjski i polski. Sceny petersburska i warszawska na przełomie wieków. // Polsko-rosyjskie związki... S.312–314, 326, 329; Czekanowska-Kuklińska A. Muzyka w Polsce i w Rosji na przełomie XIX i XX w. Zarys problematyki. // Ibid. S.295; Serczyk W. Op. cit. S.21.

местом. Уже в первые годы XIX в. на поприще российской дипломатии вступили Я.Потоцкий и А.Чарторьский. Первый, служа в Министерстве иностранных дел, в своих исторических трудах и служебных записках разрабатывал обоснование восточной политики России и по этому вопросу обращался к царю и министру А.Я.Будбергу. Второй занимал должность товарища министра иностранных дел и, будучи членом созданного Александром I Негласного комитета, имел возможность оказывать влияние на всю внешнюю политику России в эпоху наполеоновских войн. Потоцкий и Чарторьский входили также в комиссию Министерства народного просвещения, разработавшую «Предварительные правила народного просвещения»<sup>1</sup>.

Ситуация, сложившаяся после восстания 1830 г. в Королевстве Польском, надолго исключила возможность для поляков работать на высоких государственных постах и обладать политическим влиянием, и лишь после революции 1905 г. возникла арена политической деятельности — Государственная дума. Ее работа проходила в Петербурге, в ней принимала активное участие думская фракция, представлявшая поляков, — Польское коло. В I, II, III и IV Думах члены Кола Р.Дмовский, В.Яблоновский, Л.Дымша, А.Парчевский, С.Мацевич, Я.Гарусевич, В.Яроньский и др. выступали с речами и запросами по польскому вопросу и проблемам католической церкви, против ущемления национальных и религиозных прав поляков. В 1907 г. они внесли в Думу проект предоставления Королевству Польскому автономии<sup>2</sup>.

Требование автономии выдвигали также левые думские фракции — социал-демократы и кадеты, поддерживавшие лозунг борьбы с национальным гнетом в России. Польские политики осуществляли сотрудничество с кадетами, многие из питерских поляков, главным образом представители интеллигенции, вступили в Партию народной свободы, а Я.Н.Бодуэн де Куртенэ, Л.Петражицкий, А.Ледницкий были членами ее Центрального комитета. Бодуэн активно печатался в кадетских газетах, от имени партии вел агитацию во время выборов в

---

<sup>1</sup> Новак А. Указ. соч. С.75–76; Щавелева Н.И. Князь Адам Чарторьский и формирование системы высшего и среднего образования России в начале XIX века. // Польские профессора... С.51–53.

<sup>2</sup> Фалькович С.М. Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907–1912). М., 1975. С.115–129; Она же. Проблема католической церкви в Российской Государственной Думе в контексте национальной политики царизма. // Религия и политика в Европе XVI–XX вв. Смоленск, 1998. С.98–102, 105–108; Она же. Проблемы католической церкви и католической веры в Государственной Думе после революции 1905–1907 гг. в России. // Католицизм в России и православие в Польше. Варшава, 1997. С.280–283.

Думу, защищал кадетов от нападок прессы, на съезде партии в 1906 г. выступал в дискуссии, поддерживая идею конституционной монархии. В ноябре 1905 г. вместе с либеральными российскими политиками Н.И.Кареевым, П.Б.Струве и др. Бодуэн, Ледницкий и другие столичные поляки участвовали в российско-польском собрании, провозгласившем требование автономии. Под этим лозунгом в 1905 г. проходило и собрание русской интеллигенции с участием представителей варшавского учебного округа. Бодуэн был инициатором его проведения, а также одним из организаторов состоявшегося в том же году в Петербурге съезда профессоров и преподавателей вузов, он прочел там доклад о национальном вопросе в России и работал над резолюцией съезда.

В 1905 г. под руководством Бодуэна прошел съезд автономистов, где он сделал два доклада на тему сожительства народов. В числе проблем, волновавших ученого, был также аграрный вопрос и проблема сохранения мира: он выступал против войны с Японией и подготовки Первой мировой войны. Но главным для него оставался вопрос автономии: Бодуэн являлся председателем ЦК Союза автономистов-федералистов и работал в его парламентской фракции, а в 1913 г. опубликовал брошюру «Национальный и территориальный признак в автономии». За это он был уволен из университета и осужден на два года тюрьмы. В 1914–1915 гг. Бодуэн провел три месяца в петербургских «Крестах», пока не был освобожден благодаря хлопотам русских друзей. Его арест вызвал акции протеста среди студентов и преподавателей Петербурга<sup>1</sup>. Арест Бодуэна де Куртенэ явился наглядным подтверждением того факта, что в условиях реакции, наступившей в России после революции 1905–1907 гг., даже легальная оппозиция была затруднена.

Более терпимо власти относились к участию польских политиков в движении неославизма, развернувшегося в начале XX в. Его активными сторонниками являлись Р.Дмовский, Л.Дымша и другие члены Национально-демократической партии (эндэки), а также деятели Партии реальной политики («реалисты»). В книге «Германия, Россия и польский вопрос» Дмовский доказывал, что перед лицом германской угрозы долг поляков сотрудничать с русским царизмом на

---

<sup>1</sup> Фалькович С.М. Участие профессора Петербургского университета Я.Н.Бодуэна де Куртенэ в общественно-политической жизни России начала XX в. // Польские профессора... С.141–146; Она же. Ян Нечислав Бодуэн де Куртенэ о революции 1905–1907 гг. // «Славяноведение». 1995. №1. С.13–14, 18; Falkowicz S. Udział J.N.Baudouina de Courtenay w życiu społeczno-politycznym Rosji na początku XX w. // Działalność... S.139–148, 153,155; Rózewicz J. Powiązania... S. 111–112, 121–122, 124.

ниве «славянской политики без всяких оговорок». Он повторил это в 1908 г., когда в Петербург прибыла славянская делегация во главе с чехом К.Крамаржем; ему вторил «реалист» граф Олизар. Дмовский возглавлял польскую делегацию на заседании Славянского исполнительного комитета в Петербурге в 1909 г. и выступал на собрании славянских делегатов в питерском Клубе общественных деятелей, где обсуждались вопросы русско-польских отношений. Русскими партнерами польских неославистов выступали уже не кадеты, а националисты, отвергавшие всякие уступки в польском вопросе. Поэтому поляки формально отказались участвовать в заседаниях Исполкома, проходивших в 1910 г. в Петербурге, но неофициально вели переговоры. «Торг» с русскими националистами продолжался до 1911 г., однако завершился крахом всей «славянской политики» Дмовского и Ко, ориентированной на соглашение с царизмом и «мирные» действия<sup>1</sup>.

Но польское население столицы вело борьбу не только мирными средствами. С самого начала в среде польской диаспоры возникло революционное направление. Студенческая молодежь университета находилась под свежим впечатлением от восстания 1830–1831 гг., а революционные события 1848 г. усилили патриотические настроения. Еще на рубеже 30–40-х гг. оформилось радикальное крыло — Ю.Бартошевич, Ю.Шлезингер, А.Жулкевский, Г.Баранецкий, В.Давид, В.Роман, Л.Ценковский, С.Ляхович. В 1848 г. ими была создана библиотека, включавшая запрещенные издания. Выпускались рукописные журналы все более и более радикального содержания — «Паментник» (Памятник), «Паментник пулноцный» (Северный памятник), «Незабудка».

От задачи развития польской культуры переходили к идее независимости Польши и революционного союза всех славянских народов. Деятельность студентов власти признали «возмутительной», в 1843 г. последовали конфискации, аресты и высылки, но уже с конца 40-х гг. организация молодежи стала восстанавливаться, завязался контакт поляков с петрашевцами. З.Сераковский, В.Пшибыльский, В.Спасович, В.Ю.Хорошевский, З.Падлевский встречались с Т.Г.Шевченко, Н.И.Костомаровым, Л.Ф.Пантелеевым, Н.Г.Чернышевским, Н.А.Добролюбовым. В конце 50-х гг. был принят устав Огула — первой в Петербургском университете национальной структуры, которая к этому времени насчитывала 500 человек. Члены Огула не только собирали деньги в помощь бедным студентам, но и участвовали в происходивших в столице общественно-

---

<sup>1</sup> Фалькович С.М. Пролетариат... С.129–139; Она же . Сотрудничество русских и польских неославистов и славянские съезды начала XX в. // Славянские съезды XIX-XX вв. М., 1994. С.114–116, 121–124.



политических выступлениях. Так, в 1861 г. Хорошевский выступил с речью на похоронах Шевченко, вылившихся в политическую демонстрацию.

В свою очередь, русские в 1861 г. принимали участие в организованных поляками панихидах по жертвам расстрелов варшавских манифестаций. И русские, и поляки играли активную роль в студенческих волнениях, охвативших столицу. В дальнейшем связи революционной группы З.Сераковского и Я.Домбровского с организацией «Земля и воля» определили их курс на вооруженную борьбу против царизма: конспиративная петербургская военная организация наладила военное обучение молодежи, проводила сбор средств, устанавливала контакт с Королевством Польским. Многие члены тайных петербургских кружков выехали туда во время восстания 1863–1864 гг.<sup>1</sup> После поражения восстания русско-польское революционное сотрудничество продолжилось. Действовавшее там польские организации Социально-революционное общество и «Гмина» находились под влиянием российского народничества, идей П.Л.Лаврова, а затем польские революционеры приняли народовольческую программу и тактику террора, и именно поляк И.Гриневицкий осуществил покушение на Александра II в 1881 г.

Следующий этап революционного сотрудничества на петербургской арене был связан с борьбой пролетариата. Поляки поддерживали контакт как с обоими течениями российской социал-демократии, так и с эсерами, а с 1906 г. Социал-демократия Королевства Польского и Литвы стала частью РСДРП. Петербург был одним из главных центров сотрудничества русских и польских революционеров. Так, осенью 1906 г. в проходивших там заседаниях ЦК РСДРП активную роль играл Ф.Дзержинский. Поскольку он выступал против меньшевиков его участие большевики считали «полезным», но он критиковал и последних за «сектанство». Дзержинский поддерживал тесный контакт с Петербургским комитетом партии, ходил на собрания большевиков, способствовал обмену информацией между Питером и Варшавой. Сближение с петербургской организацией РСДРП он считал важнейшей задачей. Сближение шло и по линии Петербургского совета рабочих депутатов: делегация польских рабочих, присутствовавшая на его заседании осенью 1905 г., говорила о единстве в борьбе. Эти слова встретили горячий прием, была принята резолюция протеста против введения военного положения в Королевстве Польском<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Дьяков В.А. Польские студенческие организации 30–60-х гг. XIX века в российских университетах. // Польские профессора... С.21–24; Марголис Ю.Д. Указ. соч. С.133–137.

<sup>2</sup> Bucharin N. Rosyjska postępową myśl społeczną a kształtowanie się koncepcji polskiego ruchu wyzwolenieckiego na etapie proletariackim. // Polsko-rosyjskie

Факты, относящиеся к периоду 1905–1907 гг., ярко характеризовали деятельность польских революционеров в Петербурге. Дальнейшее развитие освободительной борьбы в России не изменило этой картины, а напротив, явилось ее подтверждением, продемонстрировав активное участие поляков в революционных событиях 1917 г., происходивших в Петрограде. Вклад их в революционную борьбу был столь же значительным, как и их вклад в научную, культурную, общественно-политическую жизнь столицы Российской империи.

---

związki... S.81–82; Ochmański J. Rola Feliksa Dzierżyńskiego w rozwijaniu współpracy rewolucyjnej między SDKPiL a SDPRR na początku XX w. // Ibid. S.53–55; Jazborowska I. Problem rosyjsko-polskiego sojuszu rewolucyjnego w postępowej myśli społecznej Rosji i Polski w przeddzień i w okresie rewolucji 1905–1907 r. // Ibid. S.38.

**А. Ю. Баженова**

Люблинский Католический университет

Иоанна Павла II, Люблин, Польша

## ОБРАЗ ИМПЕРАТОРСКОГО ВАРШАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В РОССИЙСКОЙ И ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Изучение истории российской высшей школы имеет историографическую традицию, представленную работами многих поколений ученых. Тем не менее, ряд аспектов этой проблематики, среди них и прошлое Императорского Варшавского университета (1869–1915), исследован лишь частично. Как известно, университет в Варшаве был основан в 1816 г. Однако просуществовал он тогда совсем недолго — лишь до начала 1830-х гг. (был закрыт вследствие польского восстания 1830–1831 гг.). Только через тридцать лет, в 1862 г., Александр II на гребне либеральных реформ разрешил восстановить университет, но под названием Главной школы. Последняя пользовалась симпатиями поляков, о чем свидетельствует численность её слушателей (около 3 тысяч студентов, из них 700 получили дипломы об окончании). Однако и Главную школу уже 8/20 июня 1869 г. преобразовали в русскоязычный Императорский Варшавский университет (непосредственной причиной тому послужило январское восстание 1863 г.)<sup>1</sup>. Действовал он в Варшаве до июня 1915 г. Затем, в связи с военными действиями, был эвакуирован в Ростов-на-Дону, где и функционировал под своим старым

---

<sup>1</sup> Wawrykowa M. Uniwersytet Warszawski w latach 1816–1831 // Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915 / Pod red. S. Kieniewicz. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. S. 65; Kieniewicz S. Warszawa w latach 1795–1914 // Dzieje Warszawy / Pod red. S. Kieniewicz. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. T. III. S. 264.

названием. И только 1 июля 1917 г. указом Временного Правительства университет переименовали из Варшавского в Донской<sup>1</sup>.

Данная статья поднимает проблему трансформации образа Императорского Варшавского университета в российской и польской историографической традиции. Понимая всю обширность избранной темы, автор не ставит задачи дать исчерпывающего анализа всего объема литературы, посвященного прошлому этого учебного заведения. Наша статья скорее призвана показать, какие аспекты его деятельности на протяжении более чем столетия привлекали внимание учёных и как изменялось восприятие университета в исследовательских традициях двух стран.

Первые работы российских ученых, посвященные истории Варшавского университета, появились еще в пору его существования. К ним следует отнести статьи И. П. Шелкова, целью которых было ознакомить русских профессоров и студентов с первоначальной историей университета<sup>2</sup>. В то время появились также работы о преподавательском и студенческом составе университета и проблемах пересмотра его устава<sup>3</sup>. Особенно активно судьбу университета обсуждали в 1905–1908 гг., поскольку именно тогда ввиду сильных волнений он был закрыт<sup>4</sup>. На повестку дня даже вынесли вопрос о целесообразности оставления

<sup>1</sup> Российский государственный исторический архив. Ф. 733. Оп. 156. Ед. хр. 638 «Об учреждении в Ростове-на-Дону самостоятельного университета». К. 268; Schiller J. Universitas Rossica. Koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863–1917. Warszawa : Wydawnictwo Retro-Art, 2008. S. 269 (Monografie z Dziejów Oświaty / Pod red. J. Miąso. T. XXI).

<sup>2</sup> Шелков И. П. Очерк истории высших учебных заведений в Варшаве до открытия Императорского Варшавского Университета // Варшавские университетские известия (далее — ВУИ). 1893. № VIII. С. 1–32; Его же. Очерк истории высших учебных заведений в Варшаве до открытия Императорского Варшавского Университета (окончание) // ВУИ. 1893. № IX. С. 33–63.

<sup>3</sup> Варшавский университет. Комиссия по пересмотру устава. [Варшава, 1901]. 145 с.; Горский А. Новый университетский устав. Варшава : «Свободное слово», 1910. 12 с.; и др.

<sup>4</sup> Записка о современном положении Императорского Варшавского университета. Варшава : Типография Окружного Штаба, 1906. 22 с.; Русский профессор. Варшавский Университет и бывшая Варшавская главная школа. СПб. : Типография газеты «Россия», 1908. 28 с. К этому времени относится и полонфильский очерк бывшего студента Варшавского университета Н. Дубровского. Исключительность его работы состоит в том, что автор достаточно критично обрисовал задания и историю упомянутого университета, тем самым поставив под сомнение необходимость его дальнейшего существования (Дубровский Н. Официальная наука в Царстве Польском (Варшавский Университет по личным воспоминаниям и впечатлениям). СПб. : Типография «Север», 1908).

в Варшаве русскоязычного университета. Часть местной профессуры, не говоря уже о польской общественности, выступила за открытие в Варшаве польского высшего учебного заведения, при этом существующий университет предлагалось перенести в один из городов Центральной России. К такой же мысли склонялся и министр народного просвещения И. И. Толстой<sup>1</sup>. Однако большая часть профессорской корпорации, в частности профессора физико-математического и историко-филологического факультетов Г. В. Вульф и П. А. Кулаковский, выступила против такого проекта<sup>2</sup>.

Как это практиковалось в других университетах империи, по случаю приближавшегося столетнего юбилея Варшавского университета, руководство инициировало подготовку отдельного издания, освещающего его историю. Осуществлением этого проекта занялся профессор юридического факультета В. В. Есипов. Однако из-за недостатка времени ему удалось опубликовать лишь две объемные статьи об истории высшего образования в Королевстве Польском с 1816 г., а также об основных вехах жизни нескольких профессоров Императорского университета. Очевидно, что сам автор выражал правительственный взгляд на существование русскоязычного университета в столице Польши, поэтому обосновывал его положительную роль в обучении польской молодежи<sup>3</sup>. К слову, в Кракове тоже почтили 100-летие университета. 15 ноября 1915 г. на торжественном собрании профессоров Краковского университета историк права С. Кутшеба прочитал специальный реферат, в котором, однако, опустил период после 1869 г., как не имеющий ничего общего с Варшавским университетом<sup>4</sup>.

Для исследования прошлого университета важны также обобщающие монографии по истории высшего образования в Российской империи, которые нача-

---

<sup>1</sup> Михальченко С. И. Императорский университет в Варшаве: проблемы польско-российских взаимоотношений (1869–1915) // *Polska w Rosji — Rosja w Polsce: stosunki polityczne. Praca zbiorowa / Pod red. R. Paradowskiego*. Poznań : Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2003. S. 94.

<sup>2</sup> Вульф Г. В. Положение Варшавского университета // *Сын отечества*. 1905. № 193. 24 сентября (7 октября). С. 1–2; Кулаковский П. А. Вопрос о Варшавском университете и польский школьный законопроект 1907 г. СПб. : Типография Гр. Скачкова с С-ми, 1913. XI, 226 с. (Русский русским. Вып. 5).

<sup>3</sup> Есипов В. В. Материалы к истории Императорского Варшавского университета // ВУИ. 1914. № IX. С. 3–47; Его же. Материалы к истории Императорского Варшавского университета. Биографические очерки // ВУИ. 1914. № II. С. 1–59.

<sup>4</sup> Kutrzeba S. Uniwersytety Warszawskie. Odczyt wygłoszony na uroczystym zebraniu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Auli Collegia Novi 15 listopada 1915 roku jako w dniu ponownego otwarcia uniwersytetu w Warszawie. Kraków : Wydawnictwo kursów powszechnych uniwersytetu Jagiellońskiego, 1915. 16 s.

ли появляться ещё на рубеже XIX–XX вв. В этих трудах история университетов рассматривалась как поступательный процесс, имеющий свои закономерности и зависящий от уровня правового развития общества. Особенно плодотворно в этом направлении работали историки либеральных взглядов П. И. Ферлюдин, П. Н. Милюков и С. В. Рождественский<sup>1</sup>. Они впервые комплексно исследовали правительственную политику в отношении университетов в XIX в., показали основные закономерности развития высшего образования и охарактеризовали порядок подготовки кадров для высшей школы России.

В работах послереволюционного периода судьба Варшавского университета рассматривалось преимущественно в контексте истории Ростовского, который, как уже упоминалось, возник 1 июля 1917 г. на его базе<sup>2</sup>. По случаю 20-летия переезда университета в Ростов-на-Дону Н. А. Дернов и В. Н. Вершковский издали специальный очерк «Ростовский государственный университет за 20 лет. 1915–1935». Очевидно, что его авторы активно использовали фактологический материал своих предшественников (а именно статьи В. В. Есипова)<sup>3</sup>, однако оценивали его по-иному. В частности, говоря о задачах университета, они писали: «Задача Варшавского императорского университета была определенная: обеспечение проведения колонизаторской политики русского самодержавия путём всемерного содействия русификации края – т. наз. “Царства польского”»<sup>4</sup>. Результатом этой политики, по убеждению учёных, было то, что «по составу студенчества и профессуры Варшавский университет был русским, а не польским»<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Ферлюдин П. Исторический обзор мер по высшему образованию в России. Саратов : Типо-Литография П. С. Феокритова, 1893. Вып.1: Академия наук и университеты. 192 с.; Милюков П. Университеты в России // Энциклопедический словарь. В 86 томах. СПб. : Типография Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1902. Т. XXXIVa / изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон; под ред. К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского. С. 788–800; Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства Народного Просвещения. 1802–1902. СПб. : М-во народного просвещения, 1902. 786 с.

<sup>2</sup> XX Лет Ростовского на Дону государственного университета. Ученые записки РГУ (Юбилейный выпуск). Ростов-на-Дону, 1935; Ростовский на Дону государственный университет имени В. М. Молотова. Юбилейный сборник. XXV, 1915–1940 / под ред. С. Е. Белозерова. Ростов на Дону : Рост. обл. ведомственное изд-во, 1941. 136 с.

<sup>3</sup> Дернов Н. А., Вершковский В. Н. Ростовский государственный университет за 20 лет. 1915–1935 // XX лет Ростовского на Дону государственного университета. Ученые записки РГУ (Юбилейный выпуск). Ростов-на-Дону, 1935. С. 36–69 (Les oeuvres scientifiques de l’université d’État à Rostoff s/D. Livration jubilaire).

<sup>4</sup> Там же. С. 36.

<sup>5</sup> Там же. С. 37.

Наиболее основательным исследованием, появившимся в советский период, являлась первая часть книги С. Е. Белозерова «Очерки истории Ростовского университета»<sup>1</sup>. Её автор много внимания посвятил страницам истории «русского университета» в Варшаве, его структуре, характеристике профессорско-преподавательского состава всех факультетов, а также анализу причин и условий переезда этого учебного заведения в Ростов-на-Дону. Достаточно показательно, что задачи Варшавского университета С. Е. Белозеров определял так: «Русский университет должен был, по мнению его организаторов, являться “форпостом русской культуры в Царстве Польском”, местом подготовки царских чиновников из представителей имущих классов и средством отвлечения молодежи от участия в революционной деятельности»<sup>2</sup>.

Интересную информацию об Императорском Варшавском университете и деятельности ученых, продолжавших в нем работать после эвакуации из Варшавы, находим также в ряде более поздних исследований и сборников статей<sup>3</sup>. Кроме того, некоторые фактографические данные по его истории содержатся в монографиях К. Т. Галкина, Г. И. Щетининой, Е. В. Соболевой и Р. Г. Эймонтовой<sup>4</sup>. Таким образом, с конца 1950-х гг. интерес ученых к всестороннему изучению истории высшей школы в дореволюционной России явно возрастает. В основном они концентрировались на исследовании университетской автономии, отношений между самодержавием, профессорской корпорацией и студенчеством, а также на механизмах подготовки и реализации реформ в сфере образования второй половины XIX в. Однако, ввиду существовавшего в те годы политического давления, исследователи рассматривали дореволюционную историю университетов с по-

---

<sup>1</sup> Белозеров С. Е. Очерки истории Ростовского университета / Отв. ред. В. И. Кузнецов. Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1959. С. 9–157.

<sup>2</sup> Там же. С. 20.

<sup>3</sup> Ростовский Государственный Университет 1915–1965. Статьи, воспоминания, документы / отв. ред. С. Е. Белозеров. Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1965. 360 с.; Развитие науки в Ростовском Государственном Университете. 1915–1965 / отв. ред. В. А. Тищенко. Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1965. 228 с.; Ростовский Государственный Университет (1915–1985). Очерки. Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1985. 221 с.

<sup>4</sup> Галкин К. Т. Высшее образование и подготовка научных кадров в СССР. М. : Советская наука, 1958. 176 с.; Щетинина Г. И. Университеты в России и устав 1884 года. М. : Наука, 1976. 232 с.; Соболева Е. В. Организация науки в пореформенной России. Л. : Наука, Ленинградское отд., 1983. 264 с.; Эймонтова Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох: От России крепостной к России капиталистической. М. : Наука, 1985. 350 с.; Её же. Русские университеты на путях реформы: шестидесятые годы XIX века. М. : Наука, 1993. 272 с.

зиций перманентного противостояния между профессорско-преподавательской корпорацией, университетами и царским правительством. Тем не менее, несмотря на идеологизированность оценок и игнорирование ряда важных составляющих академической жизни, свои работы ученые писали на достаточно широкой источниковой базе. Тем самым, им удалось заложить прочные основы для дальнейших исследований по истории российской высшей школы.

Характерно, что, в отличие от коллег из России, польские исследователи до начала шестидесятых годов XX в. избегали детального изучения прошлого Варшавского университета 1869–1915 гг. Слабый интерес к этой эпохе в определенной степени понятен. Как писал известный польский историк И. Игнатович, университет не вызывал симпатий поляков, которые помнили, что возник он на месте ликвидированной в 1869 г. польской Главной Школы, и видели в нем исключительно инструмент русификации Привислинского края. Вследствие этого сам университет, в отличие от Королевского университета и Главной школы, на протяжении десятилетий воспринимался как инородный организм на образовательном пространстве польских земель, как элемент агрессивной и вражеской государственной машины<sup>1</sup>. В результате, русскоязычный университет «выпал» из контекста истории польского образования.

Тем не менее, первые исследования по истории этого учебного заведения, появились еще в начале XX в. Среди них выделяется очерк выпускника Варшавского университета Ш. Ашкенази, описавшего деятельность университета с момента его основания в 1816 г. до 1905 г. Однако, при всей добросовестности изложения материала, его автор сконцентрировался главным образом на общественной и организационной стороне деятельности университета, не анализируя его преподавательского состава и предметного диапазона отдельных факультетов<sup>2</sup>. Определенный интерес для нас представляет также исследование З. Вейберга, который одним из первых после оставления россиянами Варшавы попробовал оценить деятельность этого университета<sup>3</sup>.

Интересно взглянуть, какие названия использовали польские ученые XX в. для обозначения Императорского университета. Среди них находим:

---

<sup>1</sup> Ichnatowicz I. Uniwersytet Warszawski w latach 1869–1899 // Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915 / Pod red. S. Kieniewicz. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. S. 378.

<sup>2</sup> Askenazy S. Uniwersytet Warszawski. Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa, 1905. 61 s.

<sup>3</sup> Weyberg Z. Uniwersytet Warszawski w dobie rusyfikacji // Czas 1915. Nr 602. 19 listopada. S. 1–2.



«uniwersytet warszawski»<sup>1</sup>, «uniwersytet rosyjski»<sup>2</sup>, «rosyjski Cesarski Uniwersytet Warszawski»<sup>3</sup>, «rosyjski Cesarski uniwersytet»<sup>4</sup>, «rosyjski Uniwersytet Warszawski»<sup>5</sup> и «Cesarski Uniwersytet Warszawski»<sup>6</sup>. Показательны в этом смысле слова профессора Краковского университета С. Куршебы, который в 1915 г. писал: «этот новый — не был нашим университетом»<sup>7</sup>. Отмечалось, что, в отличие от закрытой Главной школы, это был «чужой университет, укомплектованный преподавателями, чаще всего враждебно настроенными ко всему польскому [...]»<sup>8</sup>, и что в Варшаву их манила «перспектива лучшего оклада, предназначенная для государственных служащих “на окраинах” [...]»<sup>9</sup>. Вследствие этого, как писал бывший студент университета Ш. Ашкинази, в тридцати шести просмотренных им именных списках не находим «ничего или почти ничего, что можно было бы противопоставить тому превосходному списку имен», прошедшему через стены Главной школы<sup>10</sup>. Подчеркивалось также, что университет функционировал

<sup>1</sup> Askenazy S. Sto lat zarządu w Królestwie Polskim 1800–1900. Lwów : Nakładem Księgarni H. Altenberga, 1903. S. 76; Idem. Uniwersytet Warszawski. passim.

<sup>2</sup> Chlebowski B. Znaczenie Szkoły Głównej warszawskiej w dziejach umysłowości i nauki polskiej. Odczyt wygłoszony na publicznem posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w dniu 25 listopada r. 1912. Warszawa : [s. n.], 1912. S. 15; Brodowska H. Sytuacja polityczna Królestwa Polskiego po 1864 r.pozytywizm warszawski // Historia Polski / opracowanie zbiorowe pod red. S. Arnolda i T. Manteuffla. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. T. III : 1850/64–1918, cz. I : 1850/64–1900 / pod red. Ż. Kormanowej i I. Pietrzak-Pawłowskiej. S. 431.

<sup>3</sup> Manteuffel T. Uniwersytet Warszawski w latach 1915/16–1934/35: kronika. Warszawa : Nakładem Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego, 1936. S. 1.

<sup>4</sup> Sobociński W. Wydział prawa w Uniwersytecie Warszawskim (1816–1831) i w Szkole Głównej (1862–1869) // Leśnodorski B., Sobociński W., Sawicki J. Studia z Dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1963. S. 142; Szmit M. Kancelaria i archiwum Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869–1915) // Archeion. 1974. T. LXI. S. 175.

<sup>5</sup> Wandycz P. Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795–1918 / przeł. W. Zajączkowski. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1994. S. 275.

<sup>6</sup> Grzybowski K. Historia państwa i prawa Polski / Pod ogólną red. J. Bardacha. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. T. IV : Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa / uzupełnili i przygotowali do druku J. Bardach, S. Grodziski, M. Senkowska-Gluck. S. 193.

<sup>7</sup> Kutrzeba S. Op. cit. S. 15.

<sup>8</sup> Manteuffel T. Op. cit. S. 1.

<sup>9</sup> Król K. Urywek z pamiętnika. III. W Uniwersytecie // Prace Naukowe Oddziału Warszawskiego Komisji do Badania Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Polsce. 1927. Biuletyn za lata 1925 i 1926. S. 25.

<sup>10</sup> Askenazy S. Uniwersytet Warszawski. S. 24–25.

«как одно из многих других второстепенных вспомогательных орудий общегосударственной унификационной акции и как обыкновенная бюрократично-экзаменационная машина»<sup>1</sup>. Именно поэтому, из него «не вышел ни один выдающийся человек с известным именем в науке, люди известные, которых породило наше общество в то время, настоящую научную школу проходили вторично за границей»<sup>2</sup>. Сам Ш. Ашкенази был этому примером.

В общих чертах такой подход соотносим со взглядом, доминировавшим в межвоенной польской историографии русско-польских отношений, а именно — «Поляки против империи, империя против поляков»<sup>3</sup>. Если говорить о работах, посвященных Варшавскому университету, написанных в то время, то одним из исключений является очерк его бывшего студента Я. Оффенберга. Он задал себе риторический вопрос: а мог ли Варшавский университет в 1885–1890 гг. удовлетворить требования молодежи, ищущей профессионального образования? И дал утвердительный ответ: «на том основании, что студенты, стремящиеся работать по совести, могли обучаться в избранном направлении, и даже посвятить себя строгой науке [...]»<sup>4</sup>. Характеризуя русских профессоров, приходивших на места поляков, он вспоминал, что уровень их знаний не был низким<sup>5</sup>. Однако автор прекрасно понимал, какие последствия может повлечь за собой обучение в русскоязычном университете. В частности, он писал: «Польская молодёжь вступала на порог Варшавского Университета осознавая политику российских образовательных властей. Мы должны были учиться на чужом языке, имеющим целью вытеснить родной язык и снять необходимость знания польской научной терминологии. Мы также понимали, что профессора-россияне, из-за незнания польского языка, не были знакомы с достижениями польского знания и достоянием польской научной мысли, потому в этом отношении не могли нас удовлетворить. Хорошо осознавая то, что, порывая с творчеством предыдущих поколений наших ученых, мы могли утратить собственную индивидуальность. Наконец понимали, что лекции профессоров-россиян имели еще одну опасность — в форме тенденциозного

---

<sup>1</sup> Ibidem. S. 25.

<sup>2</sup> Sprawa szkolna w Królestwie Polskim. Warszawa : [s. n.], 1910. S. 44.

<sup>3</sup> Новак А. Борьба за окраины, борьба за выживание: Российская империя XIX в. и поляки, поляки и империя (обзор современной польской историографии) // Западные окраины Российской империи. М. : НЛО, 2006. С. 429.

<sup>4</sup> Offenberg J. Stan umysłów wśród młodzieży akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1885–1890 (ze wspomnień kresowca). Warszawa : Skład Główny w «Domu Książki Polskiej», 1929. S. 6–7.

<sup>5</sup> Ibidem. S. 7.

освещения фактов нашей отечественной истории, как это было на лекциях по истории на соответствующих факультетах»<sup>1</sup>.

Формула, которая в упрощенном виде наиболее ёмко представляла подход, разрабатываемый в польской историографии в течении 45 послевоенных лет, выглядела примерно так: «поляки (польские “благородные” революционеры, польское национально-освободительное движение) и россияне (российские демократы, революционеры) против царизма, царизм против них»<sup>2</sup>. Примером такого видения истории, если говорить о Варшавском университете, была статья С. Киневича в юбилейном издании 1958 г.<sup>3</sup> Если попробовать обобщить, то в работах тех годов, как и раньше, подчеркивалось, что, в отличие от Главной школы, университет не был «польским учебным заведением»<sup>4</sup>, поскольку «совершенно изменилась его позиция в обществе и роль в развитии польской культуры». Среди причин назывались введение русского языка преподавания, изменение учебной программы и замещение свободных кафедр русскими преподавателями с низким уровнем знаний<sup>5</sup>. Тем не менее, как раз в это время появились обширные статьи Е. Брауна, Ц. Орликовской и И. Игнатовича, посвященные прошлому Императорского университета<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Ibidem. S. 8.

<sup>2</sup> Новак А. Указ. соч. С. 429–430.

<sup>3</sup> Kieniewicz S. Traditions historiques de l'Université de Varsovie // L'Université de Varsovie. 1808–1818–1958 / red. par A. Gieysztor et M. Strzemiński. Varsovie : Arkady, 1958. P. 5–22; Кеневич С. Из истории Варшавского университета // Варшавский университет. 1808–1818–1958 / под ред. А. Гейштора и М. Стшемьского. Варшава : Arkady, 1958. С. 5–22.

<sup>4</sup> Kieniewicz S. Traditions historiques... P. 16. Так же оценивали российский университет в Варшаве и другие польские исследователи, среди них З. Скубала-Токарска и З. Токарски (Skubała-Tokarska Z., Tokarski Z. Uniwersytety w Polsce. Rys historyczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo «Wiedza Powszechna», 1972. S. 135).

<sup>5</sup> Leskiewiczowa J. Warszawa i jej inteligencja po powstaniu styczniowym. 1864–1870. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. S. 77.

<sup>6</sup> Braun J. Położenie i ruch organizacyjny młodzieży akademickiej na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1890–1904 // Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego. 1963. T. IV. S. 23–105; Orlikowska C. Z dziejów kształcenia biologów polskich. Działalność pedagogiczna i naukowa przyrodników rosyjskich na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim w latach 1869–1915 // Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. 1962. Seria B, zeszyt 6. S. 113–149; Ihnatowicz I. Utworzenie Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1869 // Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego. 1972. T. 12. S. 55–70.

Важно отметить, что начиная с 1980-х гг. польские ученые стали постепенно включать университет в историю польского высшего образования. Такой подход характеризует труд К. Гжибовского<sup>1</sup> и многотомную «Историю науки польской»<sup>2</sup>. Интерес в этом отношении представляет монография Е. Рузевича о польско-российских научных контактах 1725–1918 гг., один из разделов которой посвящен Императорскому Варшавскому университету<sup>3</sup>. Приведенные в исследовании статистические данные позволяют утверждать, что университет справлялся со своими образовательными функциями. По сведениям польского историка, через русскоязычный университет в Варшаве прошло 7 тысяч поляков и где-то тысяча студентов еврейского и немецкого происхождения, ассимилированных польской культурой. Около сотни поляков посвятило себя науке и достигло больших результатов, о чем свидетельствует их членство в Польской и Краковской Академиях. В межвоенное десятилетие около восьмидесяти выпускников Императорского Варшавского университета стали профессорами и преподавателями высших учебных заведений Польши. Среди них выделяются имена историков Ш. Ашкенази, М. Хандельсмана, Я. Кохановского, В. Конопчинского, С. Смольки, В. Смоленского и др.<sup>4</sup> Таким образом, выводы Е. Рузевича во многом противоречили более ранним исследованиям по истории Варшавского университета.

Следует, однако, отметить, что основное внимание польские ученые все же уделяли изучению тех периодов, когда университет функционировал как польское учебное заведение, т.е. сосредоточивались на 1816–1869 гг. и времени после обретения Польшей независимости. Единственным коллективным исследованием 1980-х гг., охватывавшим все периоды истории Варшавского университета, был двухтомный труд «История Варшавского Университета», две главы которого посвящены деятельности Императорского университета, его преподавательскому составу и студентам<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Grzybowski K. Op. cit. S. 193–199. Отметим, что работу над интересующим нас четвертым томом «Истории государства и права Польши» К. Гжибовский начал еще в 1953 г., однако в печати этот том появился только спустя двенадцать лет после смерти ученого, а именно в 1982 г.

<sup>2</sup> Historia nauki polskiej / Pod red. B. Suchodolskiego. Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987. T. IV : 1863–1918, cz. III. 1124 s.

<sup>3</sup> Róziewicz J. Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725–1918). Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich ; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. S. 280–291.

<sup>4</sup> Ibidem. S. 281–282.

<sup>5</sup> Ichnatowicz I. Uniwersytet Warszawski w latach 1869–1899 // Dzieje Uniwersytetu... S. 378–494; Kiepuska H. Uniwersytet Warszawski w latach 1899–1915 // Dzieje

Анализируя современное состояние историографии следует признать, что как польские, так и российские ученые перешли на качественно новый уровень в изучении прошлого Варшавского университета. В России его история исследуется в двух главных направлениях: в контексте высшего образования Российской империи и как отдельного учебного заведения. Первую группу трудов представляют работы А. Е. Иванова<sup>1</sup>, А. И. Авруса<sup>2</sup>, В. А. Змеева<sup>3</sup> и В. И. Чеснокова<sup>4</sup>. История самого университета и его профессорско-преподавательского состава, в свою очередь, детально изучают А. Е. Иванов<sup>5</sup>, А. Г. Данилов<sup>6</sup>, А. А. Пушкаренко и А. А. Пушкаренко<sup>7</sup>, А. В. Белоконь<sup>8</sup> и другие. Ростовский историк А. Г. Данилов, в частности, основательно исследовал последний, эвакуационный, период деятельности Варшавского университета.

Особенно следует выделить работы профессора Брянского университета С. И. Михальченко. Важно, что ученый смог отойти от обобщающих иссле-

Uniwersytetu... S. 495–564.

<sup>1</sup> Иванов А. Е. Высшая школа в России в конце XIX — начале XX века. М. : [б. и.], 1991. 392 с.; Его же. Студенчество России конца XIX — начала XX века: социально-историческая судьба. М. : РОССПЭН, 1999. 414 с.; Его же. Мир российского студенчества. Конец XIX — начало XX века. М. : Новый хронограф, 2010. 333 с.

<sup>2</sup> Аврус А. И. История российских университетов: курс лекций: учебное пособие. Саратов : Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 1998. 128 с.

<sup>3</sup> Змеев В. А. Эволюция высшей школы Российской империи. М. : ЛАТМЭС, 1998. 241 с.

<sup>4</sup> Чесноков В. И. Обзор движения университетов в Российской империи // Российские университеты в XVIII–XX веках. Вып. 3. Воронеж, 1998. С. 4–24.

<sup>5</sup> Иванов А. Е. Варшавский университет в конце XIX — начале XX века // Польские профессора и студенты в университетах России (XIX — начало XX века): Конференция в Казани 13–15 октября 1993 г. Варшава : Powszechnie Nauki — Oświata, 1995. С. 198–205; Его же. Русский университет в Царстве Польском. Из истории университетской политики самодержавия: национальный аспект // Отечественная история. 1997. № 6. С. 23–33.

<sup>6</sup> Данилов А. Г. Университет: Варшава — Ростов-на-Дону (1915–1917) // Российские университеты в XVIII–XX веках. Вып. 5. Воронеж, 2000. С. 123–145; Его же. Интеллигенция Юга России в конце XIX — начале XX века. Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 2000. 358 с.; Его же. Варшавский университет в Ростове-на-Дону (1915–1917 гг.). Часть 1 // Известия высших учебных заведений. Северо-кавказский регион. Общественные науки. 2005. № 3. С. 29–34; Его же. Ростовский период в истории Варшавского университета (1915–1917 гг.) // Вопросы истории. 2011. № 9. С. 86–97; и др.

<sup>7</sup> Летопись университетской жизни / Сост. А. А. Пушкаренко, А. А. Пушкаренко. Изд. 2-е. Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та. 2005. 80 с.

<sup>8</sup> Белоконь А. В. Ростовский государственный университет // Научная мысль Кавказа. 1996. № 2. С. 86–91.

дований<sup>1</sup> и обратиться к рассмотрению истории отдельных факультетов, а именно историко-филологического и юридического<sup>2</sup>. Тем самым ему удалось стимулировать дальнейшие исследования в этом направлении. Удачно используя биографический подход, С. И. Михальченко ясно показал, что только путем детального изучения педагогических и научных достижений профессорско-преподавательской корпорации можно добыть обобщающие выводы об успешности деятельности университета и его преподавателей. Особого внимания в этом отношении заслуживают работы, посвященные преподавателям Варшавского университета и развитию в нем отдельных дисциплин. Исследования такого типа вышли из-под пера Е. П. Аксеновой<sup>3</sup>, Л. П. Лаптевой<sup>4</sup> и Ю. Ф. Иванова<sup>5</sup>.

Завершая анализ достижений российской историографии, следует также остановиться на фундаментальных исследованиях К. П. Краковского, который вслед за С. И. Михальченко обратился к истории юридического факультета. Труд ученого состоит из трех частей, объединенных общим заглавием «Нить времени». В первой части К. П. Краковский собрал биографии профессоров, деканов и заведующих кафедр юридического факультета Варшавского университета и его преемника (как на это неоднократно указывает автор) — Ростовского университета<sup>6</sup>. Другие две части исследования описывают всю историю уни-

---

<sup>1</sup> Михальченко С. И. Императорский университет в Варшаве... С. 85–95.

<sup>2</sup> Его же. Юридический факультет Варшавского университета. 1869–1917. Краткий исторический очерк. Брянск : Издательство БГУ, 2000. 155 с.; Его же. Историко-филологический факультет Варшавского университета. 1869–1917: Очерк истории кафедр. Брянск : Издательство БГУ, 2005. 102 с; и др.

<sup>3</sup> Аксенова Е. П. Славистика в Варшавском университете (по воспоминаниям Н. И. Кареева) // Славистика в университетах России: Сб. науч. тр. Тверь : ТГУ, 1993. С. 25–31.

<sup>4</sup> Лаптева Л. П. История славяноведения в России в XIX веке. М. : Индрик, 2005. 848 с.; Её же. История славяноведения в России в конце XIX — первой трети XX в. М. : Индрик, 2012. 840 с.; Её же. Профессор Варшавского университета Викентий Макушев и его работы о Польше // История и историография зарубежного мира в лицах : межвузовский сб. науч. ст. Вып. 1. Самара : Изд-во «Самарский университет», 1996. С. 156–167; и др.

<sup>5</sup> Иванов Ю. Ф. Научная деятельность Н. Н. Любовича // Советское славяноведение. 1980. № 4. С. 82–93; Его же. Д. М. Петрушевский в Варшавском университете (1897–1906) // Российские университеты в XVIII–XX веках : сб. науч. ст. Вып. 8. 2006. С. 86–104; и др.

<sup>6</sup> Краковский К. П. Нить времени (Биографии преподавателей юридического факультета Варшавского — Донского — Ростовского университета). Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 2003. 380 с.

верситета, доводя её до 2005 г.<sup>1</sup> Исходным пунктом в рассуждениях автора является детальная характеристика уровня подготовки русских профессоров. Не полемизируя с основными положениями польской историографии, автор отметил, что большая часть преподавателей юридического факультета Варшавской Главной школы перешла работать в новый университет. К. П. Краковский подчеркивает, что отношения между поляками и русскими в сфере науки не были плохими — во всяком случае, не такими плохими, как об этом ранее писали в Польше. В качестве аргументов автор приводит примеры многолетней работы польских ученых на юридическом факультете университета<sup>2</sup>.

Качественно новую страницу в изучении истории российского высшего образования, в частности Императорского Варшавского университета, открыли и работы современных польских ученых. Исходя из многолетней традиции, они продолжают утверждать, что университет был основан главным образом для планомерной ликвидации самостоятельности Королевства Польского и подготовки из польской молодежи лояльных дипломированных чиновников для аппарата управления Привислинским краем. Тем не менее, детально исследуя деятельность и научное наследие преподавателей университета, они поставили под сомнение бытующее в науке мнение о том, что русский университет являлся слабым научным центром на образовательном пространстве польских земель. В то же время, продолжали появляться работы, авторы которых отмечали, что Императорский университет не сыграл никакой роли в интеллектуальной жизни края, поскольку ввиду политических причин бойкотировался польской молодежью<sup>3</sup>.

Тем не менее, следует подчеркнуть, что именно в последние десятилетия польские ученые возвратились к всестороннему изучению архивных источников, касающихся деятельности Варшавского университета, и его официальных изданий. Результатом этих исследований является обширная статья Й. Шиллер

---

<sup>1</sup> Краковский К. П. Нить времени (История юридического факультета Варшавского — Донского — Ростовского университета). Ростов-на-Дону : Изд-во «Юг», 2005. Ч. 2, т. 1 : 1808–1924 гг. 390 с.; Его же. Нить времени (История юридического факультета Варшавского — Донского — Ростовского университета). Ростов-на-Дону : Изд-во «Юг», 2005. Ч. 2, т. 2 : 1924–2005 гг. 400 с.

<sup>2</sup> Bosiacki A. O dziejach Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oczami współczesnego rosyjskiego historyka prawa. Wokół książki Konstantina P. Krakowskiego Nit' wriemieni. Istorija juridycznego fakul'tieta Warszawskiego-Donskiego-Rostowskiego uniwersyteti // Studia Iuridica. 2006. T. XLV. S. 24–27.

<sup>3</sup> См.: Hłowiecki M. Okręty na oceanie czasu: Historia nauki polskiej do 1945 roku. Warszawa : Wydawnictwo MADA, 2001. S. 165.

о преобразовании Главной школы в русскоязычный университет<sup>1</sup>. Её автор утверждает, что эту проблему следует рассматривать в нескольких плоскостях. В первую очередь, учитывать внутривнутриполитическую ситуацию и законодательство в сфере образования, в частности университетского, в самой Российской империи, далее — общую политику по отношению в Королевству Польскому после подавления январского восстания 1963 г., и, наконец, посмотреть на Главную школу как на одно из звеньев, подлежащих определённому преобразованию<sup>2</sup>. Поэтому достаточно справедливым кажется утверждение исследовательницы о том, что русский университет, как русские школы и учреждения, с успехом мог быть органом сближения двух народов в единое, говоря о мировоззрении и языке, целое<sup>3</sup>.

Особенно значимы в интересующем нас вопросе другие работы Й. Шиллер<sup>4</sup>, а также труды Л. Т. Блашика<sup>5</sup>, Э. Тылинской<sup>6</sup>, С. Парки<sup>7</sup>, М. Пашковской<sup>8</sup>, М. Дыго<sup>9</sup> и трехтомное фундаментальное издание, содержащее библиографические материалы о деятельности университета в 1870–1915 гг.<sup>10</sup> К примеру, монография

<sup>1</sup> Schiller J. Powstanie Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w świetle badań archiwalnych // *Rozprawy z Dziejów Oświaty*. 2002. T. XLI. S. 93–127.

<sup>2</sup> Ibidem. S. 93.

<sup>3</sup> Schiller J. Uniwersytet Warszawski — czy uniwersytet i czy w Warszawie? // *Кварталник Historii Nauki i Techniki*. 2005. № 3–4. S. 35.

<sup>4</sup> Schiller J. Materiały do dziejów Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w Rostowie nad Donem // *Nauka Polska, jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój*. 2005. № XIV (XXXIX). S. 237–245; Eadem. Profesorowie Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego wobec wydarzeń rewolucji 1905 roku // *Rozprawy z Dziejów Oświaty*. 2008. T. XVII (XLII). S. 75–97; и др.

<sup>5</sup> Błaszczuk L. T. Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816–1915. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1995–2003. Cz. I–II.

<sup>6</sup> Tylińska E. Życie codzienne studentów Cesarskiego Uniwersytetu w Warszawie (1869–1904) // *Rozprawy z Dziejów Oświaty*. 2000. T. XL. S. 23–58.

<sup>7</sup> Parka S. Stopnie naukowe w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim (1869–1915) // *Rozprawy z Dziejów Oświaty*. 2000. T. XXXIX. S. 129–146; Eadem. Kształcenie kadry naukowo-dydaktycznej i system nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1869–1915. Warszawa, 2001 (рукопись кандидатской диссертации — Instytut Historii Nauki PAN); и др.

<sup>8</sup> Paszkowska M. Z dziejów wydziału prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869–1915) // *Studia Iuridica*. 2003. T. XLII. S. 151–161.

<sup>9</sup> Дыго М. Дмитрий Петрушевский и Марцелий Хандельсман: из истории Варшавской медиэвистики // *Средние века*. 2008. Вып. 69 (3). С. 129–141.

<sup>10</sup> Uniwersytet Warszawski 1870–1915. Materiały bibliograficzne / opracowanie J. Krajewskiej i A. Bednarz. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002–2004. Cz. 1–3.



Л. Т. Блащика является первым исследованием, посвященным развитию классической филологии в Варшавском университете в 1816–1915 гг.<sup>1</sup> Детально изучив историю университета как непрерывный процесс и проанализировав постановку преподавания в нём классической филологии, автор смог опровергнуть негативную оценку научных и дидактических достижений русскоязычного университета (по крайней мере, в избранной им сфере). Он утверждал, что Императорский Варшавский университет, несмотря на господствующую в нём атмосферу и преобладания политических целей над научными, особенно на историко-филологическом факультете, несмотря на отсутствие духовной связи между польскими слушателями и профессорами, незаслуженно называют «грустной пародией университета» и «бюрократично-экзаменационной машиной», которую «заполнили ученые из России, единственной квалификацией которых было их духовное происхождение и православие», а «все российские научные заведения воспользовались счастливым для них событием и избавились от посредственностей, которые отправились на запад»<sup>2</sup>. Безусловно невозможно отнести к «посредственностям» таких ученых, как О. Ф. Базинер, Н. М. Благовещенский, Г. Э. Зенгер, Н. И. Кареев, Н. А. Лавровский, Д. М. Петрушевский, А. Л. Погодин, Д. Я. Самоквасов, Ф. И. Леонтович, Ф. Ф. Зигель и других варшавских профессоров.

Не так давно польская историография обогатилась фундаментальным исследованием Й. Шиллер, посвященным истории университетской политики России в 1863–1917 гг., в том числе и прошлому интересующего нас университета<sup>3</sup>. Автор изучила ряд важных научных проблем. В первую очередь, она попыталась показать чем в замыслах государства должен быть университет, какие обязан выполнять функции и какой, в зависимости от них, должна быть его структура. Кроме того, Й. Шиллер показала, в чем проявлялась конфронтация между государственной концепцией университета и взглядом на него преобладающего большинства российской профессуры, в том числе и варшавской. Исследовательница также детально изложила причины, из-за которых государство и университеты в России в конце XIX в. оказались по разные стороны баррикады.

---

<sup>1</sup> Его труд немного опередила работа Б. Бжуски, которая однако сконцентрировалась только на преподавании классической филологии в Варшавской Главной школе. (Brzuska B. *Filologia klasyczna w Szkole Głównej Warszawskiej*. Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich ; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992. 179 s.).

<sup>2</sup> Błaszczyk L. T. *Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816–1915*. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. Cz. II : 1862–1915. S. 261.

<sup>3</sup> Schiller J. *Universitas Rossica...* 709 s.

Таким образом, мы попробовали взглянуть на образ Императорского Варшавского университета в российской и польской историографической традиции и показать, как изменился этот образ в оценках современной историографии двух стран. Основное достоинство работ последних лет — попытка отойти от существующих на протяжении десятилетий стереотипов и исключительно негативных или позитивных оценок прошлого этого учебного заведения. Тем не менее, приходится заключить, что это достаточно длительный процесс, требующий дальнейшего детального и всестороннего изучения предмета. При этом современным исследователям следует исходить из того, что крайности деполонизации нельзя объяснить только репрессивной природой самодержавной монархии или личной полонофобией высших администраторов. При оценке событий того времени, соглашаясь с мнением А. И. Миллера, надо учитывать чрезвычайный накал соперничества русского и польского проектов национализма и драматизм самой битвы за регион<sup>1</sup>. Наиболее же полное освещение прошлого Варшавского университета возможно лишь при совместной работе российских и польских ученых. Исходя из вышесказанного, можно считать, что все необходимые условия к проведению такого исследования уже созданы.

---

<sup>1</sup> Западные окраины Российской империи. М. : НЛЮ, 2006. С. 251.

**В. А. Нардова**

Санкт-Петербургский Институт истории РАН,  
Санкт-Петербург, РФ

## ГОРОДОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ГОРОДОВ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО И ЕГО ОБСУЖДЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ <sup>1</sup>

В 1910 г. в Государственную думу был внесен законопроект «О преобразовании управления в городах Царства Польского». Цель реформы состояла в передаче управления городским хозяйством от административных структур в руки выборных общественных органов. Вопрос о введении общественного управления в городах Царства Польского поднимался властью еще в 80–90-х гг. XIX в., после проведения городских реформ на территории Российской империи. Однако реальные шаги по подготовке реформы были предприняты только в начале XX в. Обострение общественно-политической обстановки в стране, рост национального самосознания польского народа заставили правительство, наряду с реформированием городского самоуправления в России, взяться за преобразование управления в городах Царства Польского. Подготовка проекта реформы, начатая в 1905 г., была завершена к осени 1909 г.

В октябре Министерство внутренних дел представило проект на рассмотрение Совета по делам местного хозяйства. На заседании Совета премьер-министр П. А. Столыпин сформулировал основные задачи и принципы, которыми руководствовало министерство при разработке реформы. Имелось в виду «предоставить польским городам полный объем прав, которыми облада-

---

<sup>1</sup> Данная статья подготовлена по проекту «Российские общественные движения и международный контекст: Проблема трансфера западноевропейских практик и политических технологий в эпоху революций начала XX в.», входящему в программу Отделения историко-филологических наук РАН «Нации и государство в мировой истории».

ют города русские», но при этом «установить сразу окончательный способ самоуправления, не подлежащий уже дальнейшей эволюции в зависимости от предстоящих изменений Городового положения в коренной России».<sup>1</sup> Столыпин отметил, что «вводя самоуправление в городах с преобладанием польской культуры», министерство при корректировке действующего в России Городового положения 1892 г. стремилось обеспечить политические права государства, обезопасить новые учреждения от стремления в сторону автономии», а также «наделить русских горожан, вне зависимости от воли большинства, правом участия в городском самоуправлении». В отличие от Западного края, сказал Столыпин, в городах губерний Царства Польского «мы ожидали увидеть самоуправление польское, подчиненное лишь русской государственной идее». Указанными задачами, подчеркнул Столыпин, определялись «частности» законопроекта. Чтобы обеспечить участие в городском управлении русских обывателей, «пришлось привлечь квартиранимателей», т. к. немногие русские в том крае обладают недвижимым имуществом. С той же целью потребовалось разделение избирателей на курии. «Если к этому не прибегнуть, то русские горожане будут совершенно устранены от участия в городском управлении, а евреи, составляющие большинство населения городов, получают в городском управлении преобладание».

Завершая свое выступление, Столыпин выразил надежду, что «применение будущего закона на месте послужит доказательством честного стремления польского населения воспользоваться благами самоуправления..., но без задней мысли обратить самоуправление в орудие политической борьбы или в средство для достижения политической автономии».<sup>2</sup>

Остановимся на наиболее существенных положениях правительственного проекта. Важные изменения были внесены в избирательную систему. Право участия в выборах получили все лица мужского пола, владеющие недвижимой собственностью, с которой поступал налог в городскую казну, а также снимающие квартиры определенной стоимости, установленной для взимания государственного квартирного налога.

---

<sup>1</sup> При воспроизведении речи П. А. Столыпина в кн. «П. А. Столыпин. Переписка» (М., 2004. С. 637) в подчеркнутой части фразы допущена ошибка, меняющая смысл: вместо «не подлежащий» — «подлежащий». См.: РГИА. Ф. 1288. Оп. 1. 1909. Д. 21. Л. 3; см. также «Известия по делам земского и городского хозяйства». 1909. № 11. С. 33.

<sup>2</sup> РГИА. Ф. 1288. Оп. 1. 1909. Д. 21. Л. 3–5; Известия по делам земского и городского хозяйства. 1909, № 11. С. 33–35.

Предусматривалась куриальная система выборов. Она должна была гарантировать попадание в думы представителей от крайне немногочисленного русского населения, а также ограничить в составе гласных лиц еврейского населения, процент которых в польских городах был очень значительным (до 50%, а в некоторых городах даже до 80%). Избиратели делились на три курии (разряда): 1-я — русская курия, 2-я — еврейская, 3-я — для поляков и всех остальных. Первая курия была наделена привилегией; если в ней насчитывалось хотя бы 5 избирателей, они могли избрать одного гласного. Для евреев была установлена ограничительная норма представительства: в городах, где проживало более 50% евреев, от 2-й курии могла избираться 1/5 часть гласных, в городах, где они составляли менее 50% жителей — не более 1/10 части. Каждая курия имела право избирать только из избирателей своего разряда. Определение, кто именно мог быть признан лицом русского происхождения, предоставлялось варшавскому генерал-губернатору.

Ограничения прав еврейского населения касались не только их представительства в городской думе. Евреи не могли быть избираемы в президенты города, вице-президенты, бургомистры и их помощники. Число членов городской управы из евреев не должно превышать одной трети их числа.

Кардинальные изменения вносились в систему надзора за деятельностью общественного управления. Огромное значение имело освобождение органов самоуправления от контроля за правильностью (целесообразностью) их постановлений. Но одновременно вводились новые надзорные нормы: право роспуска думы до истечения срока ее полномочий и даже замены общественного управления правительственным на срок до трех лет.

Первостепенное значение для польского населения имел вопрос о языке. правительственный проект допускал использование наряду с государственным, польского языка. Однако рамки его применения были весьма узкими. При сношении органов самоуправления с правительственными учреждениями и лицами был обязателен государственный язык. Во внутреннем делопроизводстве требовалось также применение русского языка. При сношении с общественными учреждениями и частными лицами в губерниях Царства Польского допускалось использование польского языка. Словесные выступления допускались как на русском, так и на польском языках с параллельным переводом.<sup>1</sup> Совет по делам местного хозяйства поддержал принципиальные положения законопроек-

---

<sup>1</sup> Проект Городового положения для городов губерний Царства Польского // Известия по делам земского и городского хозяйства. 1909. № 11. С. 1–34.

та. Большинство статей было принято в редакции правительственного проекта. Но были включены некоторые поправки в раздел о выборах, введены дополнительные ограничения прав еврейского населения, еще больше сужены границы употребления польского языка.<sup>1</sup>

В мае 1910 г. законопроект «О преобразовании управления в городах губерний Царства Польского» был внесен Министерством внутренних дел в III Государственную думу. В ноябре 1911 г. после предварительного изучения законопроекта Комиссией по городским делам Государственная дума приступила к его рассмотрению.

Многими депутатами думы проект польского Городового положения воспринимался как «пилотный проект», предназначенный для последующего распространения его норм на города внутренних российских губерний, а Польша рассматривалась в качестве плацдарма для апробации предложенных новаций. Под этим углом зрения — значение проекта не только для польских городов, но и судеб муниципальной России — депутаты думы подходили к оценке проекта.

В докладе комиссии (докладчик П. В. Синадино, независимый националист) давалась восторженная оценка законопроекту. Проект существенно отличается от Городового положения 1892 г., значительно расширяет и пополняет права общественного управления «буквально во всех сферах его деятельности». Мы можем только пожелать, чтобы нас скорее наделили такими правами, которые предполагают дать городам Царства Польского. В городовом положении для польских городов докладчик видел «прототип» будущей общероссийской городской реформы. Законопроект, заявил он, открывает «новую эру в жизни и развитии городов». К наиболее значимым достоинствам проекта комиссия отнесла широкое избирательное право — предоставление права участвовать в выборах всем лицам, владеющим хоть какой-нибудь собственностью, а также снимающим квартиры. Комиссия поддержала включение квартиронанимателей в состав избирателей — это автоматически обеспечивает избирательные права русской части населения — и в свою очередь внесла предложение о некотором понижении квартирного ценза.

Кроме того, комиссия высказалась за наделение активным избирательным правом женщин, владеющих недвижимостью. В результате, резюмировал докладчик, «вводится почти всеобщее голосование». В докладе не ставилась под сомнение целесообразность куриальной системы выборов: в противном случае православная часть населения вряд ли смогла бы попасть в городские думы. Не

---

<sup>1</sup> Известия по делам земского и городского хозяйства. 1909. № 11. С. 35–43.

ставились под сомнение и намеченные законопроектом нормы, ограничивающие представительство евреев в органах самоуправления. Докладчик отметил, что и при установленных ограничениях евреи окажутся в выигрыше: по Городовому положению 1892 г. они вовсе лишены права участвовать в выборах в городские думы. Комиссия не согласилась только с требованием о зачислении крещеных евреев в еврейскую, а не в русскую курию.

Колоссальное значение для Царства Польского, отмечалось в докладе, имеет постановка вопроса об употреблении польского языка. Докладчик подчеркнул, что законопроектом впервые предоставлено право публичных выступлений на польском языке в общественных собраниях, хотя и с параллельным переводом на русский язык. У комиссии не было возражений против того, чтобы переписка новых общественных органов с правительственными и местными учреждениями осуществлялась на русском языке. Но требование вести на русском языке абсолютно все внутреннее делопроизводство комиссия находила не соответствующим «стремлению правительства установить в крае польское самоуправление».

Комиссия приветствовала отказ правительства от контроля за «целесообразностью» думских постановлений. Что касается новых надзорных функций — права досрочного роспуска дум, если «они окажутся не на высоте своего призвания», и права отменять Городовое положение в Царстве Польском в течение двух лет «в случае, если там будут происходить какие-нибудь волнения внутреннего порядка или же будет война», то эти исключительные меры были встречены ею «с пониманием». Последнее «весьма существенное» право она признала «необходимым, т. к. Царство Польское — окраина, которая до сих пор не имела своего самоуправления». Правда, Комиссия выразила «надежду, что эта мера будет применяться только тогда, когда будет для нее существовать действительная потребность».<sup>1</sup>

Начавшееся обсуждение показало, что думские фракции были далеко не единодушны в оценке проекта. Октябристов проект вполне устраивал. Выступивший от лица фракции Э. Л. Беннигсен отметил огромное значение проекта для Привислинского края и дал высокую оценку самому проекту: в нем «учтены все указания на несовершенства общего Городового положения, которые делались как со стороны науки, так и городских общественных управлений». Устранено большинство недостатков Городового положения 1892 г., и с этой точки зрения проект желателен. Излагая отношение фракции к «нововведению»

---

<sup>1</sup> Государственная дума. Созыв третий. Стенограф. отчеты. Сессия пятая. СПб., 1911. Ч. 1. Стб. 2429–2444.

ям проекта», Беннигсен заявил о безусловной поддержке куриальной системы, удачно решавшей задачу защиты интересов русского меньшинства и одновременно задачу ограничения участия еврейского населения в делах местного самоуправления. Учитывая высокий процент евреев в польских городах, фракция «соглашается» на предоставление им права участия в выборах, но не могла бы согласиться с наделением их равными правами с другими национальностями.<sup>1</sup>

О поддержке законопроекта поспешила заявить русская национальная фракция. С. Н. Алексеев приветствовал проект «с принципиальной точки зрения», поскольку существующий порядок ведения дел магистратами не удовлетворяет никого на месте и не обеспечивает «в полной мере государственных интересов». Но фракция оставляла за собой право возразить против некоторых положений проекта, в частности, уступок польскому языку.<sup>2</sup>

Отношение к законопроекту прогрессивной фракции было весьма сдержанным. Фракция находила проект «приемлемым», но при его определенной корректировке. Масленников позитивно оценивал те положения проекта, в которых получили осуществление пожелания российских городских дум и общественности (расширение избирательного права, упразднение контроля за целесообразностью, значительное улучшение финансовых возможностей, разделение обязанностей председателя в думе и управе и др.). Вместе с тем он отметил, что вводятся такие меры, которые фактически парализуют положительные начала законопроекта. Фракция категорически отвергала систему национальных курий, ограничивающих права еврейского населения и создающих привилегированное положение для русского меньшинства, находила неприемлемыми новые меры надзора (право роспуска дум и отмены общественного управления). Указывая на то, что такие меры сведут к нулю самостоятельность городского самоуправления, Масленников вместе с тем выражал опасение, что «эти статьи, попавшие в Городовое положение Царства Польского как бы в силу чрезвычайных, очень важных условий, затем уже просто по инерции войдут в Городовое положение для центральной России». Предлагалось куриальную систему выборов заменить выборами на пропорциональной основе, предоставить право участия в выборах не только женщинам-собственницам, но и снимающим квартиры, изъять статьи об исключительных мерах надзора.<sup>3</sup>

Фракция народной свободы (Н. Н. Щепкин) в целом разделяла оценку проекта прогрессистами. Наибольшие дефекты проекта кадеты видели в куриаль-

---

<sup>1</sup> Там же. Стб. 2445–2447.

<sup>2</sup> Там же. Стб. 2510–2511.

<sup>3</sup> Там же. Стб. 2451–2459.



ной системе выборов, в постановке вопроса о польском языке и мерах надзора. Выступая за всеобщее избирательное право, фракция вместе с тем была готова поддержать предложение прогрессистов о пропорциональных выборах, избирательных правах женщин. Она выступала за справедливое представительство евреев в органах самоуправления.<sup>1</sup> Трудовики (А. А. Булат) позиционировали себя как сторонников всеобщего избирательного права, но также соглашались поддержать предложение прогрессистов о пропорциональной системе выборов. Трудовики были не согласны с устранением польского языка из внутреннего делопроизводства органов самоуправления и с введением новых форм надзора.<sup>2</sup>

Позицию польского коло озвучил В. Ф. Грабский. Выработанный Министерством внутренних дел проект, заявил он, «не может отвечать всем нашим нуждам и понятиям о наших правах»: ничтожная постановка прав польского языка, значительная зависимость самоуправления от администрации и, наконец, право полного роспуска самоуправления. Вместе с тем, заявил он, мы не можем не принять во внимание, что и в России города не наделены всей полнотой прав, хотя там отсутствует бич в виде роспуска самоуправления, но все же законопроект вводит существенные улучшения по сравнению с общероссийским Городовым положением и с тем, что имеют польские города в настоящее время. По этим соображениям фракция будет поддерживать законопроект в редакции комиссии по городским делам.<sup>3</sup> Другой представитель этой фракции В. Ф. Яронский, отвечая на обвинения польского коло в поддержке куриальной системы, заявил: «...правительство при теперешнем своем направлении не откажется от привилегирования русских и ограничения евреев, поэтому всякие попытки изменить в этом отношении законопроект могут весьма ослабить и без того не весьма прочные виды на его осуществление. Это одно соображение было бы достаточно для объяснения нашего голосования против поправок в этом пункте». Сам Яронский находил ограничение прав евреев вполне оправданным. Хотя они и составляют большинство во многих городах, но мы «не можем не считать этих городов польскими». Поэтому в отношении статей, касающихся евреев, мы выскажемся за редакцию комиссии.<sup>4</sup>

Правый депутат В. Г. Черкасов обрушился с критикой на представителей оппозиционных фракций, неудовлетворенных проектом: недовольны ограничением прав женщин, протестуют против права правительства распускать думы,

---

<sup>1</sup> Там же. Стб. 2459–2471.

<sup>2</sup> Там же. Стб. 2471.

<sup>3</sup> Там же. Стб. 2448–2451.

<sup>4</sup> Там же. Стб. 2499.

выступают в защиту прав евреев. «Мы, — заявил Черкасов, — совершенно определенно и категорически высказываемся, что относимся к еврейству совершенно отрицательно, ...мы не можем пойти навстречу пожеланиям еврейского населения о расширении его прав, рассматривая это как зло...». Что касается возможности расширения прав самих поляков, то их пределы, напомнил Черкасов, были четко обозначены в выступлении П. А. Столыпина в Совете по делам местного хозяйства: «это есть *maximum* тех прав, которые когда бы то ни было мы имеем в виду предоставить полякам, дальше ни шага, это последний предел, который мы указываем правам поляков в деле местного самоуправления».<sup>1</sup>

При поштатейном обсуждении проекта прения развернулись в основном вокруг наиболее спорных вопросов: об избирательном праве, употреблении польского языка, организации надзора. В ходе обсуждения статей, касавшихся выборной системы (ст. 19–22), были вынесены следующие предложения: 1. О предоставлении избирательного права женщинам-квартиронанимательницам (прогрессисты). 2. О предоставлении женщинам активного и пассивного избирательного права (прогрессисты, кадеты). 3. О предоставлении избирательного права всем совершеннолетним лицам обоего пола, проживающим в данном городе не менее одного года (трудовики). 4. О распространении избирательного права на всех лиц, достигших 25-летнего возраста (кадеты). 5. О распространении на евреев правил Городового положения 1892 г., иначе говоря, о лишении евреев права участия в выборах (поправка представителя правых П. В. Березовского).

При голосовании все названные поправки были отклонены. Но Дума не приняла во внимание и рекомендации представителя Министерства внутренних дел об отказе от понижения квартирного ценза и отстранении женщин, владеющих собственностью, от участия в выборах.<sup>2</sup>

В разделе о выборах центральное место отводилось куриальной системе. В прениях по статье 28-й, устанавливающей деление избирателей на национальные курии, приняли участие главным образом представители фракций, выступавших против куриальных выборов. О неприятии куриальной системы заявили прогрессисты (А. М. Масленников: введение куриальной системы извращает идею самоуправления), кадеты (И. В. Луцицкий: разделяй и властвуй — вот политическая составляющая куриальной системы), трудовики (А. А. Булат: деление на национальные курии сеет только национальную рознь). Об отри-

---

<sup>1</sup> Там же. Стб. 2486–2492.

<sup>2</sup> Там же. Стб. 2800–2812.

цательном отношении к куриальной системе заявили и социал-демократы. Все эти фракции выразили готовность проголосовать за поправку прогрессистов о выборах на пропорциональной основе. Позицию правительства в вопросе о куриях безоговорочно поддерживали октябристы, националисты, правые. На их стороне оказалось и польское коло. Их поддержка куриальной системы вызвала гневные нападки со стороны представителей левых фракций. К ст. 28, кроме поправок прогрессистов о замене куриальной системы пропорциональными выборами, был внесен еще ряд поправок. Ф. Ф. Тимошкин (правый) считал, что система трех курий недостаточно защищает интересы русского населения и вместо трех предложил образовать две курии: из русских и всех остальных. В качестве альтернативы он выдвинул предложение о фиксированном количестве гласных: 35% русских, 15% евреев и 50% поляков.<sup>1</sup>

Прения по вопросу о куриях продолжились при рассмотрении ст. 43, принятой комиссией: она допускала избрание гласных не только из своего, но и из других разрядов. В поддержку ст. 43 выступила фракция народной свободы. А. Ф. Бабянский доказывал, что статья явится той «форточкой», которая позволит ослабить политическую сторону этого законопроекта, даст возможность самому населению вносить коррективы в установленные для евреев нормы.<sup>2</sup> Националисты и правые (Н. А. Алексеев, Ф. Ф. Тимошкин) потребовали ее изъятия; поскольку принцип национальных курий имеет смысл и значение только в «чистом виде».<sup>3</sup> На исключении статьи настаивал управляющий отделом городского хозяйства А. А. Евтифеев: «Разделение на курии вызывается соображениями государственного порядка... и поэтому предоставление избирателям права на ослабление куриального начала представлялось бы, по мнению ведомства, невозможным».<sup>4</sup> Ст. 43 не была принята.

Весьма неприятным для чиновников Министерства внутренних дел стал отказ депутатов выступить солидарно с Комиссией по вопросу о замене общественного управления правительственным (ст. 188 и последующие). Поправка об исключении этой статьи была внесена кадетами, трудовиками и октябристами. Взявший слово начальник Главного управления по делам местного хозяйства С. Н. Гербель попросил отвергнуть поправку. Он доказывал, что «главное отличие» законопроекта от действующего Городового положения 1892 г. заключается в предоставлении городам значительно большей самостоятельности.

---

<sup>1</sup> Там же. Стб. 2851–2854.

<sup>2</sup> Там же. Стб. 3186–3190.

<sup>3</sup> Там же. Стб. 3183–3185.

<sup>4</sup> Там же. Стб. 3186.

сти. Поэтому правительственную власть необходимо облечь такими правами, которые «давали бы ей возможность в исключительных случаях принять меры для восстановления нарушенного порядка в городе для направления деятельности в соответствии с интересами государства». В исключительных случаях обстоятельства могут «вынудить» правительство «взять в свои руки все городское управление». Отказаться от этой меры правительство не может. «Я должен предупредить, — заявил Гербель, — что в случае принятия этой поправки становится совершенно неизвестным, возможно ли будет провести этот проект (через Государственный совет. — В. Н)».<sup>1</sup> Тем не менее ст. 188 была отклонена большинством — 120 голосов против 65.

При баллотировке проекта в целом он был одобрен большинством голосов<sup>2</sup> и в марте 1912 г. передан на рассмотрение Государственного совета.

Положенная в основу думско-правительственного проекта концепция преобразования управления в городах Царства Польского на основании особого Городового положения не нашла понимания у членов Государственного совета. Включенный в повестку дня Общего собрания Государственного совета вопрос о реформировании управления польских городов (4 декабря 1912 г.) был снят с обсуждения. Законопроект отправлен на повторное обсуждение Особой комиссией.<sup>3</sup>

В ходе второго этапа ее работы (декабря 1912—март 1913) проект Государственной думы подвергся кардинальной переработке. Комиссия дала отрицательную оценку «попыткам» Министерства внутренних дел допустить в законопроекте отступления от Городового положения 1892 г., не вызываемые местными условиями. «Некоторые из намеченных Министерством внутренних дел и одобренных Государственной думой отступлений, — говорилось в докладе комиссии, — затрагивают наиболее существенные стороны городской жизни, преследуя, например расширение прав населения по городскому самоуправлению». Такие отступления «служили бы предreshением вопроса о применении в будущем... намечаемых постановлений на всем пространстве империи». Вместе с тем подчеркивалось что издание особого Городового положения для городов Привислинских губерний «не отвечало бы общим государственным задачам в деле объединения окраин с внутренними губерниями». По этим основаниям комиссия «всцело отвергла мысль» об издании для польских городов особого положения.

---

<sup>1</sup> Там же. Стб. 3243–3244.

<sup>2</sup> Там же. Ч. II. Стб. 1722.

<sup>3</sup> Государственный совет. Стенограф. отчеты. 1912–1913. Сессия VIII. СПб., 1913. Стб. 149–158.

Были высказаны следующие соображения по трем главным направлениям законопроекта. I Об условиях участия в городских выборах. Комиссия выступила против отказа от имущественного ценза и предоставления права непосредственного участия в выборах лицам женского пола. Комиссия признала целесообразным предоставление избирательного права квартиронанимателям, но установленный Государственной думой ценз находила слишком низким. Минимальный размер ценза предлагалось существенно повысить. Положения думского проекта о куримальной системе, об установлении нормы, ограничивающей представительство в городских думах от еврейской курии не вызвали возражения комиссии.

II. О польском языке. Большинство членов комиссии поддержало требование Думы о том, чтобы заседания в городской думе и управе велись председателем на русском языке. Комиссия согласилась с возможностью использования местного языка в прениях. Требование о применении русского языка в сношениях городских дум с правительственными учреждениями и должностными лицами Комиссия посчитала нужным распространить также и на сношения с общественными учреждениями империи (ст. 28 п. а).

III. О правительственном надзоре. Этот раздел думского проекта претерпел радикальную правку. Комиссия высказалась за предоставление власти права контроля не только за законностью постановлений городских общественных управлений, но и за их правильностью (целесообразностью). и

Несмотря на наличие разногласий комиссия большинством голосов поддержала право администрации на роспуск городских дум до окончания срока их полномочий. При этом комиссия высказалась за возможность роспуска думы распоряжением лишь министра внутренних дел, а не через Совет министров и с санкции императора. В законопроект была включена также 40 статья о замене общественного управления правительственным. Были внесены и некоторые другие предложения, не совпадающие с правительственным и думским проектом.<sup>1</sup>

При обсуждении проекта в Государственном совете четко обозначились 2 крыла: те, кто в целом поддерживал думско-министерский проект и выступал

---

<sup>1</sup> Доклад Особой комиссии Государственного совета см.: Государственная дума. Созыв четвертый. Сессия первая. 1912–1913. Материалы согласительных комиссий Государственного совета по возвращенным в Государственную дума для нового рассмотрения законопроектов [V] О преобразовании управления городов в губерниях Царства Польского. Сплошная пагинация отсутствует. Доклад Особой комиссии. С. 2–41.

с критикой проекта Комиссии, и те, для кого было абсолютно неприемлемым какое бы то ни было отступление от Городового положения 1892 г. В числе первых назовем Д. И. Багаля (кадет). «В качестве практического деятеля (харьковский городской голова. — В. Н.), — сказал он, — я особенно ценю многие из тех улучшений, которые были внесены в министерский проект по сравнению с Городовым положением 1892 г.». Он приветствовал расширение круга избирателей, ограничение административного надзора рамками законности, разделение должностей председателя думы и городского головы. У него вызывали «сомнения» куриальная система, ограничение прав евреев и др. По мнению Багаля, комиссия во многих отношениях ухудшила проект, в частности, отстранив от участия в выборах мелких собственников.<sup>1</sup> В. П. Энгельгардт (прогрессист) оценивал проект комиссии отрицательно. Все отступления от думского проекта, считал он, проведены в худшую сторону. Изменения проекта — свидетельство дальнейшего развития тенденции недоверия к местным силам. Польские города получают лишь подобие самоуправления.<sup>2</sup> Что касается представителей правого крыла, то проект Комиссии их вполне устраивал, за исключением «уступки» полякам в отношении языка.

А. С. Стишинский настаивал на полном изгнании польского языка из органов городского самоуправления. В вопросе об языке, доказывал он, никакого компромисса быть не может, поскольку речь идет о «сохранении начал российской государственности». Отрицая возможность использования польского языка в прениях, Стишинский мотивировал это тем, что органы самоуправления (земские, городские) являются учреждениями государственными, а в государственных учреждениях никакой язык, кроме русского, звучать не может.<sup>3</sup>

Позицию Стишинского полностью разделял В. И. Гурко. «Без нарушения начал русской государственности, — заявил он, — мы не можем вводить в русских государственных учреждениях иного языка, кроме языка русского». Другое решение дела нарушило бы ту связь, которая необходима между всеми частями империи.<sup>4</sup>

При постатейном обсуждении законопроекта прения возникли главным образом по статьям, касавшимся трех вопросов: избирательного закона, употребления польского языка и надзора. При рассмотрении ст. 10 (о составе из-

---

<sup>1</sup> Государственный совет. Стенограф. отчеты. 1912–1913. Сессия VIII. СПб., 1913. Стб. 1413–1423.

<sup>2</sup> Там же. Стб. 1423–1428.

<sup>3</sup> Там же. Стб. 1396.

<sup>4</sup> Там же. Стб. 1406–1414.

бирателей) был поднят вопрос об исключении квартирноманимателей из числа избирателей. Лидер правых П. Н. Дурново охарактеризовал предложенную систему выборов как «наиболее либеральную из всех прочих. И раз она пройдет в Царстве Польском... мы получим то же либеральное благодеяние и для всей России, т. к., очевидно, нельзя будет отказать Москве, Киеву, Саратову и прочим городам в том, чем пользуются польские города». «Нельзя, — заявил он, — в Царстве Польском проводить опыты для всей России».<sup>1</sup> (Очередной раз наблюдаем боязнь перенесения либеральных начинаний на русскую почву).

Отстаивая решение комиссии, Н. А. Зиновьев подчеркнул, что привлечением квартирноманимателей имелось в виду не «улучшение» Городового положения, а лишь обеспечение русскому населению возможности участвовать в городских выборах. Вместе с тем он признал целесообразным уменьшить контингент избирателей-квартирноманимателей и с этой целью внес предложение о повышении квартирного ценза.<sup>2</sup>

А. А. Нарышкин выступил против наделения евреев правом участия в выборах. Они могут быть допущены к участию в общественном управлении только по назначению администрации. Его поправка об упразднении еврейской курии была однако отклонена.

Сохранение комиссией возможности употреблять польский язык в устных выступлениях на заседаниях городских дум вызвало крайнее возмущение правой части Государственного совета. А. С. Стишинский, В. И. Гурко потребовали исключить полностью польский язык из органов общественного управления.<sup>3</sup> Стишинского поддержали представители правых А. А. Бобринский, В. И. Гурко. С критикой позиции правых выступил ряд членов Государственного совета. С. К. Годлевский (польское коло) напомнил о заявлении председателя Совета министров П. А. Столыпина при открытии заседания общего присутствия Совета по делам местного хозяйства в октябре 1909 г.: «...В губерниях Царства Польского мы ожидаем увидеть самоуправление польское, подчиненное русской государственной идее». Навязывание русского языка для объяснений поляков друг с другом, сказал Годлевский, не может быть понято иначе как стремление к обрусению края.<sup>4</sup> «Ни для общерусского государственного начала, ни для величия русского народа, ни для величия Российской империи, — сказал И. А. Шебеко, — никакой опасности не представляет тот факт, что в 10 губерни-

---

<sup>1</sup> Там же. Стб. 1448–1449.

<sup>2</sup> Там же. Стб. 1445–1446.

<sup>3</sup> Там же. Стб. 1465–1471, 1482.

<sup>4</sup> Там же. Стб. 1475.

ях Царства Польского будут устно объясняться по делам городского хозяйства на своем родном языке». Это не государственная мера, а «булавочный укол» по национальному самолюбию.<sup>1</sup>

Тем не менее за исключение польского языка из употребления в заседаниях городских дум проголосовало 74 человека (против 53).

Напряженно проходило обсуждение статей о применении особых исключительных мер надзора. Возникли прения по поводу статьи 38 о досрочном роспуске думы.<sup>2</sup> Было обращено внимание на то, что эта статья, упраздненная первым составом Комиссии, при втором рассмотрении была возвращена в наиболее неприемлемом варианте: для роспуска думы достаточно распоряжения только министра внутренних дел, а срок проведения новых выборов увеличивается с двух до шести месяцев. В ход обсуждения поспешил вмешаться представитель Министерства внутренних дел Н. Н. Анциферов. Предложенная система мер для российского законодательства, заявил он, является «новшеством», но оно оправдывается «особенностями края». Вместе с тем Анциферов заметил, что целесообразность включения в проект такой меры как досрочный роспуск городской думы подтверждает и практика деятельности органов общественного управления во внутренних губерниях России. После 1906 г. правительство было вынуждено трижды прибегнуть к роспуску дум до истечения выборного срока, причем в одном случае — по политическим причинам (Одесская дума). «Городская жизнь в последнее время, — сказал он, — претерпевает сильные изменения, политика всюду внедряется в городское управление и производит свое вредное действие!»<sup>3</sup>

Выступление представителя Министерства внутренних дел было воспринято как заявление о том, что правительство имеет намерение распространить новые формы надзора не только на Царство Польское, но впоследствии и на всю Россию.

Настаивая на принятии этой нормы, представитель ведомства согласился с доводами в пользу сокращения срока проведения новых выборов с 6 до двух месяцев и о возможности роспуска думы лишь с санкции верховной власти.<sup>4</sup> При голосовании за сохранение данной статьи высказалось большинство: 54 за, 50 против. Однако представителям министерства не удалось добиться возвращения в проект второй исключительной меры — заметны общественного управления правительственным.

---

<sup>1</sup> Там же. Стб. 1482–1484.

<sup>2</sup> Там же. Стб. 1493–1498.

<sup>3</sup> Там же. Стб. 1498–1502.

<sup>4</sup> Там же. Стб. 1504–1505.



Итак, Государственный совет одобрил мнение комиссии о концепции реформы (не особое Городовое положение, а применение к городам Царства Польского Городового положения 1892 г.). В выработанный комиссией проект Городового положения были внесены следующие изменения:

1. Ст. 10. Был существенно повышен квартирный ценз: для Варшавы — 720 руб. вместо 540, Лодзи, Люблина, Сосновиц 360 руб. вместо 240 руб., ...для незначительных городов 168 руб. вместо 96 руб.
2. Ст. 28, п. 4. Было исключено допущенное комиссией право употреблять польский язык в словесных высказываниях в думских заседаниях.
3. Была исключена ст. 40 о замене общественного управления правительственным.

К рассмотрению законопроекта, поступившего из Государственного совета, IV Государственная дума приступила в июне 1913 г. Думская Комиссия по городским делам подвергла сомнению постулат Государственного совета о «целесообразности» распространения на окраины законов, действующих в империи «ввиду того, что окраины таким образом спаиваются и сближаются с основным ядром государства». «Введение несовершенных законов на окраинах, — говорилось в ее докладе, — едва ли послужит дальнейшему сближению окраин с центром». Комиссия не признала также «желательными» и те изменения, которые Государственный совет внес в законопроект, но высказала опасения, что защита положений правительства и Думы может привести к полному крушению законопроекта и на долгие годы отсрочит введение в городах Царства Польского местного самоуправления. По этим «чисто утилитарным соображениям», как сказано в докладе, комиссия «признала возможным» с определенными поправками представить на рассмотрение Думы проект городского положения в том виде, в каком он был выработан Государственным советом. Выделив три наиболее серьезные изменения, внесенные в думский проект, комиссия предложила: 1. По вопросу об имущественном цензе и цензе для квартиронанимателей занять компромиссную позицию: согласиться на введение имущественного ценза и некоторое повышение квартирного ценза. 2. По вопросу о надзоре отстаивать предложения III Думы об отказе от контроля за целесообразностью постановлений. 3. Наиболее существенные отступления, по мнению комиссии, были допущены в отношении польского языка: он был полностью исключен из делопроизводства общественного управления и из употребления в прениях. В этом вопросе комиссия не сочла возможным пойти на какие-либо уступки.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Государственная дума. Состыв четвертый. Стенограф. отчеты. Сессия первая. Ч. III. Стб. 959–967.

Представителями левых фракций доклад комиссии был встречен в штыки. Взятый слово А. М. Масленников (прогрессист) заявил, что его фракция будет голосовать против законопроекта. Данный законопроект, сказал он, не отвечает не только интересам польского населения, но и интересам русской государственности. У него не было сомнений в том, что провал польской городской реформы неизбежно отразится на судьбе общероссийской реформы. «Мы думали, раз для Царства Польского дается законопроект, который несравненно лучше Городового положения 1892 г., то, следовательно, нас только дни, может быть, месяцы отделяют от того, когда, наконец, русская городская жизнь получит обновление... В настоящее время, когда похоронили законопроект, то мы вправе сказать, что похоронили не Городовое положение Царства Польского, а похоронили реформу Городового положения для городов России».<sup>1</sup> Представитель той же фракции Н. Н. Щепкин напомнил, что обсуждение Городового положения для городов Царства Польского в III Государственной думе шло скачками, перемежалось с рассмотрением вопроса об отделении Холмщины. Царство Польское в лице его «коло» «мазали по губам», обещая Городовое положение за отделение Холмщины. Но вместо полноценного Городового положения Государственный совет предлагает полякам искаженное Положение 1892 г., которое громадным большинством думцев было признано «совершенно непригодным» для управления местным хозяйством. Критически оценивая доклад комиссии, Щепкин заявил: «Вы поставите раз навсегда Городскую думу четвертого созыва в положение совещания, имеющего лишь совещательный голос при Государственном совете... Вас послали сюда, чтобы законодательствовать, а не лакействовать».<sup>2</sup> За непарламентские выражения Щепкин был исключен от участия в 5 заседаниях. Об отрицательном отношении к проекту заявили трудовики (А. Ф. Керенский), социал-демократы (Е. О. Ягелло). Критика проекта со стороны польского коло была обращена в основном против поправок, касающихся польского языка. И. В. Свежинский считал, что все изменения, внесенные в проект Государственным советом, имеют «второстепенное» значение по сравнению с поправкой, запрещающей использование польского языка в прениях. «Ввиду неотложности реформы, ввиду полного расстройств городского хозяйства..., — сказал он, — мы вынуждены принять даже такую реформу, которая нас не удовлетворяет, но не могли бы принять такой, которая оскорбляет наше национальное достоинство». «Самоуправление городов без права объяснения на польском языке

<sup>1</sup> Там же. Стб. 983.

<sup>2</sup> Там же. Стб. 974–978.

неприемлемо».<sup>1</sup> (Высказывание Свежинского о «второстепенном значении» прочих, кроме касающихся польского языка, поправок вызвало резкую отповедь со стороны левых фракций). В поддержку законопроекта выступили только националисты.<sup>2</sup>

Подводя итог дискуссии, докладчик Комиссии по городским делам Беннингсен заявил, что не видит ничего «страшного» в том, что предлагает Государственный совет: осталось более широкое избирательное право, сужено все же право административного надзора. Кроме того, внесенные в Городовое положение 1892 г. изменения «до известной степени ограничивают [его] дурные стороны». При постатейном обсуждении законопроекта большинство статей было принято без прений и поправок. Оппозиционные фракции попытались отстоять более демократический принцип формирования общественного управления. Однако их усилия не увенчались успехом. Судьба законопроекта была предрешена октябристским большинством Думы. При окончательной баллотировке за законопроект проголосовало 145 депутатов, против — 45.

Для урегулирования разногласий между Государственной думой и Государственным советом была образована Особая согласительная комиссия (по 7 человек от Думы и от Государственного совета). Согласованию подлежали три наиболее существенных пункта расхождений. По первому пункту о цензе для квартиронанимателей соглашение было достигнуто: по цензу в Варшаве, Лодзи, Люблине, Сосновицах... и в некоторых наиболее значительных городах было принято предложение Думы, что касается ценза в небольших городах, то члены комиссии от Думы согласились повысить его с 96 руб. до 120 руб. По второму пункту о языке члены согласительной комиссии к единому мнению так и не пришли. За допущение прений на польском языке в заседаниях городской думы проголосовало 7 членов комиссии от Думы, против — 7 членов от Государственного совета. Не было достигнуто единомыслия по вопросу о надзоре. За предложение Государственного совета о сохранении контроля за целесообразностью постановлений городских дум высказалось 10 членов комиссии, против — 2 члена от Государственной думы.<sup>3</sup>

Результаты работы согласительной комиссии были доложены Думе 27 мая 1914 г. На согласование были поставлены два вопроса, по которым в согласительной комиссии не было достигнуто соглашения. По первому пункту о языке за допущение прений в заседаниях Думы на польском языке проголосовали:

---

<sup>1</sup> Там же. Стб. 970–973.

<sup>2</sup> Там же. Стб. 990–991.

<sup>3</sup> Там же. Сессия вторая. СПб., 1914. Ч. III. Стб. 298–299.

за — 173 депутата, против — 30, воздержались 34. По второму пункту за восстановление права контроля за целесообразностью постановлений проголосовали: за — 149, против — 59, воздержались 40 депутатов. При голосовании по проекту в целом: за принятие проголосовал 151 депутат, против — 84, воздержались 24 человека.<sup>1</sup> Отказ Государственной думы принять все требования Государственного совета фактически означал провал законопроекта.

Между тем внешнеполитическая ситуация выдвинула польский вопрос в качестве одного из важнейших вопросов международной политики. Складывающаяся вокруг Польши ситуация требовала от царского правительства незамедлительных действий для решения проблем, связанных с польским вопросом. В числе последних важное значение имело и обещанное полякам преобразование городского управления. Определенные шаги в этом направлении были предприняты в начале лета 1914 г. В рескрипте на имя председателя Совета министров И. Л. Горемыкина (5 июня 1914 г.) Николай II поручил ему вторично внести в Государственную думу проект Городового положения в Царстве Польском.<sup>2</sup> Начавшаяся мировая война затормозила быстрое продвижение этого вопроса. В феврале 1915 г. Министерство внутренних дел представило в Совет министров проект постановления «О распространении действия Городового положения 11 июня 1892 г. на города губерний Царства Польского». Законопроект из-за перерыва в заседаниях Государственной думы был проведен по ст. 87 основных государственных законов. 17 марта 1915 г. Положение о Городовом положении в Царстве Польском было утверждено царем.<sup>3</sup> Утвержденное Положение воспроизводило проект, принятый в 1913 г. Государственным советом, со следующими поправками: 1. Был уменьшен квартирный ценз в соответствии с решением согласительной комиссии и 2. внесены некоторые изменения в статью об употреблении польского языка в ходе прений — вопрос, по которому не было достигнуто соглашения между Государственной Думой и Государственным советом. Действия Варшавской городской думы должны были открыться 1 января 1916 г.<sup>4</sup> Военные действия на территории Польши сделали эти планы нереальными.

---

<sup>1</sup> Там же. Стб. 300–302.

<sup>2</sup> Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX—начало XX вв.). СПб., 1998. С. 396.

<sup>3</sup> Там же. С. 397–398.

<sup>4</sup> Высочайше утвержденное положение Совета министров о распространении действия Городового положения 11 июня 1892 г. на города губерний Царства Польского // Собрание узаконений и распоряжений правительства 22 марта 1915 г. № 91. С. 1131–1146.

**И. В. Лукоянов**

Санкт-Петербургский институт истории РАН,  
Санкт-Петербург, РФ

## ПОЛЬСКОЕ КОЛО В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

Государственная дума Российской империи была создана 6 августа 1905 г., в ходе Первой русской революции, как законосовещательное народное представительство. Манифестом 17 октября 1905 г. ей были предоставлены законодательные права, а также обещан пересмотр избирательного закона с тем, чтобы расширить круг избирателей. Несмотря на различные имущественно-сословные цензы и явное преобладание представительства великорусских губернии, власть предусматривала и присутствие в Думе депутатов от национальных окраин, в том числе и от Царства Польского. Депутаты от Польши работали в Думе во время всех её четырёх созывов (1906–1917 гг.), занимая среди других национальных групп и фракций самое видное место. В отличие от них поляки уже имели не только давно существующие политические партии, но и своё ранее действующее национальное представительство — сейм. Поэтому парламентаризм входил составляющим элементом в политическую культуру.

К моменту выборов в I Думу (начало 1906 г.) в Польше не сложилось единого мнения о российском представительстве. Если социалистические и революционные партии выступили за бойкот Думы, то умеренно-националистические и либеральные приняли активное участие в избирательной кампании. Лидером польского национального движения считалась народно-демократическая партия («Лига народная»), заявлявшая себя наследницей власти польских королей и народного правительства 1863 г. Главным пунктом её политической программы было достижение Польшей автономии как ступени к обретению полной государственной независимости. Русскую власть категорически не устраивало то, что партия выступала за полную «полонизацию» Польши и то, что в её уставе содержался раздел о нелегальной политической деятельности, который «советовал» сопротивляться неугодным зако-

нам, противодействовать русскому правительству «посредством блокировки ревностных его деятелей», вытеснить отовсюду русский язык, заменяя его польским. «Вспомогательной» организацией для народно- демократической партии считался Национальный рабочий союз, имевший в своей структуре боевой союз, занимавшийся террористической деятельностью (нападения и убийства русских чиновников в Польше). Народно-демократическая партия и победила на выборах в I Думу, её представители заняли большинство мест в Думе от Царства Польского. Ещё 5 (18) февраля 1906 г. партия опубликовала воззвание с разъяснением позиции, которой будут придерживаться её депутаты в Думе. Главной задачей перед ними ставилось быстрее достижение польской автономии, для этого «Лига народная» предполагала действовать в союзе с кадетами, но лишь до момента обретения вождеденной автономии, далее их дороги расходились. Несмотря на то, что поляки намеревались быть союзниками кадетов, они разделяли далеко не все положения их программы, в частности, они твёрдо защищали принцип частной собственности на землю и в этом были готовы солидаризироваться с русским правительством<sup>1</sup>. Интересно, что «демократия» в названии сочеталась с выраженным национализмом и антисемитизмом на практике. Еще во время избирательной кампании, когда варшавские евреи осмелились выставить собственного кандидата в Думу, им было адресовано специальное обращение, предупреждавшее, что этим они делают себя врагами поляков: «мы не позволим, чтобы кто-либо другой, кроме поляков, проникнутых польским духом, был представителем Варшавы»<sup>2</sup>. Позднее эти антиеврейские настроения лишь усилились.

Другой партией, сумевшей провести своих представителей в Думу, стала «партия реальной политики» («угодовцы»), объединявшая в основном землевладельцев. Её политические цели были значительно скромнее: «реальные политики» предполагали добиваться введения в Польше земских учреждений и национальной школы и лишь в мечтах позволяли себе думать о восстановлении сейма и культурной автономии для Царства Польского. Во время выборов в I Думу специально для участия в них был создан «Демократический союз» (Польская прогрессивная партия), пытавшийся объединить ряд национальных партий для борьбы в Думе за автономию Польши и её демократизацию. Но на выборах они не преуспели.

---

<sup>1</sup> Обзор польского революционного движения за 1906 г. // Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф.1675. Оп.1. Д.58. Л.47–48.

<sup>2</sup> Обзор польского революционного движения за 1906 г. // РГИА. Ф.1675. Оп.1. Д.58. Л.85.

Польское коло<sup>1</sup> — первая из организовавшихся национальных фракций в Думе. Уже 30 апреля 1906 г. они, воспользовавшись обсуждением ответа на тронную речь, обнародовали в Думе свою самую заветную цель — требование автономии Царства Польского от имени «всего населения нашего края»<sup>2</sup>. Интересно, что под заявлением подписались лишь 27 депутатов — далеко не все, кто входил в коло<sup>3</sup>. Нельзя сказать, что в I Думе польское коло играло видную роль. В условиях революционного собрания, каким являлся первый состав Государственной думы, полякам трудно было надеяться на то, что их практические соображения будут услышаны и нормально обсуждены в этом разноголосом хоре ниспровергателей всего и вся. Тем не менее, депутаты коло нередко выступали с думской трибуны. Говорили они, как правило, от имени всей фракции. Среди поляков просматривалась строгая дисциплина (чего и близко не наблюдалось в других фракциях и группах), их позиция всегда была консолидированной. Большинство членов фракции вообще не занимали думскую трибуну, от имени коло говорили, как правило, несколько депутатов. На фоне непрерывного революционного митинга их речи отличал деловой тон и весьма конкретные и практические стремления, а не желание решить сразу все проблемы. Тактика поляков — за исключением главного для них заявления об автономии Польши — не выступать с собственными законодательными инициативами, а лишь реагировать на законопроекты, внесённые другими (или на обсуждение проблем), отстаивая собственные интересы. Оно означало, что депутаты от Польши предпочитают сохранять политическую независимость как среди фракций в Думе, так и по отношению к правительству. В условиях I Думы и осторожность, и равноудалённость выглядят вполне оправданными.

Основное внимание польских депутатов, как и всей Думы, оказалось сконцентрировано на аграрном вопросе. Их позиция была определена, по-видимому, заранее, так как уже при первых намёках на его постановку, еще во время обсуждения ответного адреса трону, депутат И. Наконечный 3 мая объявил, что для поляков «надлежащее решение аграрного вопроса» «возможно не иначе, как тем способом и на тех началах, какие будут определены органами местного са-

---

<sup>1</sup> Поляки в Государственной думе приняли такое название фракции, как и в австро-венгерском рейхсрате.

<sup>2</sup> Выступление депутата Я. Гарусевича // Государственная дума. Стенографические отчёты (далее — Стенографические отчёты). Созыв I. Т. I. СПб., 1906. С. 50–51.

<sup>3</sup> В I Думу было избрано 52 поляка (11,7% всех депутатов), но не все они входили в состав коло.

моуправления и представительным законодательным собранием края»<sup>1</sup>. Из этого проистекало не только категорическое несогласие решать аграрный вопрос «на одних, общих для всего государства основаниях»<sup>2</sup>, но и то, что для Польши допускается лишь модель: сначала — политические реформы (не просто автономия, но и тотальное преобразование всей власти в царстве) и только после этого — решение любых хозяйственных проблем. Впрочем, Дума, разгорячённая борьбой с властью, не обратила внимание на это принципиальное заявление. Замечено было лишь нежелание поляков немедленно поддержать принцип возможного отчуждения частновладельческих земель. Здесь полякам пришлось немедленно отвечать: согласие означало бы, что большинство Думы запишет их в правые, тогда возможность коло провести через эту Думу польскую автономию скорее всего будет равна нулю. Не случайно А. Парчевский сразу же отреагировал на слова трудовика Г.Н. Шапошникова, «будто бы польские депутаты не желают отчуждения земли. Это была ошибка со стороны Шапошникова». Но позицию коло по этому вопросу Парчевский не озвучил, а лишь сообщил о том, что «мы не входили в существо дела»<sup>3</sup>. Реакция Парчевского выдала скорее растерянность коло перед лицом такого вызова: защищать бескомпромиссно и открыто святость частной собственности в революционной Думе было невозможно. К счастью для поляков, и остальные фракции Думы далеко не сразу сформулировали чётко своё мнение по аграрному вопросу, поэтому у них оказалось три недели, чтобы найти приемлемое решение.

Оно прозвучало 24 мая 1906 г., когда с большой, можно сказать — программной для коло в той обстановке — выступил депутат Я.-С. Стецкий. Сообщив, что поляки «с полной добросовестностью» подготовились к участию в аграрной комиссии, он изложил мнение коло по аграрному вопросу. Напомнив Думе уже высказанную позицию, что в Польше аграрная реформа «должна всецело явиться плодом работы польского законодательного собрания», а аграрный вопрос «может быть правильно разрешён только волей местного населения»<sup>4</sup>, Стецкий наконец сформулировал позицию коло по поводу конфискации земли. Он нигде не высказал отрицательного отношения к этой мере и даже признал необходимость того, чтобы «право отчуждать частновладельческие земли» было предоставлено польскому сейму. Однако это была единственная уступка. Вместе с этим Стецкий заявил, что поляки любой аренде предпочитают собственность,

---

<sup>1</sup> Стенографические отчёты. Сосыв I. Т.1. С.132.

<sup>2</sup> Там же. С.131.

<sup>3</sup> Выступление 4 мая 1906 г. // Там же. С.209.

<sup>4</sup> Там же. С.616, 618.



а будущее сельского хозяйства они видят в мелком землевладении<sup>1</sup>. В связи с этим депутат подверг резкой критике идею создания общегосударственного земельного фонда, заметив, что этот фонд «не стоит в тесной органической связи с желанием увеличить площадь крестьянского землевладения», а отражает убеждение «о непригодности начала личной собственности для поднятия крестьянского благосостояния»<sup>2</sup>. Такая позиция означала, что поляки категорически не принимают позицию трудовиков, но готовы искать компромисс с кадетами. Выступление Стецкого ещё раз продемонстрировало подчёркнутую самостоятельность коло, и кадеты, несмотря на близость позиций, имели много оснований быть недовольными. С ещё более выраженной критикой обсуждаемой аграрной реформы выступил 5 июня Парчевский. Заявив, что общегосударственный земельный фонд «немыслим в Царстве Польском», он признал допустимость земельной экспроприации, но только для «увеличения площади крестьянского землевладения» и с тем, чтобы право конкретного применения этой нормы было передано «местному представительству». Из выступления Парчевского легко можно было сделать вывод, что признание отчуждения земли — это уступка коло подавляющему настроению в Думе, сами же поляки ничего не собирались конфисковать. Показательна фраза Парчевского: «У нас нет таких крупных латифундий, которые существуют в центральных и восточных губерниях [России]. Поместья — большей частью незначительных размеров и являются для владельцев рабочими станками». И ещё одна фраза: «Я именно предполагаю, что именно в будущем появится разработанный законопроект о неприкосновенности собственности»<sup>3</sup>. Основные пункты позиции поляков по аграрному вопросу в I Думе были повторены без заметных изменений и во II Думе.

В остальном коло не проявляло большой активности, лишь поддержав устами своего депутата Ф. Новодворского законопроекты о свободе собраний и об отмене смертной казни. Кроме того, депутаты коло активно использовали тактику внесения запросов, связанных, в частности, с преследованиями за преподавание на польском языке.

Во II Думе из 34 депутатов от Польши 27 представляли «народовцев». На выборах во II Думу в Варшаве была создана из представителей нескольких политических партий «Народная концентрация», которая намечала кандидатов в Думу от польских губерний, что содействовало успеху национальных демократов.

---

<sup>1</sup> Там же. С.611, 614.

<sup>2</sup> Там же. С.613–614.

<sup>3</sup> Стенографические отчёты. Созыв I. Т.2. С.980–981.

Их программа по-прежнему состояла всего из двух пунктов: самостоятельная фракция в Думе и автономия Польши<sup>1</sup>. Однако в тактике произошли изменения. Коло поддержало правительство, проголосовав за предложенный контингент новобранцев, попутно устами депутата Г. Коница заявив: мы сражаемся «с нынешней правительственной системой, но мы не боремся ни с государством, ни с русским народом», и что коло отстаивает необходимость для России сильной армии. В выступлениях по поводу государственной росписи поляки тратили основной запал на то, чтобы доказать ущемление прав Польши на бюджетное финансирование, подчёркивая, что они не являются дотируемой территорией. Повторялись жалобы на притеснение польской школы и языка. Но в целом, коло, несмотря на критику, сделало осторожный шаг навстречу правительству. В аграрном вопросе важной новеллой стало признание Р. Дмовским того, что аграрный вопрос в Польше существует, «и малоземелье является язвой нашей жизни»<sup>2</sup>. В остальном позиция коло не изменилась, может быть, только В. Грабский утверждал право на самостоятельность Польши в аграрных делах ссылкой на польскую самобытность: «социальный наш строй не имеет никакой органической связи со строем России. ... социальный строй Царства Польского ближе к строю Франции, Австрии и любого западноевропейского государства, чем к строю России»<sup>3</sup>. Весьма любопытно, что главный идеолог коло Дмовский поставил аграрный вопрос в связи с общими демократическими преобразованиями: «Аграрный вопрос может быть разрешён и основания аграрной реформы могут быть применены только после издания и введения в исполнение законов об общих гражданских свободах — о равноправии национальностей и вероисповеданий, наконец, после устройства во всей империи широкого местного самоуправления и законного установления взаимных отношений между его учреждениями и административными властями»<sup>4</sup>. Ему вторил Кониц: «Поляки боролись всегда не только за свою, но и за чужую свободу, и потому они и ныне настаивают на том, чтобы свободы добились не только они, но и все»<sup>5</sup>. Это были жесты в сторону оппозиции, но не революционной, а умеренной.

Из общих законопроектов коло всецело поддержало проект реформы местного суда с исправлениями думской комиссии (т.е. кадетский). Подчёркнутая лояльность по отношению к кадетам была вызвана, по-видимому, желанием

---

<sup>1</sup> Беседа с Дмовским // Речь. 1907. 12 апреля. С.3.

<sup>2</sup> Стенографические отчёты. Созыв II. Ч.1. Заседание 12. Стлб.742–743.

<sup>3</sup> Там же. Ч.2. Заседание 32. Стлб.68.

<sup>4</sup> Там же. Ч.1. Заседание 12. Стлб.747.

<sup>5</sup> Там же. Ч.2. Заседание 43. Стлб.921.

коло заручиться их поддержкой и провести через Думу чисто «польские» законопроекты. Движение поляков навстречу было отмечено кадетами. Так, при обсуждении бюджета на 1907 г. утверждалось, что Польша платит 39% налогов на землю, собираемого со всей европейской части империи, поэтому его размер надо уменьшить<sup>1</sup>. Но далее отдельных жестов речь всё-таки не шла о союзнических отношениях, какие кадеты поддерживали с другими национальными фракциями (например, с мусульманской фракцией или еврейской группой).

Однако позицию амбивалентности коло выдержать не сумело. Серьёзный удар по ней нанёс зурабовский инцидент. 16 апреля 1907 г. на закрытом заседании Думы, обсуждавшей размер контингента новобранцев для армии (того самого, который коло в конечном итоге поддержало), выступил социал-демократ А.Г. Зурабов, заявивший о том, что русская армия всегда будет терпеть поражения на Востоке. Резкие слова депутата вызвали шквал негодования на скамьях правых и резкое недовольство правительства, почти в полном составе во главе с премьером присутствовавшим на заседании. Инцидент был настолько серьёзен, что вопрос стоял о немедленном роспуске Думы. Решение надо было принимать немедленно. Кадеты быстро выяснили обстановку и поняли, что за удаление Зурабова из заседаний им не собрать большинства: «за», кроме них, голосовали бы только правые и центр, поляки, чья позиция приобрела решающее значение, отказались от участия в голосовании<sup>2</sup>. Получалось, что они приняли сторону революционных партий. Благодаря удачным действиям председателя Думы Ф.А. Головина скандал удалось замять, но он засвидетельствовал, что кадеты и коло — не союзники.

Интересно отношение коло к революционному движению. С одной стороны, поляки прямо не осуждали его, признавая закономерность выступлений против правящего режима. Но с другой, они объявляли его реакцией на текущую политику правительства, являвшемуся наследием прошлого, намекая тем самым на ненормальность этого революционного движения в новых условиях и его связь

---

<sup>1</sup> Приложение к докладу по параграфу I отдела обыкновенных расходов по государственной росписи на 1907 г. // Российская Национальная библиотека (РНБ). Основной русский фонд. Сборник материалов, напечатанных во время сессии Государственной думы второго созыва. Л.784–790. По подсчётам самих поляков, оглашённых несколько позже, уже в III Думе, они платили поземельного налога примерно в 10 раз больше, чем население русских губерний, а на сельскохозяйственные нужды получали пособий в 150 раз меньше, чем они (Стенографические отчёты. Созыв III. Сессия 2. Заседание 74. Стлб.269).

<sup>2</sup> Записки Ф.А. Головина // Красный архив. 1926. №6 (19). С.144; Маклаков В.А. Вторая Государственная дума. London, 1991. С.181.

исключительно с действиями данного кабинета<sup>1</sup>. В начале апреля 1907 г. коло решило поддержать идею думского законопроекта об амнистии<sup>2</sup>.

Равноудалённость от всех оказалась проигрышной для коло позицией, исходя из его целей. Во II Думу поляки вошли уже не только с декларацией, но и с проектами нескольких законов, в том числе об автономии Польши, о реформе государственной школы. Главный для поляков законопроект — основных положений об автономии Царства Польского был внесён в Думу 10 апреля 1907 г. за подписью 46 депутатов. Эти положения в значительной степени были основаны на опыте существования Галиции в составе Австро-Венгерской империи<sup>3</sup>. Предполагалось восстановление Царства Польского в границах 1815 г. как составной части Российской империи. В ведение поляков передавались все внутренние дела, восстанавливался сейм, правительство, собственный суд, бюджет. У имперского центра оставалась армия и международные дела, экономическое пространство (тарифы, деньги) было общероссийским. Законопроект о языке преподавания в учебных заведениях и о частичном преобразовании управления учебной частью был заявлен в Думе 12 мая 1907 г. за подписью 46 депутатов. Согласно нему предполагалось ввести во всех учебных заведениях Польши преподавание на польском языке. Для национальных меньшинств, в том числе и русских, допускалось создание национальных учебных заведений с преподаванием на родном языке. Русский язык обязательно изучался в средних учебных заведениях (всё это не касалось частных школ). В развитие этого порядка коло 2 июня внесло ещё два законопроекта. Один из них касался языка преподавания в начальной школе. 40 депутатов коло предлагали избирать основной язык по требованию родителей, русский язык как обязательный вводился со второго года обучения. Второй законопроект за подписью 39 депутатов предусматривал введение польского и литовского языков в начальных и средних учебных заведениях 9 западных губерний, если число учащихся поляков или литовцев достигало 5% и они высказывали такое желание. В отношении польской школы было предпринято ещё несколько более детальных инициатив. Однако ни один из законопроектов не был принят Думой — до их рассмотрения дело просто не дошло.

В III Думе численность коло значительно уменьшилась. Избирательный закон 3 июня 1907 г. сократил число депутатов от Польши с 36 до 14, 2 из которых

---

<sup>1</sup> Стенографические отчёты. Созыв II. Ч.2. Заседание 40. Стлб.758.

<sup>2</sup> Государственная дума. 1907. 4 апреля. С.3.

<sup>3</sup> Павельева Т.Ю. Польская фракция в Государственной думе // Вопросы истории. 2000. №3. С.115.

представляли русское население. Официально в его состав входило не более 11 депутатов, с учётом поддержки соплеменников, избранных от других западных губерний, оно могло достигать до 18–19 человек<sup>1</sup>. Однако они не выступали как единая фракция. Изменилась и тактика коло. Если в I и II Думах его целью было достижение польской автономии, то в III Думе эта цель уже не ставилась. Дмовский объявил, что поляк, «если он даже носит в душе идеал независимой Польши в будущем, то это ему не мешает быть хорошим гражданином русского государства, не может мешать стремиться к укреплению этого государства, если это государство будет оберегать его интересы»<sup>2</sup>. Польский вопрос отныне рассматривался в коло не под углом исключительно национальных вождедений, а с учётом российских государственных интересов. «Мы ничего больше не требуем, как того, чтобы на польский вопрос смотрели исключительно с точки зрения здравого понимания русских государственных интересов»<sup>3</sup>. Для проведения реформ поляки были готовы работать вместе с противниками польской автономии. Если к этому добавить ещё и решительное отмежевание Дмовского от кадетов, то можно предположить, что новая тактика коло состояла в отказе от гласного достижения автономии в обстановке националистической и право-октябристской Думы и приглашение к сотрудничеству с октябристским большинством и — соответственно — с правительством. Действительно, в выступлениях депутатов кола доказывалось, что все обрусительные меры, предпринимаемые властью, ведут не к их цели, а к созданию в Польше недовольства властью. Например, в школьном деле<sup>4</sup>. Разумеется, коло не стало защитником самодержавия, просто доказывало, что своими антипольскими действиями правительство поступает неразумно, не только не достигая желаемого, но и усиливая сопротивление. Далеко не все члены коло поддерживали позицию Дмовского: Т.Ю. Павельева пишет о серьёзных внутренних разногласиях в коло в 1909 г., выплеснувшихся и в печать, но тут же замечает, что на официальных выступлениях представителей фракции в Думе это не отражалось<sup>5</sup>. Действительно, выступления в общем собрании Думы показывают скорее, как члены коло повторяли формулировки Дмовского. Так, коло голосовало за утверждение бюджета

<sup>1</sup> Там же. С.116. Возможно, данные исследовательницы преувеличены, так как по свидетельствам самих членов кола, в III Думу от 6 западных губерний не прошёл ни один поляк (Стенографические отчёты. Созыв III. Сессия 3. Заседание 104. Стлб.932).

<sup>2</sup> Там же. Сессия 1. Заседание 58. Стлб.2708.

<sup>3</sup> Там же. Сессия 1. Заседание 58. Стлб.2710.

<sup>4</sup> Там же. Сессия 1. Заседание 81. Стлб.2469–2478.

<sup>5</sup> Павельева Т.Ю. Указ. соч. С.117–118.

в целом («не желая, во-первых, отказывать русскому народу в его насущных и культурных потребностях, и, во-вторых, не желая портить торжественного настроения, вызванного сведением бюджета без дефицита»), но против сметы МВД преимущественно из-за статей, которые шли на содержание «центральных и местных административно — полицейских учреждений», а также из-за стремления продемонстрировать своё негативное отношение к политике правительства<sup>1</sup>. Тем не менее, разногласия внутри коло оказались серьёзными, они заставили Дмовского добровольно сложить с себя депутатские полномочия 23 января 1909 г.

Серьёзным испытанием для поляков явились два законопроекта, обсуждённые в III Думе — о выделении Холмщины и о введении Городового положения (городского самоуправления) в Царстве Польском. Вопрос о выделении Холмской губернии из состава Царства Польского впервые был поднят ещё в начале 1880-х гг. Н.П. Игнатьевым. Затем об этом же заговорил К.П. Победоносцев. Наконец, в 1896 г. мысль эта получила одобрение Николая II. Однако Особое совещание, созванное по этому вопросу в 1902 г., отклонило идею, а Совет министров, обсуждавший 4 апреля 1906 г. всё ту же проблему, оставил её открытой. Однако Николай II 1 июля 1906 г. поручил Совету министров вновь вернуться к этому вопросу и рассмотреть очередную петицию 30 «депутатов Холмского края» о превращении нескольких восточных уездов Седлецкой и Сувалкской губерний с преобладающим православным населением в самостоятельную губернию. Попытка П.А. Столыпина протестовать успеха не имела. Большую роль в этом сыграли систематические обращения епископа Евлогия, главы созданной в 1905 г. Холмской епархии, неоднократно поступавшие как в Синод, так и самому царю. Разумеется, правительству пришлось подчиниться и признать выделение Холмской губернии неотложным делом. Разработка соответствующего законопроекта потребовала более двух лет. Сама цель — защита православного населения от «полонизации» посредством изменения административного деления была ложной: все предыдущие успехи в борьбе за «русские начала» достигались лишь энергичной деятельностью без выделения новых административных единиц. Тем не менее, Министерство внутренних дел попыталось придать этому решению хотя бы здравый смысл. Столыпин предлагал упразднить Седлецкую губернию и создать Холмскую, но уже не в составе Царства Польского (т.е. все особенности польского законодательства

---

<sup>1</sup> Стенографические отчёты. Созыв III. Сессия 3. Заседание 52. Стлб.1882; Сессия 4. Заседание 67. Стлб.2995.

на нее не распространялись бы). По свидетельству ближайшего помощника Столыпина С.Е. Крыжановского, «мера эта имела целью установление национальной государственной границы между Россией и Польшей на случай возможного в будущем предоставления отдельным местностям упомянутой выше самостоятельности в устроении местных дел, которая в применении к Польше могла выразиться в даровании царству автономии. ... Сообразно этой мысли, при составлении проекта в состав Холмской губернии выделены были лишь местности, в которых население сохранило русский национальный облик и в большинстве было православным на деле, а не только на бумаге, и где, следовательно, при помощи некоторых мер культурно-административных можно было закрепить его связь с Россией. Те же местности, в которых население было ополячено и окатоличено явно или тайно, были оставлены за Польшей. Последовательность требовала, чтобы одновременно с сим к Польше были прирезаны, взамен отделяемых частей Седлецкой и Люблинской губерний, прилегающие части Гродненской губернии, а именно некоторые местности Бельского и Белостокского уездов, населенные поляками, чем достигалась бы основная цель размежевания. Но Столыпин на это не решился, опасаясь подвергнуться нападкам со стороны националистических кругов, которые сочли бы недопустимой уступку Польше земель, официально к ней не принадлежавших». Документы подтверждают: ведомство действовало честно, стремилось опираться на максимально надёжные данные при разделе. А резать приходилось не только по уездам — даже по гминам. Однако после внесения законопроекта в Думу 19 мая 1909 г. он был передан в комиссию и вызвал сильную критику со стороны национальной фракции. Депутаты принялись «расширять пределы будущей губернии, включая в состав ее разные местности, связанные с тем или иным историческим воспоминанием, начиная от времен Владимира Святого. И так как на стороне этой мысли стояло большинство членов комиссии, члены же ее поляки, заняли в отношении проекта позицию непримиримую вообще, то все предложения принимались. Мне (С.Е. Крыжановскому — И.Л.) пришлось присутствовать в комиссии, представляя правительство, но так как от Столыпина даны были указания не идти вразрез с желаниями националистов, то приходилось молчать, и в результате намечены были такие границы новой губернии, при которых русское, т.е. православное население оказалось в меньшинстве, не превышавшем 30%. И так как в составе большинства находились все экономически влиятельные группы и многочисленные в том крае польские помещики, то русское меньшинство было осуждено на постепенное поглощение. Таким образом, весь смысл меры, с какой бы точки зрения

на нее не смотреть, сводился на нет, и она как бы выражала собою лишь одно стремление во что бы то ни стало урезать пределы Польши»<sup>1</sup>.

Общему собранию депутатов доклад комиссии был представлен 7 мая 1911 г. Обсуждение его началось позже, 25 ноября 1911 г. Дискуссия четко определила позиции фракций: в поддержку законопроекта выступили октябристы (за исключением небольшой группы) и все, кто был правее их; против — кадеты и другие оппоненты правительства слева. После обсуждения в законопроект был внесен ещё ряд изменений, в частности сохранены некоторые особенные законы, новую губернию передали в прямое подчинение министру внутренних дел и некоторые другие<sup>2</sup>. Законопроект прошел Думу 26 апреля 1912 г. большинством в 156 голосов против 108; 4 мая 1912 г. он был передан в Государственный совет, а уже 23 июня 1912 г. утвержден царем<sup>3</sup>. Выделение из состава польских земель новой губернии и ее изъятие из состава Царства Польского означало со стороны как правительства, так и законодательных палат прямой шаг в направлении конфликта с поляками. Все жесты коло в адрес правительства и думского большинства (надо признать, слабые) были, разумеется, проигнорированы.

Также важное значение имел правительственный законопроект о введении городского положения в Польше. Поляки признавали, что такой закон очень нужен им, давно ждали его. Его суть состояла в создании курий, ограничивающих возможности евреев на участии в городском самоуправлении и дающих преимущество русским. Яронский от имени коло заявил: поляки понимают, что правительство создаёт преимущество русским и ограничивает евреев. Но они голосуют «за» (в том числе и за курии, хотя ранее, когда речь шла, к примеру, о западном земстве, были против них), потому что иначе он вообще не пройдет. Примечательно его признание, выдававшее солидарность поляков с правительством по вопросу о куриях: «Мы сознаём, что в настоящий момент вводить самоуправление в наших городах без ограничения для евреев было бы совершенно немислимым»<sup>4</sup>. Законопроект о городском положении в Польше подчеркнул политическое лицо коло. Депутаты-поляки были прежде всего националистами, партийная принадлежность занимала у них в Государственной думе подчинённое место. Национализм поляков носил весьма консервативный характер и состоял в защите существовавшего уклада жизни. Отношение к любым реформам или институтам рассматри-

---

<sup>1</sup> Крыжановский С.Е. Воспоминания. [Берлин, 1938]. С.133–136.

<sup>2</sup> Обзор деятельности Государственной думы третьего созыва. 1907–1912 гг. Часть 2. Законодательная деятельность. СПб., 1912. С.21–25.

<sup>3</sup> Аврех А.Я. Столыпин и третья Дума. М., 1968. С.147.

<sup>4</sup> Стенографические отчёты. Созыв III. Сессия 5. Заседание 28. Стлб.2499–2500.



валось с точки зрения охранения этого уклада. В этом поляки разительно отличались от других национальных групп, например, еврейской или мусульманской, в которых политические вопросы были всё-таки на первом месте. Однако, если выделение Холмской губернии стало законом, то городское положение в Польше нет. В марте 1912 г. Дума передала его в Государственный совет, откуда он вернулся с рядом поправок, которые вызвали категорический протест коло. В частности, речь шла о запрете польского языка для использования даже в прениях в городских думах, а также о повышении ценза для участия в выборах. Если правительственный законопроект поляки были готовы принять, то изменения, внесённые Государственным советом, оскорбили их «народное достоинство» и допустить это коло категорически отказалось<sup>1</sup>. Любопытно, что первоначально, на заседании фракции, поляки были готовы допустить изменения, сделанные Государственным советом, за исключением языка, да и то потому, что считали практически невозможным изгнать родной язык из местного самоуправления<sup>2</sup>. Объяснение этому весьма простое: Государственный совет оставил главное — куриальную систему и серьёзное ограничение в правах евреев. Но демонстрировать свою позицию публично они не отважились. Поэтому коло обратилось к фракциям прогрессистов, октябристов и кадетов с просьбой принять законопроект о городском положении в Польше в редакции Государственного совета при условии, чтобы поляки голосовали против. Однако три фракции оставили инициативу за поляками, заявив, что они готовы проголосовать солидарно с коло (кадеты, правда, сочли изменения верхней палаты неприемлимыми в принципе)<sup>3</sup>. Поэтому через несколько дней поляки решительно заявили о неприятии законопроекта, о необходимости возвращения к правительственному варианту, сославшись на притеснение польского языка и снабдив свою декларацию изрядной долей критики правительства. Пытаться провести нужный законопроект с антисемитским духом голосами октябристов и правых было недопустимо даже для коло. Тем не менее, евреев, по их мнению, следовало ограничить в правах участия в самоуправлении потому, что «в большинстве польских городов» иначе «получится не польское, а еврейское самоуправление»<sup>4</sup>. Законопроект этот так и не прошёл через палаты, но не благо-

---

<sup>1</sup> Там же. Созыв IV. Сессия 1. Заседание 65. Стлб.971–972.

<sup>2</sup> Донесение Л.К. Куманина из Государственной думы 3 мая 1913 г. №222 // Вопросы истории. 1999. №6. С.22.

<sup>3</sup> Донесение Л.К. Куманина из Государственной думы 4 мая 1913 г. №228 // Там же. С.25

<sup>4</sup> Донесение Л.К. Куманина из Государственной думы 7 мая 1913 г. №230 // Там же. С.26–28.

даря коло, а потому что октябристы и националисты не оказались заинтересованы в его немедленном осуществлении. То есть, курс коло на разрыв с кадетами и сближение с октябристско-умеренно-правым большинством и опосредованно — правительством обернулся лишь неудачами.

Несмотря на незначительность представительства Польши в народном представительстве, выборы в IV Думу показали рост интереса к ней польского общества. Отчасти он был связан с надеждами на успех прогрессистов, которые несколько потеснили лидерство октябристов, а также злорадство по поводу скромного результата кадетов. По-прежнему доминирующая в Польше национально-демократическая партия шла на выборы под лозунгом борьбы с евреями. В Варшаве от имени сторонников Дмовского распространялось воззвание: «Соотечественники! Поклянемся, что если евреи победят при выборах, не будем покупать у них ни на грош»<sup>1</sup>. IV Думе численность коло ещё уменьшилась. В него входило всего 9 депутатов. Коло состояло исключительно из национал-демократов. Поляки проиграли выборы в Лодзи (избран еврей М. Бомаш) и Варшаве (поляк Е. Ягелло, избранный голосами выборщиков-евреев, примкнул к социал-демократам). До начала войны поляки по-прежнему занимали умеренную позицию в отношении правительства. Критикуя власть за отсутствие подвижек в польском вопросе, они всё-таки ждали от неё реформ, в частности, надеялись добиться принятия городского положения в правительственном варианте, а также земского самоуправления<sup>2</sup>. В кулуарах Думы после оглашения В.Н. Коковцовым правительственной декларации Дымша говорил более откровенно, что по внутренней политике «мы имеем несомненный плюс». Устраивала коло и внешнеполитическая деятельность. Только обещание распространить на Польшу земское самоуправление казалось явно недостаточным: «Это несомненный регресс даже по отношению к столыпинской декларации»<sup>3</sup>. Поляки желали получить ещё «признание польской народности и польского языка»<sup>4</sup>. Коло по-прежнему не вспоминало требование автономии и было готово довольствоваться реформами. Но констатируя, что правительство совершенно не склонно менять свою политику в отношении Польши, депутаты выражали опасения, что

<sup>1</sup> Варшавский генерал-губернатор — А.А. Макарову 6 ноября 1912 г. // РГИА. Ф.1327. Оп.2. Д.241. Л.26–27.

<sup>2</sup> Например, выступление М. Кинорского в ответ на декларацию кабинета (Стенографические отчёты. Созыв IV. Сессия 1. Заседание 8. Стлб.349–356).

<sup>3</sup> Донесение Л.К. Куманина из Государственной думы 5 декабря 1912 г. №80 // Вопросы истории. 1999. №2. С.15.

<sup>4</sup> Донесение Л.К. Куманина из Государственной думы 13 декабря 1912 г. №91 // Там же. С.20.

она может получить продолжение не в реформах, а в принятии антипольских мер. Своих законопроектов коло уже не предлагало. В выступлениях его членов звучали уже трагичные и истерические нотки: «если и теперь нет места для программы, приемлемой для польского общества, — не есть ли это признак, что вообще весь этот вопрос находится под сильным сомнением. Такое положение этого дела, конечно, влечёт за собою неизбежные исторические последствия, с которыми не может не считаться самым серьёзным образом польский народ»<sup>1</sup>. Малочисленность фракции не давала ей шансов даже на проведение запросов.

Несмотря на неудачи в III Думе, коло продолжало держаться прежней линии. От кадетов поляки предпочли резко отмежеваться, чем сорвали аплодисменты с правых скамей (редкий прецедент для предыдущих созывов)<sup>2</sup>. Возможно, такое отношение объясняется левением кадетской партии на фоне растущего антиправительственного движения, поляки же были совершенно не склонны следовать за ситуацией в России. Вряд ли бы они дождались результата, если бы не война и не поражения русских войск в 1915 г. Лишь продвижение немецких войск вглубь Польши заставило правительство объявить 19 июля 1915 г. о подготовке правил особого устройства Царства Польского (т.е. автономии, если избегать эзопова языка)<sup>3</sup>. Коло немедленно устами депутата Гарусевича выразило чувство «глубокой благодарности» Николаю II и подтвердило своё желание поддерживать войну до победы<sup>4</sup>. После этого о какой-либо оппозиционности поляков российскому правительству можно было забыть. К этому времени численность коло значительно уменьшилась — с 9 до 4 депутатов. Причины были разные: в июне 1914 г. от своих мандатов отказались М. Кинорский и И. Свежинский, в 1915 г. двое членов коло умерли (29 марта — И. Наконечный, 18 ноября — Г. Дымша), 12 сентября 1915 г. из состава коло был исключён М. Лэмпицкий. Депутаты коло не вошли в состав Прогрессивного блока, созданного в августе 1915 г. (как раз в эти дни немцы взяли Варшаву). Но коло вновь заявило о необходимости войны до победы, а успех немецкого оружия они использовали как повод напомнить, что «не надлежит откладывать оповещения точного определения нового устройства Царства Польского», что «Польша под скипетром русского царя будет пользоваться благами национальной и полити-

---

<sup>1</sup> Стенографические отчёты. Созыв IV. Сессия 1. Заседание 13. Стлб.832.

<sup>2</sup> Выступление Я. Гарусевича (Там же. Заседание 75. Стлб.2067–2068).

<sup>3</sup> Ему предшествовало создание специального совещания об устройстве Польши, в который наряду с министрами были включены и депутаты Думы (как бывшие, так и действующие) Гарусевич, Грабский, Дмовский, Дымша.

<sup>4</sup> Стенографические отчёты. Созыв IV. Сессия 4. Заседание 1. Стлб.86.

ческой свободы»<sup>1</sup>. Не поддержали поляки и ноябрьский 1916 г. «штурм власти» в Думе, ограничившись напоминанием о необходимости обнародовать будущее устройство уже Польского королевства, ссылаясь на немецкие обещания независимости Польши<sup>2</sup>. Удивительно, но к тому времени правые критиковали правительство значительно более резко, чем коло.

В целом политические позиции коло в I-IV Думах оказались нетипичны для других национальных фракций и групп, склонных к оппозиции власти. Коло, стремясь к независимой позиции, никогда не противостояло правительству, а со временем всё более стало прислушиваться к его точке зрения. Однако эта тактика как в I-II, так и в III-IV Думах не принесла полякам какого-либо успеха. Изменение позиции самодержавия по отношению к Польше (обещание автономии) было связано исключительно с Первой мировой войной.

---

<sup>1</sup> Там же. Сессия 4. Заседание 4. Стлб.250.

<sup>2</sup> Там же. Сессия 5. Заседание 7. Стлб.373–376.

## ЧАСТЬ IV. ДИАЛОГ РОССИИ И ПОЛЬШИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСТОРИИ ИСКУССТВ

**В. В. Прозерский**

Санкт-Петербургский Государственный университет,  
Санкт-Петербург, РФ

### ИМПЕРИЯ И АРХИТЕКТУРА

Прежде всего надо определить, что мы имеем в виду, говоря об империи. Как правило, под империей понимают государство, разделяющееся на метрополию и колонии. Империя отличается от обычного государства своими размерами, своей открытостью вовне, постоянной экспансией. Вместе с тем положительным моментом некоторых империй являлась их способность объединить разные народы, преодолеть их национальную изолированность, включить в более широкую целостность и приобщить окраины к культуре центра. Всеми этими особенностями отличалась Российская империя, возникшая в 1721 году на 109 году царствования дома Романовых, и развалившаяся в 1917 году.

На протяжении своей истории Российская империя вела три тотальных войны (не считая бесчисленных локальных войн на окраинах империи) — первая — Северная война при Петре I, вторая — Отечественная война 1812–1814 годов и третья — война 1914–1918 годов. Первые две войны были победоносными, а третья закончилась для российской империи катастрофой — подписанием капитулянтского Брестского мира с Германией и отказом от своего имперского прошлого.

Однако после поражения Германии в Первой мировой войне и окончания Гражданской войны в России, произошло восстановление территории бывшей Российской империи, (теперь уже именовавшейся СССР), присоединение к центральному ядру временно отпавших от него провинций (правда, уже не всех). Началась история второй Российской империи, которую по аналогии с первой — петровской империей — можно назвать ленинско-сталинской. Как

известно, эта империя просуществовала до декабря 1991 года, а теперь, после ее развала, некоторые круги общества испытывают ностальгию по имперскому прошлому и мечтают о третьей империи.

Данный вопрос мы обсуждать не будем, он выходит за рамки статьи. Разговор в ней пойдет только о второй империи. Используя теорию ритмов истории и воспроизведения «в снятом виде» на более высоких этапах развития некоторых черт более ранних эпох, посмотрим с этой точки зрения на культуру того времени, когда вторая империя достигла своего апогея — 30-е — начало 50-х годов

Для того, чтобы лучше понять ее особенности и осмыслить происходившие в ней процессы, нам придется сначала заглянуть вглубь человеческой истории. Обратимся к архетипической матрице цивилизации, которая является калькой мифологической модели мира, имевшей в архаическом сознании вид мирового древа или мировой горы, обладающей трехчастным строением. На вершине горы живут боги — здесь зона сакральности, у подножия люди — профанная зона, под землей скрыты хтонические божества, — темные силы.

Первые цивилизации — древневосточные монархии, названные речными, или гидравлическими, были построены по образцу такой модели. Пирамида государственной структуры увенчивалась теми людьми, которые считались приближенными к богам, поэтому в сознании основной массы населения они наделялись частицей божественной воли и мудрости. Ими были служители храмов — жрецы, вначале сосредоточившие в своих руках сакральную и светскую власть, затем разделившие эту власть со светскими правителями — царями, также обладавшими божественной харизмой. Центральная часть — зона свободных людей, а низшая часть, коррелирована с темными силами в мировой горе — она населена «темным людом» — общинниками и рабами, предоставлявшими государству энергетические людские ресурсы и рабочую силу. На мускульной энергии людей этой части общества базировалось создание сложнейшей ирригационной системы государств «речных цивилизаций». Трехчастная структура архетипической матрицы цивилизации сохранилась и в дальнейшем, она прослеживается в структурах средневековых городов и еще позже, хотя оказывает скрытой более поздними культурными слоями.

Теперь обратим внимание на такой факт как переворачивание этой цивилизационной матрицы, иначе говоря, социальной пирамиды. Обычно это происходило во время праздников, превращавшихся в карнавалы. После исследования М.М.Бахтиным средневекового и ренессансного карнавала, стало ясно, что в культуре существует ее постоянный двойник — контр-культура, что она — не

изобретение XX века, а неперенное оппозиционное начало устоявшейся цивилизации.

Достоинства и недостатки работы Бахтина уже достаточно освещены в литературе, и мы не будем на них останавливаться. Обратим внимание лишь на то, что в карнавале все культурные ценности переходят в свою противоположность: материально-телесный низ занимает место духовного верха, пластическая красота тела заменяется безобразным гротескным телом, святое осмеивается, а греховное приветствуется. Сейчас нам важно проследить связь карнавала и революции, эта тема уже освещалась в литературе, по ней существует целый ряд работ<sup>1, 2, 3, 4</sup>.

Дело не только в том, что революция сопровождается народными карнавалами, как это было, например, во времена Французской революции XVIII века или массовыми театрализованными действиями, как это происходило и у нас в первые послереволюционные годы, но, как отмечают исследователи, и саму революцию можно считать в каком-то смысле карнавалом. Как не раз бывало в истории, когда карнавал, в котором вся социальная и моральная система ценностей перевернута, начинал затягиваться, выходя за отведенные для него временные рамки, он перерастал в смуту, бунт, мятеж. Уже в Древнем Египте мы встречаемся с описанием такого «карнавала». О них повествует папирус времени перехода от Древнего царства к Среднему: жены вельмож стали служанками или блудницами, простолюдины заняли высшие должности. «Привратники говорят: «давайте чинить грабежи» <...> Знать сетует, а нищие веселятся. Вся страна утопает в грязи. В эти дни не увидишь людей в чистой одежде»<sup>5</sup>

Российский «карнавал» 1917 года, начатый сначала верхушкой общества, настраивавшей массы против царя и царской семьи и возбуждавший в стране смуту, закончился не только свержением императорской власти и провозглашением республики, но и осенним переворотом, направленным теперь уже против самих правящих классов. Как известно, «когда мятеж достиг удачи, он именуется иначе», то есть революцией. Революция приведет к тому, что было предсказано в Библии (евангелие от Матфея): «последние станут первыми», или (как эти

<sup>1</sup> Вершина В. А., Михайлюк А. В. О карнавальных истоках современной цивилизации // Докла. Збірник наукових праць з філософії та філології.- Вип. 2.- Одеса, 2002

<sup>2</sup> Гройс Б. Тоталитаризм карнавала // Бахтинский сборник.- Вип. 3. М.: 1997.

<sup>3</sup> Кантор В. К. Карнавал и бесовщина // Вопросы философии. М.: 1997 № 5.

<sup>4</sup> Магун А. Опыт и понятие революции // Новое Литературное Обозрение. М.: 2003. № 64.

<sup>5</sup> Мамфорд Л. Миф машины. М., Логос: 2001. с. 300.

слова переложены в революционном гимне) «кто был ничем, тот станет всем». Пирамида социальной структуры перевернется, чтобы встать на свое острие. Идея, овладевшая массами: объявить физический труд священным, а духовный — профанным, водрузить на место храма фабрику, а религию отринуть и храмы разрушить — станет реальностью.

Однако этот период всеобщего карнавала и веселья масс по случаю, казалось бы, осуществленной утопии скоро закончится. Находиться в неустойчивом положении, стоя на своей вершине, пирамида государственной власти долго не может, поэтому всё вернется в прежнее состояние, и функционирование архетипической матрицы цивилизации продолжится. Массы опять будут сброшены вниз, наверху останется государственный аппарат, но сохраняющий и пропагандирующий идеологию «массового человека».

Послереволюционная Россия встала перед проблемой: как построить новую государственную жизнь, кардинально отличающуюся от буржуазных образований современной Европы, при этом не имея для своего осуществления социально-политических образцов. Поиски новых государственных форм неожиданно привели к тому, что совершенно неосознанно такой строй, в котором происходит *огосударствление* всех сторон общественной жизни, стал воспроизводить определенные черты древневосточных монархий, уже сумевших продемонстрировать миру примеры тотально этатистского устройства общественной жизни.

В качестве примера всеобщей тотализации жизни можно привести время правления III династии города-государства Ура (середина третьего тысячелетия до н.э.). Причисленный к богам царь города-государства был верховным правителем, решающим вопросы войны и мира, верховным судьей, кумиром почитающего его народа, ставившего в храмах его статуи и приносившего им жертвы. Само же государство представляло собой единый хорошо налаженный механизм, в котором все люди исправно выполняли отведенные для них социальные функции. Чиновники и писцы вели учет хозяйства, регистрировали государственные доходы и расходы. Физический труд был повинностью не только рабов, но и свободных общинников, из которых составлялись многочисленные отряды, занятые строительством храмовых и гражданских сооружений, проведением оросительных каналов. Благодаря образцовому государственному порядку в Уре поддерживалось на высоком уровне ирригационное земледелие, были возведены величественные храмы и построены мощные оборонительные стены и крепости. Принципы этатизма, жесткой бюрократической организации общества, оставившие о себе память в виде гигантских сооружений, были распространены на всем Древнем Востоке и за пределами Шумера и в более позд-



ние времена. Можно вспомнить Египет, особенно во времена правления IV-VI династий (середина III тысячелетия до н. э.), отметившихся в истории строительством огромных усыпальниц-пирамид, а также грандиозные архитектурные памятники Вавилона.

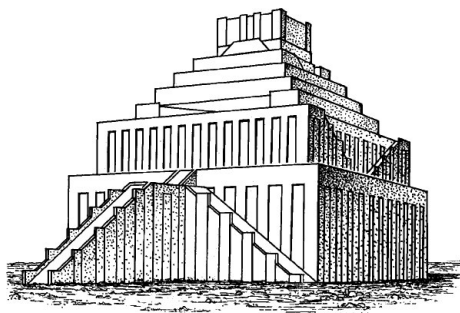
Такую организацию социальной жизни, где власти могут беспрепятственно использовать массы людей для осуществления государственных работ, Льюис Мамфорд назвал «мегамашиной». Необходимость мегамашины в древневосточных империях можно объяснить тем, что людям «речных цивилизаций» с величайшим напряжением сил приходится вести огромное количество земляных работ, чтобы обуздать ту реку, благодаря которой они живут, но от которой исходит и немало опасностей. Другим применением «мегамашины» была война. Бесперывно ведущиеся войны нужны были не только для расширения территории за счет завоеванных земель, но и для пополнения энергетических ресурсов, состоявших из живой человеческой силы рабов. (Других ресурсов энергии, кроме человеческой, эти цивилизации не знали).

Теперь обратимся к России времени ее превращения в СССР. Чем объяснить появление в ней «мегамашины», то есть тотального огосударствления всей жизни и превращения человека в функциональный компонент этой машины? Все причины перечислить трудно. Назовем одну из них: например, стремление осуществить задачи, с которыми не сумела справиться империя Романовых, за что она испытала горечь военных поражений в глобальной войне. Приходится признать, что петровская империя через 200 лет после своего основания из-за нерешенных внутренних противоречий и накопившихся проблем не вынесла напряжения «второй отечественной войны» (так неофициально именовалась война с Австро-Венгрией и Германией). Большевистское правительство, пришедшее на смену имперскому и недолго правившему страной буржуазно-демократическому, поставило задачу перестроить жизнь в противоположность существовавшему порядку, сменить прежний управленческий аппарат, вытеснить старую политическую элиту, создать новую художественную и научно-техническую интеллигенцию, а затем начать мощное наступление на индустриальном фронте, чтобы добиться в дальнейшем победы и на военных фронтах.

Тоталитарная империя, сложившаяся в 1922 году, прошла несколько стадий своего существования. Рассмотрим подробнее первую и вторую фазы, то есть 20-е годы, когда существовал культ Ленина (в основном посмертный), но не было еще культа Сталина, а также 30-е годы, когда сложился его прижизненный культ как вождя и отца советского народа, а затем и всех народов мира.

В 20-е годы структура власти тоталитарного государства еще не полностью определилась, была допущена в ограниченном объеме частная собственность и сохранялась иллюзия народно-массового управления государством. Тема массы, противопоставляемая личности, была главной в идеологии и искусстве 20-х годов. Ведущий идеолог того времени Н.И.Бухарин заявлял, что каждый человек обязан воспитать в себе чувство причастности к массе, стараться слиться с ней, а не быть в отрыве от нее. Одновременно в проповедях теоретиков «эстетики жизнестроения» и «производственного искусства» поднимались на щит архаические модели слияния искусства с ремеслом, а художников призывали бросить писать картины и идти на производство. В идеологии и поэзии Пролеткульта также воспевалась масса. Его видный теоретик А.Гастев понимал современное положение дел таким образом: «Мы идем к невиданно объективной демонстрации вещей, механизированных толп и потрясающей открытой грандиозности, не знающей ничего интимного и лирического»<sup>1</sup>.

Когда возникла идея строительства мавзолея Ленина, архитектор А.Щусев угадал, какая форма подходит для него больше всего. Хотя слово мавзолей происходит от названия усыпальницы царя Галикарнаса Мавсола (IV век до н.э.), построенной в стиле эллинистической архитектуры с использованием ордерной системы, Щусев отказался от ориентации на греческие формы архитектуры и выбрал древневосточные. И он не ошибся. Ощущение близости мировоззрения эпохи, в которую вступала страна, к древневосточной, оказалось настолько сильным, что проект Щусева был единогласно одобрен и архитектурными кругами и властями.



По проекту Щусева прототипом ленинского мавзолея стал храм Этеменанки («Дом основания неба и земли») — зиккурат в древнем Вавилоне, построенный в начале II тысячелетия до н.э. Его высота предположительно была 91 метр, он имел 7 ярусов, на вершине последнего располагался храм бога Мардука.

<sup>1</sup> Цит. по: Литературные манифесты от символизма до наших дней. М.: Издательский дом Согласие, 2000. 15 с.

Первоначальный мавзолей Ленина, внешне точно воспроизводивший черты храма Этеменанки, был значительно ниже его. Окончательная высота мавзолея, покрытого гранитными плитами в 1930 году, достигла 34 метров. Это, конечно, не очень высокое сооружение, поэтому его можно назвать “малым зиккуратом”. Но идея воздвигнуть вслед за малым зиккуратом большой зиккурат, превосходящий своими размерами все известные восточные образцы, осуществить то, что не сумели сделать народы древней Азии, — построить Вавилонскую башню, уходящую вершиной в небо, не давала покоя властям второй империи и лично Сталину.

Но прежде чем говорить о строительстве “новой Вавилонской башни”, попытка осуществить которую все-таки была предпринята в 30-е годы и закончилась такой же неудачей, как и предыдущая (библейская), необходимо выяснить некоторые моменты, связанные с идеологией 30-х годов, сказать о той атмосфере, которая в это время воцарилась в обществе и отразилась непосредственно на архитектуре.

Для сопоставления идеологической обстановки 20-х и 30-х годов воспользуемся некоторыми идеями книги В.З.Паперного “Культура два”<sup>1</sup>. Разделение на культуру один, хронологически совпадающую с 20-ми годами, и культуру два — время 30-х 40-х годов — основывается у Паперного на различии их визуальных признаков, которым соответствуют определенные изменения в политике и идеологии, произошедшие за это время в обществе. Для культуры один характерна горизонтальная форма в архитектуре, что соответствует центробежным тенденциям в обществе, неизжитому демократизму и устремленности в будущее. В противоположность этому, 30-е годы ознаменовались процессами централизации, закрепления населения за определенным местом жительства и определенными занятиями. Можно вспомнить, что при введении в СССР паспортной системы, крестьяне остались без паспортов и были, таким образом, прикреплены к колхозам, но крепостная система распространилась и на город: постепенные ограничения в праве перехода с одной работы на другую, вводившиеся на протяжении 30-х годов, закончились к итогу десятилетия изданием закона о полном запрещении увольняться с места работы по собственному желанию.

В противоположность горизонтальности мышления культуры один культура два демонстрирует вертикальность мышления. Победа вертикали над го-

---

<sup>1</sup> Паперный В.З. Культура два. Издательство Новое Литературное Обозрение, М.: 2011. 408 с.

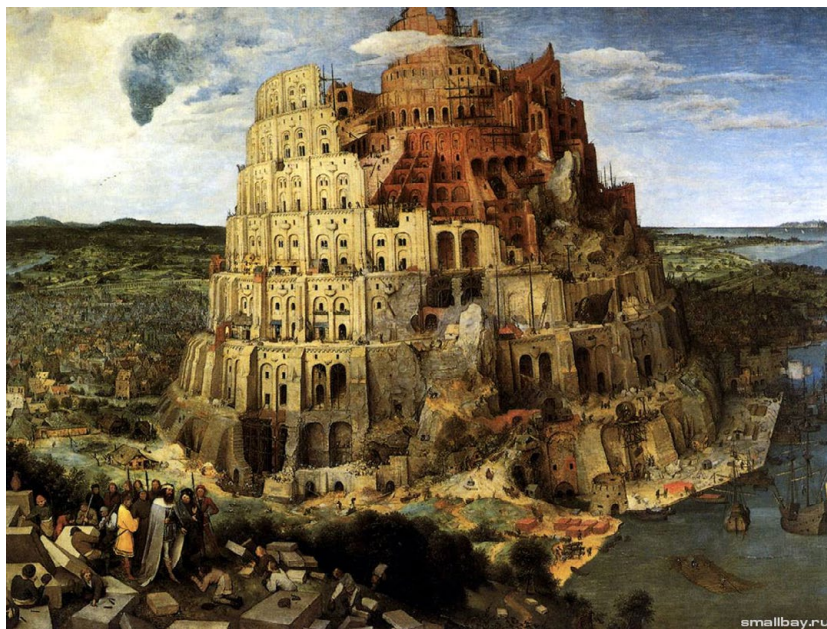


ризонтальностью свидетельствует об окончательном утверждении этатистской парадигмы, она создает архитектурный образ сложившейся иерархической системы в социалистическом обществе. Распределение мест в ней связывается с сакрализацией вышестоящей власти. Каждый партийный начальник наделяется харизмой всеведения и правом полного доминирования над нижестоящими. В таком случае человек, занявший высший пост в партийно-бюрократической иерархии, превращается в сакрального вождя. Можно привести визуальный материал, подтверждающий, что во второй трети XX века произошло возрождение древневосточного отношения к вождю как божественной персоне. Соответственно, изображение его строилось по правилам иконографии древневосточного изображения фараонов.

На плакате В. Дени и Н. Долгорукова 1939 года: «Духом Сталина крепка наша армия и наш народ» колоссальная фигура Сталина, вырастающая из-за горизонта, оказывается выше кремлевских башен, и её темный силуэт заслоняет собой небо. У ног вождя движутся безликие толпы народа и катятся крошечные колесницы XX века — танки.

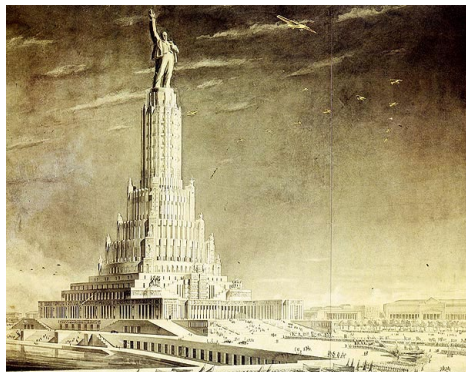
С иерархией связаны и эстетические критерии. Более красивым считается то, что расположено на более высокой ступени иерархической лестницы, а самое прекрасное — находится на самом вершине. Теперь становится понятным, зачем была предпринята попытка строительства Дворца Советов, по своей архитектурной форме напоминающего облик Вавилонской башни, как он запечатлелся в сознании многих поколений. Прекрасно выразил этот образ в своей живописи Питер Брейгель.

Не случайно и место, выбранное для строительства этого большого зиккурата, а именно — место, которое занимал снесенный в 1931 года самый большой собор Российской империи храм Христа Спасителя. Это означало, что строящееся сооружение имеет не только светский, но и религиозный характер и утверждает новую веру взамен поверженной — христианской. Дворец, спроектированный Иофаном, Щуко и Гельфрейхом как многоярусный пьедестал памятника Ленину, должен был достигать 300-метровой высоты, а увенчивающая его сто-



метровая статуя Ленина с поднятой рукой достигнуть отметки в 415 метров, что на 15 метров превысило бы самое высокое в то время здание в мире — Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке. Высказывались опасения, что статуя Ленина будет часто закрываться туманами и нависающими кучевыми облаками, но они были отвергнуты, как не имеющие силы, ибо имплицитно подразумевалось, что воздвигнута статуя нового бога, и, если она будет парить в облаках, то это будет придавать ему еще больше мистической силы.

Дворец проектировался с расчетом на человека массы. Надо помнить, что Сталин хотел иметь дело с массой, а не с личностями. Он проводил планомерную политику устранения личностей из своего окружения. Сначала им была уничтожена вся партийная верхушка, сложившаяся еще при Ленине и способная составить ему оппозицию, затем были репрессированы кадры руководящих партийно-хозяйственных работников и лучший командный состав армии. Так слой за слоем он «обезвреживал» все лучшие силы народа, оставляя только массу, способную лишь к послушанию и восхвалению вождя.



Дворец Советов должен был поражать своей грандиозностью. По проекту арки цокольного этажа были так велики, что через них могли свободно проходить многочисленные колонны демонстрантов во время советских праздников и даже проезжать военная техника. Интерьеры Дворца были спроектированы с фантастическим размахом. Большой зал, рассчитанный на 22 тысячи человек, имел бы высоту 100

метров (то есть в нем мог бы целиком поместиться Исаакиевский собор), следующий за ним ярус, вмещавший малый зал, был рассчитан на 6 тысяч человек, а в поднимающихся над ним этажах предполагалось разместить палаты Верховного Совета, а над ними — зал президиума Верховного Совета. По всем ярусам планировалось расставить статуи, осуществлявшие план «монументальной пропаганды».

После закладки фундаментов начался монтаж каркаса Дворца, и к началу войны он достиг высоты в 7 этажей. На этом строительство самого фантастического здания в мире, восьмого «чуда света» закончилось и больше никогда не возобновлялось.

Зато в послевоенные годы по периметру Москвы выросли семь высотных зданий одинакового стиля, представлявших собой как бы несколько уменьшенные в величине и ослабленные в монументальном отношении потомки Дворца Советов. Для проектов московских высоток, так же как и для их «сказочного архетипа», был характерен безудержный декоративизм. Громоздкие, украшенные лепниной, колоннами и статуями фасады, огромные, декорированные редкими сортами мрамора вестибюли и фойе, в которых человек чувствует себя крайне неуютно, создавались только ради того, чтобы произвести дополнительные декоративные эффекты.

Черты архаического мировоззрения проявлялись не только в архитектурной гигантомании, ориентированной на древневосточные храмы и колоссальные статуи фараонов. Отметим еще такой момент. В мифологическом мышлении явления связываются между собой по принципу сопричастности (партиципа-



ции), что позволяет человеку чувствовать себя причастным ко всему пространству космоса и всем событиям, в нем происходящим. Это означает, что член племени, находясь в одном пространстве (профаническом), мог символически пребывать в другом — сакральном. Нечто подобное стало внушаться людям в 30-е годы. Так как Москва — это место пребывания великого вождя и учителя народов, она является центром, притягивающим к себе сердца трудящихся всей страны (более того — всего мира). Согласно принципу партиципации, жители столиц союзных республик, а за ними и других городов Союза, должны были увствовать себя также москвичами, а в городской архитектуре в той или иной

степени должно ощущаться присутствие Москвы. Поэтому в Ленинграде и других городах (в зависимости от меры их политической значимости) строились уменьшенные подражания московским высоткам.

Когда после войны возник «социалистический лагерь», харизма Москвы была распространена и на столицы входящих в него стран. Особенно ярким примером того, как далеко могла отбросить свою тень «сакральная» вертикаль московских высоток, является архитектурный комплекс Дворца Культуры и Науки в Варшаве, спроектированный архитектором Л.Рудневым, тем самым зодчим, кто строил высотное здание Московского университета (МГУ) на Ленинских горах. Неудивительно, что в варшавском комплексе, построенном в 1953–1955 годах, мы найдем много черт, напоминающих его московского собрата. Их объединяет ступенчатое построение композиции с выделением башни главного здания, высящейся над своими пристройками, повышенный орнаментализм интерьеров, с хрустальными люстрами и мозаичными панно, множество декоративных элементов и скульптур на фасаде. Ради справедливости надо сказать, что в оформлении фасадов были использованы также мотивы национальной польской архитектуры<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Стрельбицкая М.В. Высотный центр Варшавы — Дворец культуры и науки. Электронный ресурс [http:// www.muar.ru](http://www.muar.ru) Дата посещения 20.08.2012

Как предлагают считать некоторые архитектурные критики, ярусное построение объемов высотного здания визуально свидетельствует о наличии в обществе социальной иерархии, доминировании в нем бюрократических структур, субъекты которых как будто методично поднимаются по этажам к высшим должностям в государстве. Так это или не так, но все же надо помнить, что строительство высотки в стиле «социалистического реализма», резко отличающегося от стиля окружающей застройки (для польской архитектуры довоенного времени и первых послевоенных лет был характерен конструктивизм), имело прежде всего политическое значение (первоначально дворец даже носил имя Сталина), а затем уже те функции, для которых Дворец предназначался по своему наименованию — служить делу науки и культуры.

42-этажный небоскрёб Дворца культуры и науки вместе со шпилем имеет высоту 230 метров (почти столько же, сколько и его московский архетип — здание МГУ). Дворец выполняет функции офисного здания и выставочного центра, в нем размещаются правления ряда компаний, а также некоторые государственные учреждения. Кроме того, в его комплекс входят кинотеатры, музеи, книжные магазины, научные институты, бассейны, театр и конференц-зал, рассчитанный на три тысячи человек.

Дворец культуры и науки, вначале воспринимался жителями польской столицы как чуждый для страны архитектурный монстр, вставленный в центр Варшавы «рукой Москвы» (в 80-е — 90-е годы выдвигались даже предложения о его сносе, как типичного памятника эпохи тоталитаризма). Постепенно образ Дворца стал привычным и всё более адаптировался к жизни польской столицы. Тем более, что раньше, будучи единственной высоткой, его силуэт абсолютно доминировал в небе Варшавы, но теперь его окружают небоскребы современного типа, создавая интересное постмодернистское сочетание сталинского ар-деко с более новыми архитектурными формами. Весь ансамбль может быть воспринят как постмодернистская ирония и игра стилями. Немаловажным событием, способствовавшим вращению образа дворца в духовную атмосферу польской жизни, стал тот факт, что папа Иоанн-Павел II в один из своих приездов в Варшаву отслужил в нем молебен.

(Иллюстрации предоставлены автором)



М. Куля

Варшавский университет, Варшава, Польша

СОБОР СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ИСЧЕЗ,  
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ОСТАЛСЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ:  
УЛИЦЫ ВАРШАВЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ  
С РОССИЕЙ  
SOBÓR ŚW. ALEKSANDRA NEWSKIEGO PADŁ, PAŁAC  
KULTURY PRZETRWAŁ

Stosunek danego narodu do innego wyraża się nie tylko w manifestach i traktatach. Także w twórczości artystycznej, krążących opowieściach, stereotypach, legendach. Wyraża się też w różnych elementach wystroju miast — zwłaszcza elementach symbolicznych i takich, które z czasem stają się symbolami. Nieraz więc spotykamy «czyszczenie» miast z symboliki obcej lub uznanej za obcą w momentach emancypacji narodowej kraju dotychczas słabszego, także przy dekolonizacji oraz przy wyzwoleniu z innych form niewoli narodowej. Wymianę symboliki obserwuje się również w wypadkach spontanicznej bądź wymuszonej wymiany ludności na danym terenie lub w sytuacji zmiany ustroju. Nieraz takie zmiany następują szybko po przemianie politycznej, nieraz z opóźnieniem. By dać przykład: w architekturze i urbanistyce Seulu jeszcze dziś eliminuje się ślady dominacji japońskiej.

W niniejszym artykule postaram się przedstawić zmiany symboliki ulic w Warszawie, które miały podkreślić ustanie dominacji rosyjskiej bądź sowieckiej<sup>1</sup>. W dziejach

<sup>1</sup> Poniższa refleksja jest bliska w podejściu do idei wieloletniego projektu «Polskie i niemieckie miejsca pamięci» (pełna nazwa projektu: «Polskie i niemieckie kultury pamięci w historii *longue durée*»), realizowanego przez Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie oraz Deutsches-Polen Institut w Darmstadtzie, pod kierunkiem profesorów Hansa Henninga Hahna oraz Roberta Traby. Rezultaty badań prowadzonych nad polskimi i niemieckimi miejscami pamięci mają być opublikowane w czterech tomach, z których dotychczas ukazał się jeden: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 3: Paralele, red. Hans Henning Hahn, Robert

miasta miały miejsce dwie fale działań w tym kierunku: po odzyskaniu niepodległości oraz po upadku komunizmu. Wyodrębnienie rozważanego zagadnienia nie jest łatwe, ponieważ trudno jest oddzielić zmiany symboli, akcentujące uwolnienie się od obcej dominacji, od działań akcentujących własną tożsamość lub/i zmianę ustrojową. Postaram się jednak zająć zmianami, które kierują myśl najbardziej bezpośrednio ku Rosji. Szerzej o zmianach symbolicznych elementów zagospodarowania Warszawy pisałem w innych miejscach<sup>1</sup>.

\*\*\*

W XIX w. Warszawa była miastem nie tylko zdominowanym przez Rosjan, ale zaludnionym przez znaczną ich liczbę. Rosyjski charakter miasta zaznaczał się więc silnie. Kres temu przyniosło odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. Nieco wcześniej i wówczas przeszła przez stolicę fala spontanicznego usuwania np. rosyjskich szyldów sklepowych. Radykalnie zmniejszyła się liczba cerkwi, zniknęło wiele elementów dekoracyjnych we wschodnim stylu. Zmieniono liczne nazwy ulic — i to zmieniono w sposób znaczący (Petersburską i Moskiewską na ich łącznej długości na Jagiellońską; Fiodora Berga, namiestnika Królestwa Polskiego, na Traugutta).

Niektóre z sygnalizowanych zmian następowały nie tylko spontanicznie, lecz spektakularnie. Charakterystycznym posunięciem było rozebranie na dzisiejszym pl. Dąbrowskiego pomnika Wierności — wystawionego przez zaborcę ku czci polskich generałów, którzy nie opowiedzieli się po stronie Powstania Listopadowego. Wtedy taki pomnik musiał wzbudzać szczególną niechęć. Dziś zresztą też o wierności niektórych Polaków carowi mówi się rzadko, podobnie jak o zwyczajnej emigracji zarobkowej Polaków do Rosji, czy o Polakach służących w carskiej armii i w administracji cywilnej, studiujących tam itd.

Najbardziej spektakularnym działaniem związanym z odzyskaniem niepodległości było rozebranie soboru św. Aleksandra Newskiego — dominującej budowli w samym centrum miasta. Został on zbudowany w latach 1894–1912 na pl. Saskim (obecnie Pił-

---

Traba, Scholar, Warszawa 2012. Zbyteczne dodawać, że projekt polsko-niemiecki jest nieporównanie obszerniejszy w zamierzeniu oraz szerszy z punktu widzenia rozpatrywanej problematyki.

<sup>1</sup> Marcin Kula, Kamienie mówią — ale to, co my chcemy powiedzieć, w: *Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci prof. Mirosława Francicia*, red. Adam Walaszek, Krzysztof Zamorski, Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagellonica», Kraków 2005, s. 35–55; to samo szerzej: *Messages of Stones. The Changing Symbolism of the Urban Landscape in Warsaw in the Post-Communist Era*, *Trondheim Studies in East European Cultures and Societies in the Post-Communist Era*, no 20, 2007.

sudskiego). Jego 70-metrową dzwonnice rozebrano w 1921 r., sam zaś sobór w latach 1924–1926. Były propozycje przekształcenia soboru na kościół katolicki. Stefan Żeromski proponował umieszczenie w budynku soboru muzeum martyrologii narodu polskiego. Zarówno budowla, jak jej rozebranie miały charakter na tyle symboliczny, że cenzura w PRL nie przepuszczała informacji na ten temat — choć komunizm był podobno antycarski i antyreligijny.

Co pozostało do dziś z Warszawy zdominowanej przez Rosjan? Zostały przede wszystkim groby. Wciąż istnieje w stolicy duży Cmentarz Prawosławny. Służy on oczywiście dzisiejszym mieszkańcom miasta tego wyznania, ale w przeważającej mierze mieści groby stare. Stopniowo staje się katolickim z uwagi na nikłość współczesnej warszawskiej wspólnoty prawosławnej. Z jej punktu widzenia powstanie części katolickiej ma jednak tę dobrą stronę, że dzięki licznym nowym grobom cmentarz nie ulega zapomnieniu. Co ciekawe, zarząd Pałacu Kultury i Nauki, czyli symbolu stalinowskiej dominacji nad Polską i Warszawą, o którym niżej, niedawno zatroszczył się o groby Rosjan, którzy zginęli w wypadkach zaszłych podczas realizacji tej inwestycji i zostali pogrzebani właśnie na Cmentarzu Prawosławnym.

Po rosyjskiej Warszawie pozostały dwie cerkwie (w początku XX w. było ich 31). Jedna jest umiejscowiona centralnie (cerkiew św. Marii Magdaleny, pełniąca funkcję katedry prawosławnej). Druga, św. Jana Klimaka, funkcjonuje na wspomnianym Cmentarzu Prawosławnym. Istnieje też kilka kaplic prawosławnych — w obiektach zamkniętych dla szerszej publiczności. Mówi się o budowie nowej cerkwi — garnizonowej, dla prawosławnych żołnierzy Wojska Polskiego. Sprawa wywołała dyskusje, zarówno z uwagi na planowaną lokalizację, jak motywowane politycznie. Budowę zaplanowano na Polu Mokotowskim, które wielu z nas pragnie zachować jako przestrzeń zieloną i rekreacyjną. Pewna liczba reprezentantów prawicy występuje natomiast przeciw projektowi z różnych powodów, m.in. finansowych. Co by nie było, ostatnio (pisa-  
ne w marcu 2011 r.) sprawia wrażenie, że projekt upadnie z braku pieniędzy.

Z czasów rosyjskiej dominacji pozostała też — drobiazgi! — Cytadela Aleksandrowska, wzniesiona na rozkaz Mikołaja I po upadku Powstania Listopadowego. Także grupa fortów, okalających ją funkcjonalnym pierścieniem. Co ciekawe, Cytadela prawie nie odegrała symbolicznej roli ani w momencie padania komunizmu, ani nie odgrywa jej obecnie. Warszawiacy mało o niej myślą. Za komunizmu ten teren był wykorzystywany przez wojsko, a więc był w większej części niedostępny i prawie zapomniany. Na dodatek, niezgodnie z historią, Cytadela, jako symbol cierpienia więźniów i skazańców, była zawłaszczana przez komunistów — a więc nie przypomniano sobie o niej w okresie padania komunizmu. Obecnie planuje się przeniesienie na teren Cytadeli Muzeum Wojska Polskiego, co jest bardzo szczęśliwym planem — ale nieste-

ty powoli realizowanym. Prawda jest też taka, że koszt utrzymania tego zabytku, jak wszystkich XIX-wiecznych budowli wojskowych, są przeogromne, a możliwości wykorzystania ograniczone. Dzielnica Żoliborz zainwestowała dużo pieniędzy w renowację jednego z fortów, położonego w samym jej centrum, a wciąż są trudności ze znalezieniem sposobu jego zagospodarowania.

Fachowe oko mogłoby znaleźć więcej pozostałości z czasów rosyjskich w mieście, ale nie są one pamiętane i postrzegane przez większość ludzi jako rosyjskie. Jeden z placów warszawskich nosi np. imię carskiego generała i prezydenta miasta, Sokratesa Starynkiewicza (pełniącego tę funkcję prezydenta w latach 1875–1892). Swego czasu pozostawiono ten plac jako plac jego imienia z uwagi na wyjątkowe zasługi generała dla miasta. Na fali zmian nazw, jaka przeszła przez Warszawę po upadku komunizmu, sprawa nie była w ogóle poruszona. Niezależnie od sympatii i antypatii najprostsze wyjaśnienie jest takie, że mało kto wśród mieszkańców w ogóle dziś wie kim był Starynkiewicz.

O genezie wybrania św. Aleksandra na patrona kościoła przy pl. Trzech Krzyży lub o przyczynie umieszczenia napisu «Roku Przywrócenia Królestwa» na tzw. Pałacu Błękitnym (dziś faktycznie różowym) nikt nie pamięta. Belweder, mimo uczenia w szkołach o Powstaniu Listopadowym, powszechnie kojarzy się z rezydencją Piłsudskiego, a nie z rezydencją W. Ks. Konstantego — choć to drugie skojarzenia mogłoby być nawet sympatyczne dla miłości własnej Polaków (skoro Książę sromotnie uciekał stamtąd przed powstańcami...).

Inną niezauważaną pozostałością porosyjską jest rozplanowanie północnych dzielnic miasta, nad czym bezpośrednio lub pośrednio zaważyła obecność Cytadeli. Wciąż spotyka się tam nie tłumaczące się pagórki, a jeszcze niedawno spotykało się nieduże, charakterystyczne domki — pozostałości dawnych prochowni. Teren między Żoliborzem a Powązkami mógł być świeżo zabudowywany i rozplanowany prawie geometrycznie w dwudziestoleciu międzywojennym, gdyż wpierw było tam ogromne, puste pole manewrowe wojsk rosyjskich. Takie rzeczy nie odgrywają jednak żadnej roli symbolicznej, gdyż rozpoznają je tylko fachowcy.

Niekiedy sprawa upamiętnienia czasów rosyjskich w Warszawie wzbudza polemiki, czasem zresztą zaskakujące. W Radzie wspomnianej dzielnicy Żoliborz toczyła się swego czasu dyskusja czy traktować jako obiekt turystyczny pewne fragmenty Cytadeli i inwestować pieniądze w ich konserwację — skoro to zabytek rosyjski. Na Uniwersytecie Warszawskim miała miejsce dyskusja, czy uczcić tablicą pamiątkową prof. Mikhaïła Semyonovicha Tswetta, przyrodnika, odkrywcę chromatografii. Nikt nie ma nic przeciwko temu badaczowi — ale był on profesorem carskiego uniwersytetu w Warszawie, do którego tradycji nie poczuwamy się. Ostatecznie umieszczono tablicę,

na której salomonowo stwierdzono, że prof. Tswett odkrył metodę chromatografii «w tych murach» (a nie w tym Uniwersytecie).

Ciekawe i ważne symbolicznie jest realizowanie polskich budowli lub uzupełnianie elementów budowli, które swego czasu nie zostały dopełnione w związku z nastaniem władzy rosyjskiej w Warszawie. Na pierwszym miejscu trzeba oczywiście wymienić Świątynię Opatrzności Bożej, o której powstaniu zdecydował Sejm Czteroletni, a która jest budowana obecnie. Ciekawe jest także dokończenie zewnętrznej dekoracji Teatru Wielkiego. W projekcie budynku, postawionego w latach 1825–1833, przewidziano ozdobienie go rydwanem zaprzężonym w konie, powożonym przez Apollona. Po klęsce Powstania Listopadowego car nie pozwolił na umieszczenie tej rzeźby na frontonie teatru — może z uwagi na jej triumfalizm, a może «po prostu» w ramach kary dla Warszawy. Po upadku komunizmu wykonano rydwan (5 ton!) i w 2002 r. ustawiono na miejscu przewidzianym dla tego celu w architekturze budynku. Symboliczną wagę wydarzenia podkreślało odsłonięcie kwadrygi w obecności prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

\*\*\*

W symbolicznym wystroju ulic miejskich znalazły oczywiście wyraz cierpienia Polaków w okresie zaborowym. Istnieje pomnik Waleriana Łukasińskiego (46 lat w carskich więzieniach, z czego 38 w Szlisselburgu, gdzie zmarł w 1868 r.). Dbą się — lepiej lub gorzej, bardziej lub mniej — o miejsce na Cytadeli, gdzie wykonywano wyroki śmierci na Polakach (Brama Straceń). Na tejże Cytadeli istnieje muzeum carskiego więzienia politycznego, swego czasu tam istniejącego (X Pawilon). Wprowadzone po upadku komunizmu trzy nazwy uliczne: «Rondo Zesłańców Syberyjskich», «Skwer Matki Sybiraczki», oraz «Skwer Sybiraków» obejmują oczywiście także Polaków zesłanych na Syberię w czasach carskich. Nie wydaje się jednak, by męczeństwo Polaków w owych czasach odgrywało znaczącą rolę w myśleniu Polaków współczesnych — przynajmniej sądząc po symbolicznych treściach wystroju miasta.

Nieco — ale tylko nieco — większą rolę odgrywają powstania narodowe. Trzeba zaznaczyć, że (choć z pewnymi niuansami) były one czczone również za komunizmu. Komuniści mieli z nimi duży kłopot — bowiem kierowały się przeciw Rosji, a jednocześnie nie mogli ich nie czcić. Trudno też było nie czcić Mickiewicza; niektórzy komuniści czcili go zresztą po prostu, jako narodowego poetę, bez wielkiej filozofii. Dokonywano więc łamańców ideologicznych. Podkreślano przyjaźń Puszkina i Mickiewicza, zapominając cytować fragment jednego z wierszy Puszkina, gdzie mówił źle o koledze. Imieniem Kościuszki nazwano sztandarową dywizję wojska, tworzono

przez komunistów nad Oką podczas II wojny światowej, a jednak «Panoramy Racławickiej» długo nie udostępniano publiczności Wrocławia, dokąd przywieziono ją ze Lwowa. Imieniem Traugutta nazwano 3 Pomorską Dywizję Piechoty — a jednocześnie podkreślano zasługi Andrija Opanasowicza Potiebni, skądinąd rzeczywiście godnego pamięci oficera rosyjskiego, który wybrał stronę powstańców (inna sprawa, że nie przypadkowo zapominano dodać, iż był on Ukraińcem).

W rezultacie wszystkich działań podejmowanych w różnych okresach, w miejscu stracenia Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego (1864), położonego przy jednym z fortów Cytadeli, nałożyły się kolejne fazy kultu: z okresu bezpośrednio przed odzyskaniem niepodległości (kamień z 1916 r.), z okresu międzywojennego, z okresu PRL (tablica położona przez wspomnianą dywizję im. Traugutta «w XV rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego»), oraz z okresu obecnego. Na tabliczkach, zawierających wyrazy kultu, w charakterystyczny sposób pojawiają się m.in. nazwy Stowarzyszenia Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956 oraz Komitetu Katyńskiego. Jest to charakterystyczne dla szerszego zjawiska, jakie można obserwować dziś w Polsce: łączenia narodowej gehenny w jedną, ciągłą linię historyczną. Kopiec projektowany na miejscu bitwy z 1831 r. w Olszynie Grochowskiej (dziś w granicach Warszawy) ma symbolizować przejścia Polaków od potopu szwedzkiego do katastrofy smoleńskiej. Napis «Zginęli bo byli Polakami» z krzyża, ustawionego dla upamiętnienia rzezi Pragi dokonanej przez Suworowa, prawie dosłownie powtórzono na pobliskim budynku przy ul. Cyryla i Metodego, gdzie po wojnie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa męczyli ludzi («Cierpieli bo byli Polakami»). Piwnice, w których komunistyczna Informacja Wojskowa męczyła swoich więźniów, przydzielono jako obiekt muzealny Muzeum Powstania Warszawskiego — choć dosłowny związek między piwnicami i Powstaniem może być tylko taki, że wśród więźniów była z pewnością niemała liczba b. powstańców. Ujmując logicznie, owe piwnice mogły równie dobrze, albo lepiej trafić w gestię miejskiego Muzeum Historycznego.

Wyrazem tendencji do rysowania ciągłej linii martyrologii narodu jest niestety traktowanie przez część środowisk politycznych katastrofy smoleńskiej jako swego rodzaju przedłużenia Katynia i, tym samym, jako kolejnego, czarnego punktu w dziejach stosunków polsko-rosyjskich. Jeżeli powstanie w centrum Warszawy pomnik ofiar katastrofy, wokół czego spory przybierały już ogromne rozmiary, to nie można wykluczyć, że będzie on miał także taką wymowę.

Niezależnie od wspomnianego kultywowania pamięci powstań narodowych także za komunizmu, pozostaje faktem, że pomnik Słowackiego postawiono dopiero po przemianie ustrojowej. Niektóre miejsca związane z powstaniami są dziś bardziej zadbane niż za PRL. Ciekawe, że akurat nie jest to *casus* znanej w Polsce z utworu Mickiewicza «Reduta

Orдона» reduty nr 54, z 1831 r., położonej w dzisiejszej dzielnicy Ochota, blisko jej granicy z dzielnicą Wola. Może przyczyną słabego zajęcia się nią jest okoliczność, że wydarzenia przebiegły tam wprawdzie tragicznie, ale mniej bohatersko niż rzecz przedstawił Mickiewicz. Reduty nie wysadził w powietrze porucznik Ordon, poświęciwszy się jakoby samemu wobec przewagi Moskali. Ordon dożył 1887 r., a z Mickiewiczem, który go uśmiercił w poemacie, zdążyli się jeszcze nawet spotkać. Miejsce reduty badacze sytuują obecnie gdzie indziej niż to utrzymała tradycja i niż to zaświadcza pamiątkowy obelisk. W sumie kult musiałby się narodzić od nowa, co nie byłoby łatwe wobec sygnalizowanych wątpliwości. W kwestii wykorzystania prawdziwego terenu reduty władze miasta mają zresztą plany zupełnie inne niż tworzenie kolejnego miejsca pamięci.

O inne pamiątki powstań narodowych dba się jednak. Zbudowany we wczesnym XX w. (po wyjściu Rosjan z Warszawy? w 1924 r.?) wspomniany już krzyż, upamiętniający rzeź Pragi dokonaną przez Suworowa (1794), został niedawno odrestaurowany ze środków Dzielnicy Praga Północ i gminy Warszawa Centrum. W również wspomnianej Olszynie Grochowskiej, miejscu bitwy w 1831 r., zorganizowano Aleję Chwały, gdzie na kolejnych głazach położono tablice pamiątkowe ku czci polskich bohaterów, nie tylko zresztą tam poległych. Projekt jest rozwojowy, w politycznych środowiskach prawicowych pojawiła się idea sypania tam pamiątkowego kopca z ziemi pochodzącej z drążenia korytarzy metra. Amatorzy rekonstrukcji historycznych organizują w Olszynie rekonstrukcje bitwy.

Wszystkie te działania mają, rzecz jasna, charakter utrwalania patriotycznej pamięci. Świadomie lub nie, mieszczą się wszakże w częstym dziś w Polsce dążeniu miast, dzielnic, regionów, czy też wręcz społeczności wyodrębnionych dla jakichkolwiek przyczyn, do akcentowania elementów tradycji lokalnej oraz lokalnej i narodowej zarazem. Np. w Warszawie, wśród wyrazów upamiętnienia zbrodni katyńskiej, o których niżej, znalazł się też pomnik na Cmentarzu Żydowskim, upamiętniający oficerów -Żydów, zamordowanych w Katyniu. Tablica upamiętniająca wyznawców zamordowanych tamże znalazła się również na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

\*\*\*

Oczywiście stosunki polsko-rosyjskie są zawarte w treściach obiektów upamiętniających moment odzyskania niepodległości. W Warszawie wyrosły dwa pomniki Piłsudskiego. Jeden z nich, co ciekawe, został odlany z zachowanego modelu przedwojennego. Oczywiście honorują one twórcę odrodzonego państwa dla wielu powodów. Osoba Piłsudskiego — i to zwłaszcza w Warszawie — symbolizuje jednak m.in. niepodległościowe dążenia antyrosyjskie oraz zwycięstwo w wojnie 1920 r.

W tym samym miejscu, gdzie stał przed wojną, odtworzono pomnik niepodległościowej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Nie wrócił jeszcze na swoje miejsce, zachowany zresztą w oryginale, przedwojenny pomnik «Dowborczyków» — I Korpusu Polskiego w Rosji, walczącego pod dowództwem gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego przeciw bolszewikom. Rozebrano go w 1949 r.

\*\*\*

Radykalnie zmieniło się w stosunku do okresu PRL upamiętnienie epizodu dziejowego fundamentalnego dla utrwalenia odzyskanej niepodległości, jakim była wojna 1920 r. Od czasu, gdy władza komunistyczna w Polsce poczuła się pewna, uznała tę wojnę za nieistniejący fragment historii. Cenzura nie przepuszczała informacji na jej temat. Główne pole Bitwy Warszawskiej szło w zapomnienie, a konkretnie pokrywało się jakąś prowizoryczną zabudową składową czy przemysłową. O pomnikach, rzecz jasna, nie było mowy. Tymczasem po upadku komunizmu, chociażby na samym Uniwersytecie Warszawskim przywrócono — jako formę pomnika — starą armatę, która stała tam w okresie międzywojennym dla upamiętnienia baterii, usytuowanej w tym miejscu i obsługiwanej przez studentów gotowych do walki w wypadku gdyby Armia Czerwona przekroczyła Wisłę. Armata, jako bezużyteczne żelastwo, przetrwała nawet wojnę — ale nie mogła przetrwać PRL-u, zwłaszcza, że była skierowana na wschód (na zachód nie mogła być skierowana nie tylko dlatego, że byłoby to bez sensu, ale lufa celowałaby dokładnie w okna rektora). Po upadku komunizmu armata wróciła na swoje miejsce (a raczej wrócił identyczny egzemplarz, użyczony przez Muzeum Wojska Polskiego).

Na jednym z gmachów uczelnianych wmurowano tablicę ku czci studentów, zorganizowanych wówczas wojskowo w tzw. Legii Akademickiej. Owa tablica zastąpiła, nawiasem mówiąc, dawną tablicę ku czci młodzieżowych komunistycznych bohaterów, Jana Krasickiego i Hanny Szapiro-Sawickiej, którzy zginęli podczas wojny. Zwłaszcza Krasicki, choć zasługuje na skłonienie głowy jako człowiek zamordowany przez hitlerowców, nawet środowisku komunistycznym był, jak wszystko wskazuje, ponad przeciętnie związany z ZSRR.

Znaczącym wyrazem upamiętnienia wojny 1920 r. jest renesans materialnych form kultu ks. Ignacego Skorupki, który poległ pod Ossowem w trakcie pełnienia obowiązków duszpasterskich. Niezależnie od oddania hołdu Księdzu, jego kult jest o tyle charakterystyczny, że Bitwa Warszawska jest dziś traktowana w Polsce jako taka, która uratowała Europę i, tym bardziej, katolicką Europę przed zalewem bolszewizmu. Ta wizja współgra z mocno zakorzenioną w Polsce wizją «przedmurza» (przedmurza chrześcijaństwa).



Pomnik ks. Skorupki został postawiony przed Bazyliką katedralną św. Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła, nawiasem mówiąc zbudowaną w latach 1887–1904 jako przeciwwaga warszawskiej cerkwi św. Marii Magdaleny. Trudno o bardziej honorowe i znaczące miejsce. Jednej z ulic w centrum miasta przywrócono imię Księdza, które nosiła przed wojną. Jedną z ważnych ulic po upadku komunizmu nazwano ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W miejscowościach podwarszawskich, gdzie toczyła się Bitwa, dokonano dużej pracy upamiętniającej. Dokonano też pracy w kierunku uporządkowania głównego pola walki, w tym uporządkowania miejsc gdzie spoczywają polegli — także polegli ze strony rosyjskiej. Niestety kamień pamiątkowy, który położono oczywiście nie dla chwały rosyjskich żołnierzy, którzy polegli pod Ossowem, ale dla przyzwoitego upamiętnienia miejsca ich śmierci, został już dwukrotnie zbezczeszczoney.

Nawiasem mówiąc, akurat w Warszawie nie ma miejsca, które można by upamiętnić jako takie, w którym wzięci do niewoli w 1920 r. żołnierze Armii Czerwonej umierali na skutek złych warunków i chorób (bo przecież nie celowej, zbrodniczej działalności, jak sugerują niektóre środowiska rosyjskiej opinii publicznej). Jeśli już, to można by przywrócić w Warszawie (i w Polsce) pamięć niedobrego zachowania Polski wobec własnych obywateli Żydów. W podwarszawskiej miejscowości Jabłonna zorganizowano wtedy obóz, dla blisko 20 tys. internowanych poborowych Żydów. Kierowano tam nawet Żydów wycofywanych z frontu. Nie dowierzano ich lojalności w konflikcie z bolszewikami. Sprawa była porównywalna z internowaniem podczas II wojny światowej własnych obywateli pochodzenia japońskiego w USA, a o tyle bardziej drastyczna, że szło o żołnierzy i oficerów. Dziś mało kto pamięta o tym epizodzie.

\*\*\*

W odniesieniu do związanych z Rosją symboli, odnoszących się do II wojny światowej, trzeba zwłaszcza podkreślić, że zbudowany w latach 1949–1950 Cmentarz-Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej w Warszawie, który jest miejscem spoczynku ponad 20 tys. czerwonoarmistów poległych w latach 1944–1945, jest traktowany przyzwoicie. Oczywiście wymagałyby on lepszego zadbania, ale wiele cmentarzy w Polsce — nie tylko rosyjskich — tego potrzebowałyby. Prawdopodobnie wymagają też poszukiwania i zadbania miejsca, gdzie zostali pogrzebani żołnierze ZSRR, którzy dostali się do hitlerowskiej niewoli i zmarli na terenie Polski. Po wojnie nikt nie przejmował się losem ich szczątków. Jednak bardzo pozytywnym przykładem podejścia do rozwiązania tej sprawy w Polsce jest muzealne zagospodarowanie terenu obozu jeńców rosyjskich z czasów II wojny światowej w Łambinowicach koło Opola. Centralne Muzeum

Jeńców Wojennych realizuje tam filozofię przynajmniej pośmiertnej zgody wszystkich ofiar różnych obozów jenieckich — akurat w tej miejscowości licznie organizowanych przez kolejne narody i kolejne ustroje tam panujące.

Warto odnotować, że w ogóle podczas ostatniej przemiany ustrojowej w całym kraju zdarzyło się bardzo mało działań uwłaczających godności osób zmarłych lub/i poległych, także innej niż polska narodowości. Pewną liczbę poległych z miejsc pogrzebienia przeniesiono na cmentarze, ale po pierwsze tam jest ich miejsce, a po drugie uczyniono to godnie.

Obalono dużą liczbę pomników, rzekomo wyrażających wdzięczność dla Armii Radzieckiej. Były one traktowane jako miejsca pamięci — wprawdzie nie pojedynczych osób, ale żołnierzy jako takich. Trzeba jednak pamiętać, że za PRL stawiano je licznie mocą decyzji politycznej; nie wyrażały żadnej «wdzięczności». Niektóre okazały się solidne i trudne do rozwalenia (spektakularne sceny w Toruniu w 1997 r.). Niektóre rozwalały się jednak zdumiewająco łatwo. Chyba budowano je byle jak.

Choć były to miejsca pamięci, nawet Rosjanie nie mają powodu, by ich żałować. Nie wyrażały one żadnych uczuć, były sprzeczne z lokalnymi wspomnieniami zachowania się pewnej liczby żołnierzy radzieckich po wejściu na ziemie polskie, z procesem szesnastu, z represjami przeciw żołnierzom AK. Najczęściej były traktowane jak powietrze, a niekiedy koncentrowały nawet niechęć wobec sowieckiej dominacji.

II wojna światowa jest natomiast obszarem pamięci, gdzie pojawiło się w Warszawie mnóstwo symboli, które nie mogły zaistnieć za PRL-u. Na najważniejszym obiekcie symbolicznym — Grobie Nieznanego Żołnierza — pojawiły się tablice z miejscami walk z Sowietami w 1939 r. oraz miejscami gehenny Polaków w ZSRR. Zbudowano pomnik «Poległym i Pomordowanym na Wschodzie», dedykowany także «Ofiarom agresji sowieckiej 17 września 1939 r.». Charakterystyczne, że skwer, na którym ten pomnik stoi, otrzymał wspomniane już imię «Matki Sybiraczki». Istotne dla miasta rondo nazwano Rondem Zesłańców Syberyjskich.

Pojawił się pomnik zbrodni katyńskiej. Zbudowano go nie w centrum miasta, jak nieraz to się teraz robi w Polsce, lecz na Cmentarzu Komunalnym — ze względu na tradycję nielegalnego za komunizmu upamiętniania Katynia w tym właśnie miejscu. Na cmentarzach warszawskich jest w ogóle wiele wojennych miejsc pamięci, także pamięci męczeństwa na wschodzie. Na Cmentarzu Powązkowskim, koło kościoła św. Karola Boromeusza, w latach osiemdziesiątych ks. Stefan Niedzielak zorganizował Sanktuarium Poległych i Pomordowanych na Wschodzie, z czym, nawiasem mówiąc, mogła wiązać się jego dotychczas niewyjaśniona śmierć w 1989 r. Omówienie wszystkich cmentarnych miejsc pamięci wymagałoby jednak odrębnego opracowania. To samo odnosi się do śladów pamięci licznych w wystroju kościołów. Nieraz same ko-

ścioły są resztą znakiem pamięci. Jeśli cofnąć się do czasów omówionych wyżej, to np. historia i tradycja kościoła Najczystszego Serca Maryi przy pl. Szembeka na Grochowie jest związana ze wspomnianą bitwą w Olszynie Grochowskiej.

Zbrodnia katyńska była do niedawna upamiętniona jeszcze jednym, niedużym pomnikiem, tym razem zbudowanym w centrum miasta (przy ul. Podwale). Chyba prawicowe środowiska polityczne, które go zbudowały, chciały zaznaczyć własną odrębność w kwestii pamięci zbrodni. Ostatnio działkę, na której ten pomnik stał, odzyskali spadkobiercy dawnych właścicieli, a władze miasta uznały, że został on zbudowany nielegalnie i nakazały rozbiórkę. Kamień został przeniesiony na inne, niedalekie miejsce. O upamiętnieniu zbrodni katyńskiej na cmentarzach mniejszościowych grup wyznaniowych była już mowa.

\*\*\*

Odnoszenie się do symboliki sowieckiej dominacji nad Polską i obecności w życiu polskim w okresie komunizmu jest trudno odróżnialne od odnoszenia się do całej symboliki komunizmu. Warto pamiętać, że komunizm był i jest stosunkowo powszechnie uważany w Polsce za import sowiecki, a zmiana ustroju powszechnie jest kwalifikowana jako odzyskanie suwerenności (nie zaś «tylko» zmiana ustrojowa). Nawet Polacy, którzy w swoim czasie ostro współpracowali z komunizmem, często traktują go dziś jako ustrój całkowicie narzucony — o «przeciętnych» ludziach już nie wspominając. Ci «przeciętni» też zapominają, że po prostu choćby pracując w komunizmie, skądinąd niewątpliwie narzuconym, też go podtrzymywali. Prawda, że pracowali często marnie, nieraz bez sympatii i po prostu z braku innego wyjścia.

Umieszczenie wspomnianej wyżej tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. św. Cyryla i Metodego, gdzie zaraz po wojnie mieściły się służby komunistycznego terroru, nie pozwala rozróżnić pomiędzy postawieniem pod pręgierzem polskiego UB i służb sowieckich. Jedne i drugie zresztą współpracowały. Na tablicy napisano «CIERPIELI — BO BYLI POLAKAMI. Żołnierzom organizacji niepodległościowych i tym, którzy ich wspomagali — więźniom politycznym lat 1944–1956 — ci, co przeżyli. W tym budynku, w wyniku stosowanych przez Urząd Bezpieczeństwa tortur, straciło zdrowie i życie wielu PATRIOTÓW». Napis sugeruje, że niezależnie od tego, kto akurat męczył ludzi w tym budynku, działał przeciw narodowi polskiemu, a rozróżnianie adresata nie ma sensu.

Nacisk na narodową tradycję np. w postaci zbudowania Muzeum Powstania Warszawskiego i rozlicznych miejsc pamięci poświęconych Powstaniu, w podtekście zawiera też odniesienie (negatywne!) do ZSRR. Nie sposób rozróżnić obu spraw w

wypadku kultu bł. Jerzego Popiełuszki i bł. Jana Pawła II oraz materialnych wyrazów tych kultów w mieście. Zbudowany w 2011 r. pomnik prezydenta Ronalda Reagana jest nośnikiem przesłania antysowieckiego, nawet jeśli zasadniczo wyraża uznanie dla prezydenta USA za działania propolskie i generalnie za sprzeciw wobec komunizmu.

Podobnie w wypadku eliminacji komunistycznych nośników pamięci trudno jest przeprowadzić rozróżnienie pomiędzy odrzucaną symboliką komunistyczną, a symboliką związaną z ZSRR. Zasłonięcie grobu Bieruta na Cmentarzu Komunalnym w Warszawie szpalerem zieleni, by nie był widoczny z głównej alei cmentarnej, jest oczywiście działaniem odnoszącym się nie tylko do pamięci polskiego komunizmu. Nie sposób rozdzielić działania przeciw komunizmowi w Polsce od działania przeciw wszystkiemu co sowieckie w wypadku rozbiórki w 1991 r. pomnika «Poległym w służbie i obronie Polski Ludowej» — odsłoniętego w 1985 r., a pospolicie nazywanego pomnikiem «Utrwalacza» (od «utrwalania władzy ludowej»). Tak samo nie da się rozróżnić tych spraw w zmianie nazw ulic, pochodzących wprawdzie od nazwisk polskich komunistów — ale często wiązanych przez ludzi z ZSRR. Znaczące były zwłaszcza zmiany nazwy ul. Juliana Marchlewskiego na Jana Pawła II, ul. gen. Karola Świerczewskiego na «Solidarności», ul. Wery Kostrzewy na Bitwy Warszawskiej 1920 r., ul. Nowotki na Andersa. Specyficzna zmiana nazwy Placu Konstytucji w Warszawie przez zmianę jej zadekretowanej wykładni była tyleż znacząca, ile oryginalna. Ów plac, stanowiący centrum socrealistycznej dzielnicy Warszawy (Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej), został zainaugurowany w 1952 r. Uzyskał swoją nazwę dla uczczenia uchwalonej wówczas konstytucji, do której poprawki wprowadził własnoręcznie Stalin. Po zmianie ustroju Rada Miasta zachowała dotychczasową nazwę, ale uchwaliła, że honoruje ona nie tamtą, lecz wszystkie konstytucje, jakie kraj miał w dziejach.

Jeśli jednak skupić się na symbolach, mających niewątpliwy związek z ZSRR i jeśli nie brać pod uwagę np. przeogromnej liczby postumentów Lenina, wyrzuconych z różnych instytucji, gdzie były traktowane jako element krajobrazu bez znaczenia, to na pierwszym miejscu przychodzi na myśl pomnik Dzierżyńskiego. Jest w tym pewien paradoks, ponieważ «żelazny Feliks» był, jak wiadomo, Polakiem. Chyba mało ludzi w Polsce myśli jednak o nim jako o Polaku (jak najpewniej myślał Bierut, gdy sformułował zdanie wypisane na pomniku: «Feliks Dzierżyński to duma narodu polskiego»). Powszechnie myśli się o nim jako o twórcy represyjnego aparatu państwa sowieckiego.

Symboliczna waga tego pomnika była tym większa, że w Warszawie nie było pomnika Stalina, który możnaby obalić, jak uczynili to mieszkańcy Budapesztu w 1956 r., czy jak uczyniły władze Pragi w 1962 r. (dlaczego nie było go w Warszawie, to inna sprawa). Nie było pomnika Lenina, jak w Nowej Hucie — gdzie najpierw go usiłowano wysadzić w powietrze (1979), a w końcu obalono (1989) i z czasem sprzedano do

pewnego skansenu osobliwosci pod Sztokholmem. Nie bylo pomnika marszalka Iwana Koniewa, jak w Krakowie, gdzie go zdemontowano i odeslano do rodzinnych okolic marszalka (1994). Co nie najmniej wazne, szczenliwie nie bylo w Warszawie muru do obalenia, jak w Berlinie. Role symbolu odegral wiecej ustawiony w centrum miasta pomnik Dzierzynskiego. Przez chwile wisial nawet na linie dzwigu, ktory go podnosil, co przypominalo posmiertne powieszenie.

Akcent narodowy, a nie «tylko» akcent przemiany ustrojowej byl zaznaczony w tym wypadku tym bardziej, ze dokladnie na miejscu Dzierzynskiego ustawiono wspomniany wyzej pomnik Slowackiego, odlany wedlug modelu zachowanego sprzed wojny. W sumie sowiecki czekista zostal zastapiony polskim poeta narodowym.

Innym, waznym pomnikiem, wokol ktorego narastaja pasje niektorych srodowisk politycznych, byl (choz poniekad wciyz jest) pomnik Braterstwa Broni, ustawiony w centrum dzielnicy Praga w 1945 r. Przedstawial (przedstawia) on zolnierzy polskich i radzieckich. Potocznie nazywany byl (jest) pomnikiem «Czterech smutnych», badz «Czterech spiacych». Zaskakujaco przetrwal pierwsza fale dekomunizacji symboliki. Glosy za jego demontazem nasily sie w 2007 r., gdy w Tallinie usunieto pomnik «Brazowego Zolnierza», slawiacego ZSRR i jego arme. Pomnik przetrwal jednak i to. Cios zadala mu dopiero niedawno budowa drugiej linii metra i zwiazana z ta inwestycja planowana przebudowa skrzyzowania al. Solidarnosci z ul. Targowa. Rozbiorce nadano jednak charakter techniczny, nie polityczny. Planuje sie ponowne ustawienie pomnika niedaleko, aczkolwiek w mniej eksponowanym miejscu. Ostatnio podniosly sie jednak glosy politycznej prawicy, ze ten pomnik w ogole nie powinien wrócic nigdzie — chyba, ze do muzeum stalinowskich osobliwosci w Kozlowce. Zobaczmy jak dalej rozwinie sie sytuacja.

Póki co, nie sa naruszone pomniki odlegle ideologicznie od tendencji dzis dominujacych, symbolizujace wysilek zolnierzy polskich, idacych u boku Armii Radzieckiej: pomnik Kosciuszkwowca i pomnik gen. Berlinga. Zwlaszcza ten pierwszy przedstawiony jest w formie sugerujacej, jakoby ow zolnierz spieszy na pomoc Warszawie — co w okresie Powstania Warszawskiego jest tylko czesciowo prawdziwe. Gen. Berling tez patrzy na Warszawe ze wschodniego brzegu Wisly — co rowniez moze sugerowac patrzec na Powstanie Warszawskie, wtedy rozgrywajace sie na przeciwnym brzegu. Ludzie niekiedy nazywaja ten pomnik «pomnikiem obserwatora Powstania Warszawskiego» — co moze byc krzywdzace, jako ze akurat Berling usilowal przyjsc z pomoc Powstaniu (sprawa jest bardzo niejasna, tu nie da sie jej rozstrzygnac).

Stoi tez najwieszy symbol dominacji sowieckiej nad Warszawą i Polską, czyli Palac Kultury i Nauki, w chwili inauguracji, w 1955 r. nazwany imieniem Stalina. Analogia z dominacja w mieście dawnego soboru św. Aleksandra Newskiego byla i jest oczywista.

Warszawiacy nigdy Pałacu nie lubili — nawet jeśli oczywiście korzystali z pracy instytucji w nim umieszczonych. Od czasu budowy krążyły wokół niego nieprawdopodobne plotki. Przypisywano mu nawet znaczenie militarne. Powszechnie uważano go za brzydki i określano ironicznymi, niewybrednymi słowami. Po upadku komunizmu pojawiały się głosy o potrzebie pozbycia się go — ale nie specjalnie mocne. Jeszcze obecnie Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych, powtarza publicznie tezę o potrzebie zburzenia Pałacu. Ostatni raz mówił o tym w Sejmie 12 stycznia 2012 r.; stwierdził, że na miejscu Pałacu powinien powstać park dla mieszkańców Warszawy (pewno na wzór Central Parku w Nowym Jorku). Wygląda jednak na to, że Pałac przetrwa chociażby ze względów ekonomicznych. Skądinąd został nawet wpisany na listę zabytków (prawda, że wywołało to protesty części liderów opinii i prawda też, że z listy można go wykreślić).

W kwestiach symbolicznych wysiłek poszedł w kierunku otoczenia Pałacu innymi wysokimi domami (co jest zresztą normalne w centrum miasta). Także w kierunku dodania mu zegara przeogromnych rozmiarów (na podobieństwo londyńskiego Big Bena) i organizowania różnych imprez wręcz antykomunistycznych w jego pomieszczeniach i na jego terenie. Planowano nawet zorganizowanie w Pałacu Muzeum Komunizmu (czy przez analogię do wspomnianego wyżej pomysłu umieszczenia muzeum martyrologii Polaków w budynku Soboru św. Aleksandra Newskiego?) — ale projekt przynajmniej chwilowo upadł.

Jednocześnie odnosi się wrażenie, że Pałac stopniowo traci swój symboliczny, sowiecki charakter i po trochu zakorzenia się w mieście. Pojawia się wśród pamiątkowych gadżetów z Warszawy. Na muralu, niedawno umieszczonym w pobliżu Uniwersytetu, a sławiącym Marię Skłodowską-Curie jako Warszawiankę, w jednej z retort noblistki odbija się właśnie Pałac — co jest zamierzonym ahistoryzmem. Można powiedzieć, że takie ujęcie stanowi pośmiertny sukces Lwa Rudniewa, głównego architekta Pałacu (a może raczej pośmiertny sukces Stalina?!).

Przez dobrych parę lat władze komunistyczne chciały, by Pałac przeważał jako symbol miasta pomnik Zygmunta III Wazy, czyli Kolumnę Zygmunta — a ludzie nie chcieli go uznać tej w roli. Na muralu poświęconym Marii Skłodowskiej-Curie jednak zafunkcjonował właśnie w takiej roli. Może z czasem definitywnie zrośnie się z miastem. Może stanie się dla Warszawiaków nie tylko, a może nawet nie tyle symbolem komunizmu, ile wielu niekomunistycznych wydarzeń, jakie się w nim lub wokół niego odbyły: Kongresu Kultury w 1981 r., mszy papieskiej w 1987 r., rozwiązania PZPR w 1990 r., również wielu ważnych wydarzeń artystycznych. Może Pałac «naturalizuje się» jak wieża Eiffla, która, choć też brzydka, jednak ostatecznie zrosła się z Paryżem. Inna sprawa, że wieży nie dał Paryżowi obcy satrapa jako upokarzającego prezentu, mającego zaświadczać i zarazem umacniać jego władzę nad krajem i miastem.

Podobnie jak w wypadku epoki carskiej, z okresu komunizmu zachowały się też w Warszawie materialne ślady kontaktów z Rosją, które nie nabrały znaczenia symbolicznego. Kwestia utrzymania bądź likwidacji osiedla tzw. domków fińskich przy ul. Jazdów wywoływała niedawno polemiki w Warszawie, W tych sporach nie szło wszakże o to, że owe domki, uzyskane z wojennych reparacji fińskich, przekazał Warszawie Związek Radziecki, lecz o wartościowy teren. O tym, że pierwsze schody ruchome w Polsce, które pojawiły się w Warszawie na Trasie W-Z (1949; dziś Al. «Solidarności»), były produkcji radzieckiej firmy «Metrostroj» — co wówczas reklamowano — praktycznie nikt nie pamięta. Zachowano wprawdzie w pomieszczeniu pod schodami pamiątkę o ich pochodzeniu w postaci fragmentu maszynowni z rosyjskimi napisami, ale ów symbol nie ma większego znaczenia. Inna sprawa, że dziś w ogóle już nikt nie myśli o schodach ruchomych jako o ewenemencie — w odróżnieniu od owych czasów, gdy tłumy warszawskich dzieci z entuzjazmem jeździły tymi schodami z poziomu Trasy W-Z na poziom pl. Zamkowego (sam to robiłem). Osiedle domków zbudowanych dla budowniczych Pałacu Kultury i Nauki (Jelonki) jest wykorzystywane, ale nie stanowi żadnego symbolu. Takich miejsc i obiektów można by znaleźć więcej w Warszawie i okolicach.

Spośród nazw ulic, związanych bezpośrednio z tradycją ZSRR, warto wzmiankować zwłaszcza zmianę nazwy ulicy Rewolucji Październikowej na ulicę Prymasa Tysiąclecia i ul. Stalingradzkiej (obecna Jagiellońska na północ od dzisiejszej Al. «Solidarności») na Jagiellońską (w kontynuacji południowego odcinka ulicy, zawsze tak nazywającego się). Ulicy Stalina już nie było w Warszawie w momencie zmiany ustroju (Aleje Ujazdowskie nosiły imię Stalina od 1945 na odcinku od pl. Trzech Krzyży do pl. Na Rozdrożu, a od 1953 do 1956 r. na całej długości). Konstany Rokossowski zmarł zbyt późno (1968), by pojawiła się ulica jego imienia — a zatem nie było problemu ze zmianą takiej nazwy, która niewątpliwie nastąpiłaby błyskawicznie. Ciekawe natomiast, że Gagarin został utrzymany jako patron jednej z ulic.

\*\*\*

Na zakończenie chciałbym wspomnieć o pewnym małym pomniczku, a właściwie kamieniu z tablicą pamiątkową z 2008 r., który jest dla mnie źródłem optymizmu w kwestii utrwalania pamięci odnoszącej się do różnych grup narodowych i religijnych. Jest to kamień poświęcony pamięci ks. płk. Szymona Fedorońki, Naczelnego Prawosławnego Kapelana W.P. oraz jego synów — Aleksandra, Waczesława i Oresta. Znaczące jest po pierwsze miejsce, w którym ten znak pamięci ustawiono: w bardzo ruchliwym punkcie miasta, tuż obok wyżej wspomnianej, wywodzącej się z czasów zaborów cerkwi św. Marii Magdaleny, przy ulicy nazwanej po zmianie ustroju Aleją

“Solidarności”, w bezpośredniej bliskości do niedawna stojących “Czterech śpiących”, tuż obok wyżej wspomnianego krzyża, upamiętniającego rzeź Pragi dokonaną przez Suworowa i blisko też wspomnianego budynku przy ul. św. Cyryla i Metodego, gdzie mieściły się bezpośrednio po wojnie instytucje komunistycznej represji, a gdzie teraz mieści się tablica upamiętniająca cierpienia Polaków. Co nie najmniej ważne, miejsce pamięci ks. Fedorońki mieści się obok bazyliki katedralnej św. Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła, którą, jak była mowa wyżej, wręcz budowano jako przeciwwagę cerkwi św. Marii Magdaleny. Prawosławny Kapelan WP zginął w Katyniu, jeden z jego synów zginął w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a dwaj, będący żołnierzami AK, w Powstaniu Warszawskim. Wszystko to powiedziano w zapisie na pamiątkowej tablicy. Na boku kamienia wyryto “kotwicę” Polski Walczącej. Pomniczek ufundowały Towarzystwo Przyjaciół Pragi oraz wychowankowie pobliskiego gimnazjum im. Władysława IV, gdzie synowie byli uczniami. W stworzeniu symbolu pamięci miała udział Fundacja Prezydenta RP.

W tak eksponowanym miejscu Warszawy nawiązania do jak najbardziej polskiej tradycji pogodziły się więc z prawosławiem. Wiem oczywiście, że Kapelan nie był Rosjaninem, lecz prawosławnym Polakiem, jak wielu innych. Wiem też, że prawosławie nie jest związane koniecznie z Rosją. Widzę jednak jako pozytywne dla wzajemnych stosunków otwarcie się polskiej tradycji na tradycję kulturową prawosławia, dla Rosji przecież ważną. Podobnie za istotne uważam pomieszczenie krzyża prawosławnego wśród innych krzyży na wspomnianym wyżej pomniku “Poległym i pomordowanym na Wschodzie” — dla upamiętnienia cierpienia w systemie sowieckim także prawosławnych Polaków. Mam cichą nadzieję, że świadomość, iż zbrodnie, zasługi i cierpienia nie układają się według granic narodów i religii, zaś akurat w Katyniu leżą zamordowani przedstawiciele różnych narodów, w tym Rosjanie, będzie się w Polsce rozprzestrzeniać.

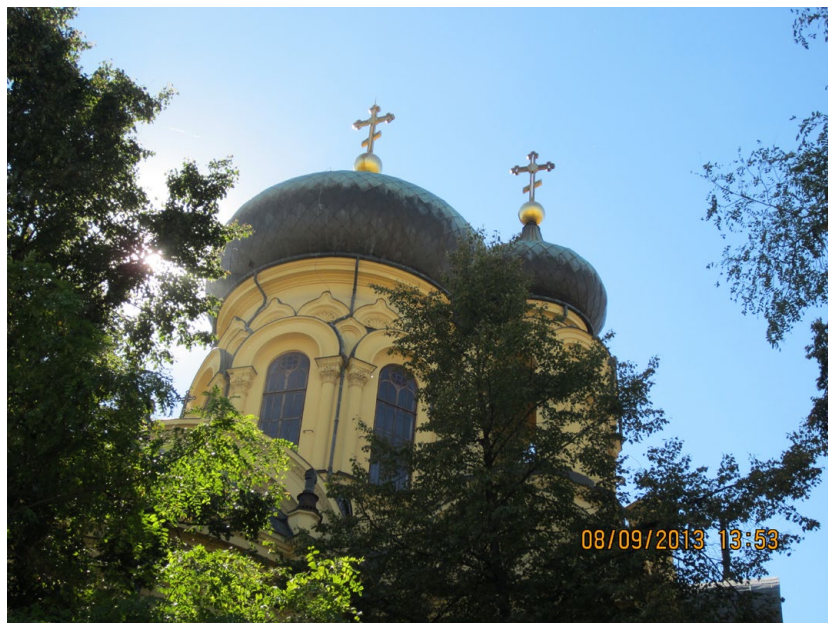
Wiem oczywiście, że taki pomniczek, jak ten ks. Fedorońki, to jeszcze bardzo mało. Wiem, że na ogół najpierw następuje dogadanie się między narodami w wielu życiowych sprawach, a potem dopiero pojawia się gotowość wygaszenia zapalnych punktów tradycji. Francja i Niemcy najpierw weszły w dobrą współpracę, a potem dopiero kanclerz Kohl i prezydent Mitterand wymienili uścisk dłoni pod Verdun. Takie małe sygnały w zakresie odnoszenia się do tradycji też jednak są coś warte i są warte dostrzeżenia.

Miejsce pamięci ks. Fedorońki oraz jego synów jest nieporównanie mniej spektakularne, po prostu skromniejsze, niż do niedawna stojący obok pomnik “Czterech smutnych”. Ma wszakże nad nim co najmniej jedną przewagę: prawdziwiej wyraża uczucia ludzi niż ów pomnik. Zostało zbudowane spontanicznie, dzięki oddolnej ini-



cjatywie ludzi oraz instytucji, ze szczerej chęci, a nie na rozkaz, na dodatek — jak w wypadku “Czterech smutnych” — zapewne uzgodniony z mocodawcami z zagranicy. Na rozkaz, zwłaszcza obcy, do niczego się nie dojdzie. Moja Babcia, która kończyła jeszcze rosyjskie gimnazjum i zachowała powiedzonka stamtąd, w pewnych sytuacjach mawiała “Siłoj mił nie budiesz”. Miała rację — także w odniesieniu do stosunków polsko-rosyjskich oraz sposobu upamiętniania ich dziejów. Może jednak poprawa będzie następować spontanicznie, dzięki wysiłkom ludzi dobrej woli z obu stron?

(Zdjęcia - Małgorzata i Marcin Kula, 2013)



*Cerkiew sw. Marii Magdaleny w Warszawie.*



*Tablica na pomniku ks. Ignacego Jana Skorupki — postaci, która stała się jednym z ważniejszych symboli polskiego zwycięstwa w 1920 r.*



*Krzyż upamiętniający ofiary ataku Suworowa na warszawskiej Pradze.*



*Pomnik ks. Ignacego Jana Skorupki - postaci, która stała się jednym z najważniejszych symboli polskiego zwycięstwa w 1920 r.*



Камień ku czci ks. plk. Szymona Fedoronki i jego synów.



*Palac Kultury i Nauki.*



*Pomnik Juliusza Słowackiego, narodowego poety polskiego, umieszczony na miejscu obalonego pomnika Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego.*

*Pomnik "Poległym i pomordowanym na Wschodzie".*





*Pomnik zbrodni katyńskiej na warszawskim Cmentarzu Komunalnym.*



*Pomnik Jozefa Pilsudskiego, wybudowany obok palacu Belwederskiego - jego dawnej rezydencji, a obecnie rezydencji Prezydenta RP.*



*Armata z 1920 r., umieszczona na Uniwersytecie Warszawskim dla upamiętnienia usytuowanej tam wówczas baterii dział obsadzonych przez studentów. Bateria miała bronić stolicy przed Armią Czerwona na wypadek gdyby ona sforsowała Wisłę.*



Na warszawskim Cmentarzu Prawoslawnym.



Głównie wejście do Pałacu Kultury i Nauki.





*Pomnik zbrodni katyńskiej na warszawskim Cmentarzu Komunalnym.*



*Tablica umieszczona na budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, upamiętniająca studentów, którzy włączyli się do obrony kraju w 1920 r. Studenci utworzyli wówczas Legie Akademicka.*



*Tablica upamiętniająca prace przyrodnika Michaila Semyonowicza Tswetta na terenie dzisiejszego Uniwersytetu Warszawskiego.*



*Cytadela Aleksandrowska (brama, przez którą wyprowadzano skazancow, zwana "Brama Stracen").*



*Na warszawskim Cmentarzu Prawoslawnym.*

П. М. Степанова

Санкт-Петербургская государственная академия  
театрального искусства, Санкт-Петербург, РФ

## СИСТЕМА К. С. СТАНИСЛАВСКОГО КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПОЛЬСКОГО ТЕАТРА 1950–1960-Х ГОДОВ

Система Станиславского в советском театре стала «системой» критериев «подлинного, проникнутого жизнью искусства», она насаждалась как единственно верная для развития «театра стран социализма», все явления выпадающие из этих критериев либо подвергались критике, либо просто замалчивались. В театральной жизни Польши опыт Станиславского стал переосмысляться в 50–60-ые годы XX века.

Польский театр 1950-х годов развивался особенно интенсивно. Открываются новые театры, выдвигается вперед новое поколение молодых режиссеров, имена которых станут известны в мире. Главной фигурой в театре становится режиссер (после второй мировой войны расцвет театра связывается именно с выдвиганием вперед молодых), режиссурой занимались довольно активно и актеры. Развитие режиссерского искусства в Польше связывается с именами двух знаменитейших режиссеров, работавших в первой половине XX века, Леопа Шиллера и Юлиуша Остервы. Они задали основные направления развития польского театра во второй половине XX века: монументальный поэтический театр Шиллера, продолжающий традиции польского романтизма и концепцию «огромного театра» С. Выспянского, и реалистический психологический театр Ю. Остервы, в основу которого легла театральная система Станиславского.

Эрвин Аксер, считающийся ярким режиссером психологического театра, насыщает свои спектакли абсурдистскими приемами. Отличительной чертой польского театра является тяготение к гротеску, к иронии, к совмещению пластов жизненного и ирреального. Обязательное внесение иронических оттенков связано с польской драматургией. Эта тенденция проявляется в «Дзядях» А.

Мицкевича, С. Выспанский пишет свои лучшие пьесы «Свадьба» и «Освобождение» в жанре трагикомедии. Игрой с темами ужаса и смеха насыщены трагифарсы С. Виткевича. К эстетике абсурдизма относят драмы С. Мрожека и Т. Ружевича. В этой манере сочетания патетического и карикатурного, мистического и бытового, условного и грубо натуралистического работает Эрвин Аксер. Режиссер прославился постановками абсурдистской драматургии: «Танго» Мрожека (1965), «Макбет» Ионеско (1972), «Лир» Э. Бонда (1974). Вольно относясь к основе драматургической, он полно и четко передает проблематику, абсурд пьесы у Аксера выливается в простые, узнаваемые формы. Режиссер избегает постановочных излишеств, все его внимание концентрируется на актерской игре.

В спектакле Аксера 1955 года «Кордиан» Ю. Словацкого (театр Народовы) главную роль исполнил Тадеуш Ломницкий. Камерный спектакль был наполнен психологической актерской игрой с подтекстом, с простроенностью отношений, с психологическими нюансами в развитии образа. Кряжистый, невысокий человек превращался в возвышенного романтического героя, благодаря «правдоподобию душевных движений». Уникальность Аксера как режиссера, и Ломницкого как актера — в этом совмещении несовместимых содержаний, техник. Аксер активно пользуется этим приемом в «Карьере Артуро Уи» Б. Брехта (1955). Ломницкий, создавая центральный образ спектакля, соединяет в единое целое внутреннее проживание с ярко выраженным гротеском во внешнем воплощении.

В 1960-е гг. Аксер работал в Ленинграде в Большом драматическом театре имени М. Горького, здесь спектакль «Карьера Артуро Уи» (1963) приобрел новые краски, свойственные русской школе. Актеры труппы Товстоногова точно почувствовали специфику режиссерского стиля Аксера. Ярче всего режиссерская концепция реализовалась в исполнении Сергеем Юрским роли Джузеппе Дживола. «Кажется, что именно он с абсолютной полнотой сумел выразить настроения постановщика. Эмоциональность его работы так же, как работы Аксера, глубоко скрыта. Прежде всего, он безукоризненно, подчеркнуто точен во всем, что делает на сцене. Эта точность и четкость явно утрированы, нарочиты. Гротеск оправдан. Автоматичность Дживолы — следствие его полной внутренней опустошенности. Актер обнажает ее сразу — резко, открыто, в гриме, движении, голосе. Неподвижны глаза Дживолы, отрывисты, однотонны фразы, у него деревянный смех, жесты как у Щелкунчика. Гальванизированный труп, сказали бы вы, если бы не одно обстоятельство. Существует некая могущественная пружина, которая движет этим механизмом и сообщает ему энергию тем более разрушительную, что она не сдержана никакими моральными препонами. Непомер-

ное честолюбие — вот то, на чем „держится“ образ и одушевляет его, сообщая видимость жизни, нормального человеческого существования. Это разительное несоответствие между сутью образа и внешним ее проявлением С. Юрский настойчиво подчеркивает и демонстрирует блистательно»<sup>1</sup>.

В 1969 году, в БДТ, Аксер поставил «Два театра» Е. Шаянвского, в этой постановке режиссер опять работает с Юрским, и вот как описывает репетиции. «Настал период генеральных репетиций, и только Юрский, игравший Директора театра, все еще был собой недоволен, хотя я считал, что он уже достиг предела возможного. <...> «Чего бы ты еще хотел?» — спросил я с некоторым раздражением, поскольку получалось, что мы поменялись ролями: не я ему, а он мне сверлил в голове дырку, требуя все новых вдохновляющих идей. «Я бы хотел летать, — сказал Юрский. — Раз этот директор театра видит сны, даже когда умер, он должен летать». Полеты на сцене мне, надо сказать, были не в новинку... Но летающий директор театра?.. Одному Богу известно, что может взбредти в голову актеру, воспитанному на советском реализме... И я сказал то, что сказал бы в подобной ситуации любой режиссер: «Отлично. Покажи. Полетай, а я посмотрю». Ну и Юрский показал. Три дня ничего не происходило, а потом он показал. Заснул, встал с кресла и начал летать. Поначалу он только размахивал в воздухе руками, а когда руки превратились в крылья, стал наклоняться и раскачиваться, затем оторвался от пола и медленно полетел. Я удивился, но мне понравилось. <...> Мне понравилось, что, летая, он непринужденно беседует с Лизелоттой, которая принесла ему цветок, а особенно понравилось, что все идет так, как я хотел, без спешки, что летает он вяловато, тяжело, как летают аисты или некоторые хищные птицы: из опыта известно, что выдающиеся актеры действуют неторопливо, а если хотят добиться эффекта стремительности или внезапности, немного ускоряют темп, однако никогда не допускают быстрых и порывистых движений — торопыги могут прекрасно сыграть, могут восхитить зрителя, но великими их не назовешь, а Сережу в эту минуту я назвал бы великим актером. Потом я заметил, что он всего лишь встает на цыпочки и плавно поднимается, но ступней от земли не отрывает, хотя кажется, будто парит в воздухе»<sup>2</sup>.

Образ в системе Станиславского создается из внутреннего чувства, оно иррационально и хрупко. Внутренние ощущения возникают из сознательной, аналитической работы актера и приводят к объединению внутренней и внешней

<sup>1</sup> Лордкипанидзе Н. Спектакль, достойный Брехта // Известия. 1963. 17 сент.

<sup>2</sup> Цит. по: Каплан В. Эрвин Аксер в БДТ // Петербургский театральный журнал. 2006. № 4. С. 53.

техники. Процесс создания образа уникален тем, что конечный результат, сам образ, существует как бы без участия актера, самостоятельно от него. У образа есть своя внутренняя жизнь и свое внешнее выражение. Эту технику так виртуозно демонстрирует Юрский на репетициях пьесы Шанявского. Актерская работа, выстроенная на «психологическом проживании роли», сплетается в постановках Аксера в тугой узел «алогичного правдоподобия».

Первые спектакли Ежи Гротовский ставил в краковском театре Стары, которым руководил режиссер З. Хюбнер — ученик Юлиуша Остервы, под его влиянием, вероятно, работал Гротовский, создавая спектакли «Стулья» Э. Ионеско (1957), «Боги дождя» («Семья неудачников») Е. Кшиштовня (1958), «Дядя Ваня» А. Чехова (1959). Считается, что эти постановки были основаны на работе с актером в традициях Станиславского, так как именно Остерва перенес на польскую сцену основы психологического театра. С другой стороны, общие упоминания о первых опытах Гротовского наводят на мысль, что режиссер изначально работает по принципам интеллектуального зрелища. «Это были определенно «постановочные» представления, изобиловавшие не всегда оправданными формальными приемами, где актер был отодвинут на второй план. При этом упор делался на конфликт идей, мировоззрений, интеллектуальную дискуссию...»<sup>1</sup>.

Ежи Гротовский работал в традиционном театре всего десять лет с 1959 по 1969 гг., в конце этого периода режиссер, изучив и проверив на практике самые различные способы существования актера («биомеханику» В. Мейерхольда, классический танец индийского театра, «остранение» Б. Брехта и др.), пришел к идее использования теории и практики Станиславского в новом аспекте.

Одним из лучших спектаклей Гротовского стал «Стойкий принц» П. Кальдерона — Ю. Словацкого (1965). «Человеческое, не защищенное ничем, переступает в своей истовости всякие барьеры доброго вкуса и доброго воспитания, кульминация этого в экцессе, все происходящее вызывало ощущение катарсиса в его архаичной форме»<sup>2</sup> — пишет Л. Фляшен. Гротовский создает монтаж в зрительском и актерском восприятии, работая в том и другом случае через шок (определение Гротовского). В «Стойком принце» шок для зрителя — страдание. И действие выстраивается режиссером и в телесном, и в духовном измерении так, чтобы зритель идентифицировал себя с персонажем, становился на его место, испытывал его боль и его счастье. Через страдание к состраданию. Видимо

---

<sup>1</sup> Гродзицкий А. Режиссеры польского театра. Варшава, 1979. С. 45–46.

<sup>2</sup> Цит. по: Osiński Z. W teatrze // Laboratorium Grotowskiego. Warszawa, 1978. S. 55.

этот прием и давал катарсический эффект, о котором говорил Фляшен, давал «очищение сознания и души».

«Стойкий принц» стал результатом работы, которую Гротовский обозначил как «борьба с проблемой формирования личности и техники актера»<sup>1</sup>, это особенно проявилось в исполнении Рышарда Чесляка. В роли Фернандо он в совершенстве следовал актерскому методу Гротовского. «Исполнение Чесляка подтверждало теорию Гротовского о возможности и необходимости психологического озарения актера в работе над ролью, когда каждый жест, каждое движение, вся роль в целом направляется изнутри, полностью подчинены внутреннему настроению актера»<sup>2</sup>. Работа с актером — это поиск с использованием личных ассоциаций актера. Актер у Гротовского все меньше и меньше актер, все больше человек. Его актеры «совершают «акт души» с помощью собственного организма».

Ничто в работе с Чесляком не было связано с мученичеством. «Весь поток жизни в актере был связан со счастливым воспоминанием, с действиями, присущими этому конкретному воспоминанию из его жизни, с мельчайшими физическими и голосовыми импульсами этого припоминаемого им момента. Это был относительно короткий момент в его жизни, скажем, несколько минут любви его юности, связанных с ничейной землей, между чувственностью и молитвой. [...] Через множество деталей, через мельчайшие импульсы и действия, связанные с этим моментом его жизни, актер нашел для себя течение текста Кальдерона — Словацкого»<sup>3</sup>. При этом Гротовский построил все действие так, что зритель видел историю мук и страданий. Гротовский добился такой актерской техники, когда актер вообще не зависим от зрителя. Актер не пытается играть какой-то персонаж, он выражает вещи, ощущения, эмоции, которые связаны только с ним, с его собственной жизнью. Гротовский задает направление, благодаря которому личные переживания актера выливаются в точный образ, но этот образ не соответствует воспоминаниям актера.

В беседе с Анатолием Васильевым (одним из самых знаковых театральных экспериментаторов современного мирового искусства) Гротовский связывает систему Станиславского с понятием «персонаж». Актеру у Станиславского «нет никакой необходимости почувствовать себя «другим», нужно лишь понять об-

<sup>1</sup> Osiński Z. W teatrze // Laboratorium Grotowskiego. S. 54.

<sup>2</sup> Хазанов В. Ежи Гротовский на пути к бедному театру // Театр Гротовского: Театр. Лаборатория. Опыты. Встречи. М.: ГИТИС, 1992. С. 23.

<sup>3</sup> Гротовский Е. Искусство как средство передвижения // Московский наблюдатель. 1995. № 1–2 (май). С. 11–12.



стоятельства «другого». Гротовский определяет свою работу совершенно иначе: «В Театре-Лаборатории мы никогда не искали персонаж; ни из внутреннего, ни из внешнего, никогда. Однако в некоторой степени персонажи существовали для зрителя, потому что процесс, захватывающий актёра, обладал такой интенсивностью, что у зрителя возникало впечатление, что актёр совершенно преобразался. Есть путь когда ищут персонаж, и есть другой путь, когда не ищут персонаж, и есть еще один путь, существующий вне понятия персонаж и не-персонаж»<sup>1</sup>. Зритель считывает образы, выстроенные режиссером, а актёр «идет на поиски себя». Гротовский выходит на идею «искусства как средства передвижения». Актёр ищет в своем теле «элементы воспоминания прошлого. Мы откроем кого-то, кто — ни я, ни не-я, но кто был моим предшественником. И это уже ни персонаж, ни не-персонаж»<sup>2</sup>. Не искать персонаж не значит для Гротовского «играть» на сцене самого себя. Роль возникает вне персонажа, вне характера персонажа, и без использования актерской личности. Актёр не опирается в создании образа на психологию, напротив, он отвергает даже свой характер, преодолевает личность, идет к бессознательному.

В начале 1970-ых гг. Гротовский ушел из театра в традиционном понимании и стал разрабатывать идею антропологического театра исследующего/изучающего законы человеческого существования по средствам театральной практики. «Театр соучастия» или «Паратеатр» — проект осуществлявшийся во Вроцлаве в Театре-Лаборатории с 1970 по 1978 годы, Гротовский работал с группами из Польши, Франции, Италии, Германии, США, Канады, Австрии. Актёры и режиссёры, просто заинтересованные люди, погружались в естественную природную среду, далекую от цивилизации. Цель паратеатра — поместить человека в условия, пограничные между обыденным поведением и истинным, асоциальным существованием.

В центре антропологического театра всегда находится актёр. Для Гротовского, актёр — это любой человек, готовый к действию. Актёр — человек, который, изменяет себя. Театр становится ступенью на пути к подлинному человеку, актёр — тот подлинный человек, неотягощенный социальными штампами, умеющий «отдать себя» и нашедший путь к тому «чистому, что есть в его сознании». Театр для Гротовского — это место, где человек становится самим собой, не играя, а напротив избавляясь от множества социальных ролей и обыденных масок. «Актёр не «подражает» жизни, он выражает реалии, которые являются

---

<sup>1</sup> Цит. по: Васильев А. Хроника 14-ого числа // Искусство кино. 1999. № 6. С. 135.

<sup>2</sup> Там же. С. 133.

одновременно и актуальными для сиюминутного момента, и содержащими мифологическую основу»<sup>1</sup>.

Одним из самых знаменитых театральных опытов внутри паратеатра Гротовского стал проект «Гора». Руководили парaproектами актеры, которые сформировались и выросли в театре Гротовского. В данном случае, руководителем был знаменитый актер Рышард Чесляк. Парaproект представлял собой длительное восхождение на гору. Чесляк собирал группу людей, которые хотели участвовать в этом опыте. Они уходили в лес, шли очень долго, пару раз делали привал, и в конце концов подходили к горе. Восходили они как в драматическом спектакле, т.е. по дороге были остановки, говорили, пели, играли на музыкальных инструментах. Все эти импровизации Чесляка и восходящих на гору зрителей/участников были четко продуманны в структуре действия, все действия людей, их разговоры были направлены на создание единого архетипического образа горы, возникал образ Голгофы, Олимпа, мистических гор из восточной мифологии. «Специальный Проект» 1975 года вошедший в череду паратеатральных опытов начинался с постройки моста. Участники парaproекта и актеры Театра-Лаборатории Гротовского в первый вечер строили мост. Реальный мост через реку становился соединением незнакомых людей, которые впервые видят друг друга. Чтобы работать бок о бок, нужно было узнать имена друг друга, привыкнуть к ритму единого движения. Но параллельно работе Чесляк рассказывал о значении имени в человеческой жизни, «имя — это самый простой путь возврата к самому себе»<sup>2</sup>. Так из бытовой ситуации, благодаря актерам и выстроенной режиссером структуре, возникал архетипический образ. В паратеатре всегда есть фигура режиссера, которая никуда не исчезает. Гротовский выстраивает определенный сюжет спектакля-действия, нанизывая архетипические образы в структуре парaproекта так, чтобы общий миф складывался в единую историю. В сущности Гротовский использует на практике одно из положений К. Леви-Строса. «Подсознательное», по Леви-Стросу, сугубо индивидуально, бесконечно и разнообразно, все это многообразие рождает бесконечное количество зрительских интерпретаций парaproектов Гротовского, его актеры в момент совершения действия испытывают свои собственные чувства и эмоции. Но единое пространство действия создается в сфере «бессознательного» выступающего в роли объективного начала, «бессознательное» будит работа режис-

---

<sup>1</sup> Максимов В.И. Эволюция театральных идей // Введение в театроведение. СПб.: СПбГАТИ, 2011. С.69.

<sup>2</sup> Burzyński T. Obok Teatru // Laboratorium Grotowskiego. S. 121.

сера, который использует определенный миф и определенные архетипические образы, а уже актеры и зрители наполняют их собственным чувством.

Идеологически насаждаемая система воспитания актера дала в Польше удивительные всходы, на почве силой навязываемого художественного направления. Возникли новейшие тенденции развития актерского искусства, которые актуальны и в XXI веке.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев А. Хроника 14-ого числа // Искусство кино. 1999. № 6. С. 130–147.
2. Вокруг Гротовского. СПб.: СПбГАТИ, 2009. 208 с.
3. Гродзицкий А. Режиссеры польского театра. Варшава: Интерпресс, 1979. 223 с.
4. Гротовский Е. Искусство как средство передвижения // Московский наблюдатель. 1995. № 1–2 (май). С. 8–18.
5. Каплан В. Эрвин Аксер в БДТ // Петербургский театралный журнал. 2006. № 4. С. 49–57.
6. Лордкипанидзе Н. Спектакль, достойный Брехта // Известия. 1963. 17сент.
7. Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Академический проект, 2008. 555 с.
8. Максимов В.И. Эволюция театральных идей // Введение в театроведение. СПб.: СПбГАТИ, 2011. С. 27–70.
9. Степанова П.М. Театр без кулис: Театральные опыты Ежи Гротовского. СПб.: Гиперион, 2008. 176 с.
10. Театр Гротовского: Театр. Лаборатория. Опыты. Встречи. М.: ГИТИС, 1992. 250 с.
11. Хапов О.А. Антропологический театр и Ежи Гротовский// Основные драматические системы театрального искусства XX века. Челябинск, 1996. С. 90–99.
12. Laboratorium Grotowskiego. Warszawa: Interpress, 1978. 150 s.
13. Osiński Z. Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 1998. 411 s.

**Д. Г. Вирен**

Государственный институт искусствознания,

Москва, РФ

## ДЕКОНСТРУКЦИЯ СОЦРЕАЛИСТИЧЕСКОГО КАНОНА В ПОЛЬСКОМ КИНО 1970–1980-Х

1970-е годы в Польше, равно как и в большинстве социалистических стран, — время усиливающегося ощущения безвыходности, раздражения, апатии. Польский кинематограф этого десятилетия характеризуется (как и в некоторых других социалистических государствах — в первую очередь, СССР) постепенным, но необратимым стремлением, с одной стороны, проникнуть во внутренний мир человека, отринув социальные факторы, с другой — подвергнуть переоценке недавнее — послевоенное — прошлое.

Кинематографисты забили тревогу. Так появилось течение, вошедшее в историю под названием «кино морального беспокойства». Один из его основных представителей Кшиштоф Кесьлёвский снял ленту «Шрам» (1976), где фабульная схема типичной производственной драмы оборачивалась драмой экзистенциальной. Главный герой ленты, директор Беднаж (в исполнении Франчишека Печки), претворяя в жизнь более чем спорное решение построить комбинат на территории заповедного леса, оказывается загнанным в тупик, в результате чего добровольно покидает свой пост и возвращается к семье.

В это же время возникло пародийное направление, высмеивавшее характерные черты жизни при социализме. Марек Пивовский, за плечами которого уже было несколько очень важных документальных фильмов (в первую очередь, «Пожар! Пожар! Наконец что-то происходит» (1967), снял в 1970 году «Рейс» — парадокumentальную комедию, где объектом насмешки стали повсеместно распространенные тогда торжественные собрания и коллективные праздники. По праву считающийся одним из лучших польских фильмов всех времен и разошедшийся на цитаты, культовый «Рейс» снимался преимущественно импровизационным методом с участием множества непрофессиональных актеров. Эта

лента прошла в кинотеатрах самым что ни на есть «третьим» экраном, но благодаря атмосфере сгущающегося абсурда, которую ей удалось зафиксировать, стала одним из главных документов (sic!) эпохи.

Заметим в скобках, что следующим игровым фильмом Пивовского стала картина «Извините, здесь бьют?» (1976), которая также носит явный перемешанный характер, а точнее — по мере развития действия оказывается «ложным» криминальным фильмом. Замечательная стилизация под детектив (особенно в начальных «немых» сценах), игра с жанром постепенно уступают здесь место социально-психологической проблематике. На первый план в результате выходит то самое «моральное беспокойство», например, в эпизоде, когда один из главных героев — милиционер — произносит фразу: «Пойми ты, не существует единой этики для всех». Проблема, очень актуальная и сегодня, не правда ли?

Факт появления «Рейса» встраивается в один ряд с развитием в 70-е годы в Польше социально-политических хэппенингов: в деятельности уличного театра «Академия движения» или, скажем, творческой группы «Квекулик». Отголоски этой поэтики заметны у «Оранжевой альтернативы», предложившей в конце 80-х взамен соцреализму «сюрреалистический реализм» и устраивавшей акции, которые доводили устои и порядки социалистического общества до полного абсурда. Впрочем, к этому мы еще вернемся.

Очевидно, что в условиях, когда до развала Варшавского договора оставалось больше десяти лет, реализовывать подобные «подрывные» интенции было не так просто. Стоит, однако, отметить, что Польша, с точки зрения цензуры, была, возможно, наиболее либеральной (насколько это слово вообще применимо в данном контексте) страной для художников, и не только кинематографистов. Достаточно вспомнить, что именно в этой стране еще в конце 60-х, например, стало развиваться искусство перформанса, фактически не существовавшее у соседей по соцлагерю. В 70-е годы концептуальное искусство в Польше функционировало едва ли не наравне с «официальным», а экспериментальный размах и богатство различных художественных проектов того времени до сих способны поразить воображение исследователя.

Пожалуй, дальше всех по экспериментальному пути, пути разрушения стереотипов пошел режиссер Войцех Вишневецкий (1946–1981). Он прожил обидно мало и работал в кино чуть больше 10 лет, и тем не менее оставил уникальное творческое наследие. К сожалению, о нем сейчас вспоминают не так часто, как он того заслуживает. Остановимся на нескольких фильмах Вишневецкого, в ко-

торых осуществляется деконструкция соцреалистического канона. Главным образом мы сосредоточимся на двух картинах, снятых на основе репортажей Ханны Краль. Живой классик репортажа и гуру современных польских репортеров рассказывала в них о бывших передовиках производства и размышляла над ценой общественного успеха, которую им пришлось заплатить за то, что их потом и кровью создавался один из важнейших мифов эпохи социалистической стройки.

С первых же кадров телевизионного фильма «Рассказ о человеке, выполнившем 552% нормы» (1973) мы наблюдаем за обычным днем из жизни некоего предприятия, по которому главный герой Бернард Бугдол ходит с проверкой. Снятые с рук, ничем не примечательные, будничные кадры... И вдруг перед главными титрами — резкое укрупнение спины героя, которое монтируется с одной из мраморных статуй, украшающих варшавский Дворец культуры и науки. Так Вишне夫斯基 задает оппозицию парадности и обыденности, торжественности и разочарования, которое впервые ощущается в сцене, где Бугдол со всей семьей смотрит хроникальный репортаж о своем трудовом подвиге. Анна Сливиньская, исследовательница творчества Вишневского, заметила, что его режиссерская концепция (причем не только в этом фильме) заключается «в создании приподнятого настроения и его сознательном подрыве через некоторое время»<sup>1</sup>. Такая контрастность ощущается и в операторском решении: «монументальные» ракурсы, в которых преимущественно снят главный герой, чередуются с намеренно небрежными панорамами верхнесилезских городов и суровыми портретами рабочих.

Короткие, неохотные высказывания коллег Бугдоло об их отношении к факту перевыполнения им нормы добычи угля сняты в духе фильма Кшиштофа Кесьлёвского и Томаша Зыгadlo «Рабочие-71: ничего о нас без нас» — это не слишком удивляет, если вспомнить, что Вишне夫斯基 принимал участие в работе над той лентой. В чем же тогда заключается формальное новаторство «Рассказа...»? Вот небольшой эпизод на могиле передовика производства Винченца Пстровского. Мы слышим голос ребенка, декламирующего стихотворение о Пстровском, при этом в кадре никаких детей нет. Зато режиссер дает крупные планы рабочих — их будто застывшие, мертвенные лица. В этой сцене уже от-

---

<sup>1</sup> Śliwińska A. W świecie paradoksów („Opowieść o człowieku, który wykonał 552% normy” i „...sztymar na zagrodzie...”) // Wojciech Wiszniewski / Redakcja naukowa Marek Hendrykowski. — Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. S. 84.

четливо прочитываются элементы эстетики будущих лент Вишневого: скульптурная статичность, нелинейный монтаж, дискурсивный звук.

В подобном ключе решена сцена, где члены семьи Бугдола рассказывают, что его успехи на трудовом фронте в сущности лишь делали их несчастными. Здесь необходимо подчеркнуть, что Бугдол после войны был самым настоящим «человеком из мрамора», одним из образцовых героев эпохи. Его «официальная» биография авторства Ольгерда Будревича была выпущена в 1953 году и носила название «Путь Бернарда Бугдола». В 60-е годы к его истории решила обратиться Ханна Кралль. Пообщавшись с ним, она назвала получившийся репортаж не патетично, даже неприметно, но совсем не случайно — «Спокойный воскресный день». Автор книги «Кралль и кинематографисты» Катажина Монка-Малыньская замечает: «Историю жизни семьи Бугдолов с того дня, когда он поставил свой производственный рекорд, рассказывает жена Магдалена. Собственно репортаж Кралль — это и есть монолог Магды. Так в перспективе жены “передовика на пенсии” традиционный и монументальный портрет рабочего подвергается демифологизации»<sup>1</sup>. И далее: «“Рассказ...” Вишневого — это документальная адаптация репортажа. Кажется, что режиссер прочитывает в тексте Кралль ключ к пониманию ситуации героя. Так же, как и Кралль, Вишневский сталкивает миф с действительностью»<sup>2</sup>. Камера неспешно панорамирует по комнате, периодически выхватывая (а точнее — словно вынимая) из фона лица. Герои молчат, но за кадром звучат их признания.

Даже, казалось бы, традиционное интервью решено здесь нестандартно. Оно начинается с долгой паузы и короткого «Нет», произнесенного Бугдолом. Зритель никогда не узнаёт, над каким вопросом столь мучительно раздумывал пожилой герой труда, да это и не так важно. Камера всматривается в его лицо из-за спины режиссера, и мы видим просто-напросто потерянного человека, который пытается скрыть свои неудачи за клише, но эти искусственные, готовые формулировки лишь еще больше обезоруживают его.

Мастерство Вишневого заключается в том, что он деконструирует эстетические принципы соцреалистической документалистики при помощи ее же приемов. Но этим его авторские интенции не ограничиваются: «Вишневский использует ушедшую в прошлое поэтику пропагандистской документалистики, чтобы обнажить руководящие ею правила и показать крах пропаганды тех лет»<sup>3</sup>. Идеалы

<sup>1</sup> *Mąka-Malatyńska K. Krall i filmowcy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006. S. 122.*

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Mąka-Malatyńska K. Op. cit. S. 124.*

эпохи оказываются вывернутыми наизнанку. Бывшие передовики производства, герои труда предстают перед зрителем застывшими в лозунгах прошлого, мертвыми «людьми из мрамора». Обращаясь к финальному эпизоду «Рассказа о человеке, выполнившем 552% нормы», который можно интерпретировать по-разному, Сливинская пишет: «Несмотря на блеск прожекторов, Бугдол — герой, который уже не имеет права на существование, вернее так: миф, который вырос вокруг явления трудовых рекордов, полностью использован и исчерпан»<sup>1</sup>.

Углубление этого процесса продолжается в несомненном шедевре Вишневого «Ванда Гостиминьская, ткачиха» (1975), где разрушение канона происходит на уровне языка (причем как суммы выразительных средств, так и речи в буквальном значении этого слова). Вот один из эпизодов, названный «Поколения»: главная героиня, также «передовик на пенсии», разговаривает с коммунистической молодежью. Однако назвать это нормальным общением довольно трудно, поскольку вопросы и ответы не уступают друг другу по степени клишированности. Вишневецкий не дает зрителю услышать ответ на последний заданный вопрос и показывает, как ребята аплодируют — но при этом полностью «отключает» звук. Зачем? Ответ лежит на поверхности: эти аплодисменты ожидаемы, формальны и потому лишены смысла.

К слову, эффект этой сцены будет с удвоенной силой достигнут в хрестоматийном финале следующей короткометражки Вишневого «Букварь» (1976). В нем два деревенских мальчика на вопрос «А во что ты веришь?» отвечают молчанием, в то время как, согласно стихотворению Владислава Белзы «Катехизис молодого поляка», должен следовать ответ: «В Польшу верю». Польская исследовательница отмечает, что в обеих этих сценах звучат «вопрос о будущем и острая критика любых форм индоктринации»<sup>2</sup>.

Ванда Гостиминьская при ближайшем рассмотрении оказывается человеком обезличенным. В одной сцене она долго всматривается в свой огромный, во всю стену, портрет из серии «Люди тридцатилетия» и будто не узнает себя. В другой же сцене мы видим ее за семейным столом, однако даже в такой, казалось бы, непринужденной домашней атмосфере она сидит навтыяжку, при этом на стене сзади нее повторяются в рир-проекции кадры хроники рубежа 1940–50-х. «Автор соединяет таким образом две эпохи: годы славы и современность, равнозначную забвению. Застывшее лицо героини, которая неподвижно сидит

---

<sup>1</sup> Śliwińska A. Op. cit. S. 85.

<sup>2</sup> Mąka-Malatyńska K. Op. cit. S. 120.



за столом во время семейного торжества, знаменует, что она стала заложником времени<sup>1</sup>. Становясь благодаря трудовым успехам своего рода иконой, Ванда Гостиминьская теряет себя как человек, как личность.

Особую роль в процессе выявления этих внутренних процессов играет речь. В другой своей работе Монка-Малятыньская пишет по поводу «Ванды Гостиминьской, ткачихи»: «Хотя героиня, как в классическом документальном фильме, говорит прямо на камеру, фразы подаются искусственно, их делает “ирреальными” введенное в фонограмму эхо»<sup>2</sup>. Точное замечание. Неискушенному зрителю (да и то лишь на первый взгляд) может показаться, что перед ним — вполне аутентичный фильм об истории соцсоревнования. Однако степень механизированности, с какой Гостиминьская произносит свои фразы-лозунги, и изображение, на которое режиссер накладывает ее монологи, заставляют усомниться в прямолинейности авторского замысла. Речь «вместо того, чтобы подтверждать и укреплять звучание, экспонирует фальшь путем сопоставления с сильно деформированным изображением»<sup>3</sup>.

Любопытно с этой точки зрения, что в своем последнем документальном фильме под названием «...штейгер в усадьбе...» (1978) Вишневецкий вообще отказывается от синхронной речи, которая в те годы была повсеместно распространена среди документалистов. В качестве комментария режиссер использует народную песню. Впрочем, здесь дело уже не в отсылках к соцреалистическому кино — продолжая начатые в «Ванде Гостиминьской...» поиски, режиссер создает цельную звуковую концепцию, которая заставляет вспомнить опыты крупнейшего польского киноэкспериментатора 70-х Гжегожа Круликевича (речь о нем чуть ниже). При помощи звукового крупного плана Вишневецкий обращает внимание зрителя на отдельные скрипы, шумы, короткие реплики.

Этот инсценированный документальный фильм о человеческой враждебности, о нежелании коллектива принять к себе «чужака» становится ярким примером сочетания в кино 70-х проблематики «кино морального беспокойства» с авангардистскими тенденциями. Вишневецкий предлагает парадоксальный «...двойной портрет времени: прошлого — былых успехов героев, и времени съемок»<sup>4</sup>. Монка-Малятыньская замечает: «Язык социалистического реализма

<sup>1</sup> *Mąka-Malatyńska K.* Op. cit. S. 121.

<sup>2</sup> *Mąka-Malatyńska K.* „Wanda Gościmińska włóknianka” — demontaż filmowej nowotomowy // Wojciech Wiszniewski / Redakcja naukowa Marek Hendrykowski. S. 111.

<sup>3</sup> *Ibidem.* S. 118.

<sup>4</sup> *Mąka-Malatyńska K.* Krall i filmowcy. S. 114.

распадается, это в сущности автодеструкция»<sup>1</sup>. Самое главное, однако, то, что на обломках этого «кинематографического новояза» появились картины Войчеха Вишневого, не имеющие аналогов ни в Польше, ни в других странах мира.

Возвращаясь к теме взаимоотношений кинематографа и авангардного искусства в ПНР, необходимо сказать, что связи между ними были довольно спорадические и совсем не такие очевидные, как может показаться. Тем не менее их взаимодействие оставило в истории кино несомненный след. Достаточно вспомнить, что гуру польского современного искусства Збигнев Варпеховский не раз выступал в качестве художника-постановщика в игровом кино (главным образом у Круликевича), а концептуальная художница Эва Партум стала автором сценографии в «Ванде Гостиминьской, ткачихе».

И, конечно же, не случайно, что все тот же Круликевич, который в 70-е годы был связан с авангардной лодзинской группой «Мастерская киноформы», в короткометражке «Предтеча» задействовал актеров из «Академии движения». Этот уличный театр устраивал свои представления непосредственно в городском пространстве. Так, например, его артисты пародировали очередь в магазин, вставая рядом с ней, или покупали один за другим газету и, быстро просмотрев один разворот, тут же выбрасывали в близстоящую помойку. «Предтеча» — фильм, снятый в 1988 году, на стыке эпох, соединил в себе деконструкцию и пародию. В известном смысле он завершает процесс, вынесенный в заглавие статьи, и открывает поле для его интерпретации в новых политических условиях. Остановимся на этой примечательной ленте чуть подробнее.

Короткометражная картина «Предтеча» была снята на Студии научно-популярных фильмов в Лодзи (там же, к слову, работал Вишневицкий) и в некотором смысле развивала его поиски. Фильм строится на закадровом монологе самого режиссера, который рассказывает об ученом Мариане Мазуре — отце польской кибернетики, которая в послевоенный период считалась в социалистических государствах наукой буржуазной и вообще лженаукой. История этого человека и его учения интересуют Круликевича в двух аспектах.

С одной стороны, в биографии Мазура и предложенной им концепции действительного и мнимого характеров как в зеркале отражается социалистическая эпоха с ее стремлением к конформизации общества. С другой — эта личность сама по себе явным образом близка режиссеру. Несчастливая участь Мазура па-

---

<sup>1</sup> *Mąka-Malatyńska K.* „Wanda Gościńska włóknarka” — demontaż filmowej nowomowy. S. 114.

радоксальным образом является для Круликевича источником надежды. Убежденность ученого в том, что только будущие поколения будут в состоянии понять всю глубину и новаторство его теорий, во многом напоминает отношение Круликевича к критике его экспериментальных картин. Так, после выхода ленты «Танцующий ястреб» режиссер заявил в интервью официальному критику Чеславу Дондзилло по поводу своего творчества: «...лишь спустя годы, следующие поколения откроют всю сложную красоту этих фильмов»<sup>1</sup>.

В «Предтече» режиссер рассуждает: «Кибернетика обнаруживает всевозможные ошибки и подлости». Кинематографический метод Круликевича, в свою очередь, направлен на последовательное разрушение соцреалистических канонов. Правда, если Вишневицкий делал это главным образом изнутри кинематографического нарратива, то Круликевич работает с существующими в реальности знаками эпохи. Его монолог в фильме накладывается на сцены самого разного содержания, однако большая часть действия так или иначе связана с Дворцом культуры и науки, который, и это стоит подчеркнуть в данном контексте, был «подарком Сталина» Варшаве и всему польскому народу.

Артисты «Академии движения», нарядившись в черные балахоны, заставляющие вспомнить не то ку-клукс-клан, не то монахов-бенедиктинцев, разыгрывают перед входом во Дворец, а также на его мраморных ступенях странные сценки, подчас не до конца проясненного содержания. Понятно одно: они косвенно или напрямую иллюстрируют различные положения теории Мазура. Впрочем, важнее не столько то, что происходит в кадре, сколько общая атмосфера заката (в прямом и переносном смысле), упадка, обесточивания системы. Этого просто нельзя не заметить, воздух переходной эпохи ощущается буквально в каждой секунде экранного времени.

Особое значение режиссер придает эпизодам внутри Дворца, в великолепном Зале конгрессов, где проходили съезды партии. В этих интерьерах в стиле «сталинского ампира» разворачивается пародийное совещание, во время которого всех участников, высказывающих свои предложения, клеймят с трибуны, навешивая на них разного рода ярлыки. Абсурдность происходящего усиливается за счет выступлений на сцене весьма экстравагантной оперной певицы в красном платье и с красными волосами.

Заметим, что уже в ранних документальных работах Круликевича «Мужчины» (1969) и «Не плачь» (1972) чувствовалось сильное критическое начало (не-

---

<sup>1</sup> Цит. по: *Dondźillo Cz. Młode kino polskie lat siedemdziesiątych*. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985. S. 44.

случайно обе лежали на полке до 1989 года), однако только в «Предтече» отношение режиссера к социалистической действительности проявилось в полной мере и на всех уровнях. В этой небольшой ленте он одновременно вскрыл и спародировал механизмы функционирования власти в условиях тоталитарного режима.

Круликевич в некотором смысле поставил точку в процессе, начатом (в частности) в авангардных фильмах Вишневого. Они оба стремились обнажить лицемерие и ложь, которыми была пропитана общественно-политическая жизнь Польской Народной Республики, и показать на конкретных примерах, как обычные люди становились жертвами исторических обстоятельств. Эти задачи им удалось выполнить блестяще, при этом обогатив язык кино и расширив представления о его возможностях.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Dondziłło Cz.* Młode kino polskie lat siedemdziesiątych. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985.
2. Wojciech Wiszniewski / Redakcja naukowa Marek Hendrykowski. — Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006.
3. *Mąka-Malatyńska K.* Krall i filmowcy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006.

А. Питрус

Ягеллонский университет, Краков, Польша

## ОЛЬГА ЧЕРНЫШЕВА: ДРУГАЯ СТОРОНА ИМПЕРИИ. OLGA CHERNYSHEVA: INNA STRONA IMPERIUM

Сztuka mediów zajmuje w Rosji szczególną pozycję. Nadal uważana jest za dziedzinę nową, choć jednocześnie dorobek rosyjskich artystów znany jest już na całym świecie. O bogactwie tego obszaru działań artystycznych może świadczyć choćby wystawa rosyjskiej sztuki wideo zorganizowana w MMOMA (Moskiewskim Muzeum Sztuki Współczesnej), imponująca rozmachem, zarówno pod względem liczby prezentowanych prac, jak i ich różnorodności tematycznej i stylistycznej. A to przecież tylko jeden z obszarów *media artu*. Co więcej to obszar dziś uważany za marginesowy, postrzegany zwykle jako etap historii rozwoju sztuki nowych mediów, zarzucony przez wielu artystów, dla których był on niegdyś najważniejszym środkiem wyrazu. Przemiany polityczne przełomu lat 80. i 90. skłaniają jednak do pewnego przewartościowania. W latach 80. w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych zainteresowanie klasycznym wideo w istocie malało, pojawiały się technologie, które kusily artystów nowymi możliwościami, przede wszystkim związanymi z interaktywnością. Wideo nie zostało oczywiście całkowicie odrzucone, ale często — jak np. W pracach Grahama Weinbrena — było już tylko częścią instalacji. Jednocześnie — odchodzące w niepamięć medium zwróciło uwagę artystów z krajów, w których rozwój video artu był opóźniony przez czynniki natury politycznej, czy nawet ekonomicznej. Dziś najciekawsze realizacje znajdziemy w sztuce chińskiej, rosyjskiej, czy w pracach artystów pochodzących z krajów powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele i trudno będzie określić jedną najważniejszą. Zapewne znaczenie ma sam fakt niewykorzystania potencjału medium przez artystów niemających wcześniej dostępu do określonych technologii. Ale nie tylko: przypuszczać można też, że to właśnie wideo było dla młodych twórców Chin czy Rosji najbardziej dostępne. Chodzi tu przy tym nie tylko o ceny samego sprzętu czy nośników, ale także o dostępność prac twórców zachodnich. O ile kontakt ze sztuka

interaktywną, czy instalacją wymagał kosztownych podróży, o tyle prace klasyków wideo dostępne są znacznie łatwiej — w istocie bowiem nie ma większego znaczenia, czy oglądamy wideo Bruce Naumana w galerii, czy we własnym domu — na ekranie telewizora, czy komputera.

Wideo zachowało potencjał niedostępny innym mediom audiowizualnym. Jest ono także dzisiaj przekątnikiem najbardziej intymnym, zdolnym przekazywać indywidualne emocje i obrazować jednostkowe doświadczenia. To również musiało być pociągające dla twórców zmuszonych wcześniej konfrontować swoją sztukę z ideologią, często represjonującą jednostkowe wypowiedzi. Na gruncie sztuki rosyjskiej znajdziemy wiele przykładów prac artystów próbujących dokonać rozrachunku z przeszłością.

Do grona tych, których propozycja wydaje się najciekawsza należy bez wątpienia Olga Chernysheva<sup>1</sup>, której prace, choć doceniane zagranicą i atrakcyjne dla międzynarodowego środowiska kolekcjonerów, zanurzone są bardzo głęboko w doznawaniu czasu politycznego przełomu. Choć wykorzystuje także inne formy ekspresji to właśnie wideo jest niejako centrum jej artystycznego świata, swoistą matrycą, z której wyrastają jej fotografie, lightboxy czy instalacje. Uniwersalność zapewnia jej umiejętność znalezienia złotego środka między wypowiedzią czytelną w kontekście politycznym, a głosem jednostki pozwalającym zobaczyć rzeczywistość z perspektywy niedostępnej ludziom, którzy nie doświadczyli życia w reżimowym państwie. Artystka, choć celnie komentuje przemiany, jakie zaszły i nadal zachodzą w rosyjskim społeczeństwie, jest jednocześnie daleka od postawy publicystycznej — obecnej w dokonaniach niektórych artystów z Rosji. Warto przy tym zaznaczyć, że postawa taka może przynosić interesujące rezultaty — dość przypomnieć dokonania grupy *Sinije nosy*, która wzbudza zainteresowanie nie tylko w Rosji, ale także poza jej granicami (prezentacja ich prac była wydarzeniem Biennale w Wenecji). Chernysheva jest jednak jak najbardziej daleka od nieco prześmiewczych strategii artystów z Nowosibirska: jej głos jest może mniej donośny, ale nie mniej istotny, choć zapewne skierowany do bardziej aktywnego widza, poszukującego kontaktu ze sztuką przemawiającą prostymi środkami, które pozwalają budować nieoczywiste znaczenia, akcentujące raczej otwartość niż poszukujące jednej celnej puenty.

Oglądając prace Olgi Chernyshevej, będące w dużej mierze zapisem rosyjskiej rzeczywistości po upadku radzieckiego imperium, przypomniałem sobie o projekcie Jó-

---

<sup>1</sup> Postępuję się angielską transliteracją nazwiska, gdyż artystka mieszka i pracuje w dwóch miastach — Moskwie i Amsterdamie. Na Zachodzie, gdzie często wystawia swoje prace znana jest właśnie jako Olga Chernysheva.

zefa Robakowskiego. Artysta ten przez ponad dwadzieścia lat obserwował wydarzenia rozgrywające się przed łódzkim blokiem, w którym mieszkał. Pierwsze ujęcia powstały jeszcze przy użyciu taśmy filmowej, ostatnie zrealizował już kamerą elektroniczną. Ta niezwykle kronika skupia się na rzeczach banalnych: widzimy sąsiadów twórcy, jego żonę ukaraną mandatem przez milicję, ale także pierwszomajowe pochody czy w końcu obrazy przemian lat dziewięćdziesiątych. Obrazy życia codziennego obejmują okres od 1978 roku, aż po sam koniec XX w. Towarzyszy im komentarz zza kadru, wypowiediany przez samego Robakowskiego — równie intymny co same obrazy, które, choć pozornie bezosobowe i „przezroczyście”, w istocie docierają do jakiejś trudnej do wypowiedzenia tajemnicy rzeczywistości.

Olga Chernysheva, uważana dziś za jedną najciekawszych postaci rosyjskiej sztuki współczesnej, posiada chyba podobną wrażliwość odkrywania sfer niedostępnych nieuważnemu obserwatorowi. Robakowski portretował w istocie upadek totalitarnego imperium i narodziny nowej rzeczywistości, której zwiastunem stał się pięciogwiazdkowy hotel budowany w okolicach „łódzkiego Manhattanu”, ona natomiast przygląda się nowej Rosji. Choć Chernysheva unika komentarza, pozostawiając odbiorcy większą swobodę, w obydwu wypadkach procesy zachodzące w sferze socjo-politycznej ukazane są przez ich zewnętrzną powłokę. Artystów połączyła też umiejętność skupienia się na detalu, swoistej redukcji, pozwalającej w obserwacji powierzchni zawrzeć głębię i przenikliwość ich komentarza. Robakowski tak komentował swoje dzieło:

Od czasu do czasu „wyglądałem” z kamerą filmową lub wideo przez moje kuchenne okno na wielki plac, który stał się bohaterem tego notatnika. Mimo mojej woli zachodziły na tym placu ciągłe zmiany, zdarzenia społeczno-polityczne. Interesowało mnie również życie codzienne ludzi, których ten plac dotyczył. Obecnie minęło przeszło dwadzieścia lat od pierwszych filmowych zdjęć. Ten odłożony czas na taśmie stał się bohaterem tego przedsięwzięcia. W 1998 roku Władze Miasta postanowiły na naszym pięknym placu wybudować zagraniczny hotel. Trwa jego budowa. Za chwilę widok z tego okna obejmie zaledwie fragment ściany hotelu. Wtedy zdecyduję się zakończyć tę filmową kronikę (podkr. AP).<sup>1</sup>

Deklaracja łódzkiego twórcy zwraca uwagę na fundamentalną różnicę między artystami. Robakowski akcentuje w swojej pracy czas teraźniejszy, tworzone przez niego obrazy — nawet oglądane po latach — zawsze ukazują „tu i teraz”. Powstanie hotelu, które skłania artystę do zaprzestania realizacji jest znakiem zanegowania pewnej cią-

---

<sup>1</sup> Robakowski J., *Obrazy energetyczne*, WRO Art Center, Wrocław 2007, s. 104.

głości. Luksusowy budynek wymazuje z przestrzeni miejskiej to, co minione. Rosyjska artystka bardziej aktywnie poszukuje śladów tego, co minione. Gdyby to ona sportretowała przemianę placu przy dzisiejszej ulicy Piłsudskiego, szukałaby raczej na ścianie hotelu zatartych cieni pierwszomajowych pochodów. Olga Chernysheva inaczej podchodzi do czasu, niejednokrotnie wręcz przełamując naturalną temporalną predylekcję wykorzystywanego medium. Przeszłość jest zawsze obecna, nawet jeśli zostanie zasłonięta przez współczesność.

Chernysheva ukończyła studia w Moskwie jeszcze w czasach Imperium. Zaistniała jednak jako artystka dopiero na początku następnej dekady już po przemianach we Wschodniej Europie. W 1992 zorganizowała w stolicy Rosji autorską wystawę, kolejną już w Amsterdamie, do którego wyjechała aby kontynuować studia. Jednak do dzisiaj pozostała artystką rosyjską, choć jej prace są wysoko cenione na Zachodzie i kupowane przez kolekcjonerów oraz prestiżowe galerie i muzea. To właśnie Rosję reprezentowała podczas weneckiego biennale w 2001 roku.

Pokazała tam projekt wykorzystujący jej ulubioną formę. Chernysheva nie jest wierna jednemu medium. Chętnie realizuje projekty fotograficzne, tworzy prace *single channel video*, jak również instalacje łączące różne środki artystycznego wyrazu. Bardzo często wraca jednak do lightboxów, użytych także w „Second Life”<sup>1</sup>.

Jej projekt ma, podobnie jak wiele innych prac, minimalistyczny charakter i realizuje rygorystyczny koncept. Artystka przedstawiła w nim serię portretów przypadkowych kobiet sfotografowanych w scenerii moskiewskiego metra. Każda z nich przedstawiona jest z tyłu, nigdy nie widzimy twarzy. Wszystkie kobiety ubrane są w futra i puszyste czapy.

Chernysheva uchwyciła tu moment napięcia pomiędzy funkcją futra w Rosji, a jego symbolicznym obudowaniem w krajach zachodnich. W autorskim komentarzu zwraca uwagę na „banalność” futra w Rosji, gdzie służy ono jedynie celom praktycznym, stając się ochroną przez surowymi moskiewskimi zimami. Jednocześnie Rosja, uchwycona została w momencie przejścia od imperialnej przeszłości, która pozwalała zachować własne odrębne kody codzienności, do pozycji partnera Zachodu i uczestnika jego kultury. Futro jest tu nie tyle okryciem, co wyznacznikiem statutu społecznego, przywołuje skojarzenia z *glamour* i seksualnością. Proces ten zmusza Rosjan do adresowania swoich zachowań i przyzwyczajzeń.

Tytuł instalacji opiera się na pewnego rodzaju grze słów. „Drugie życie” odnosi się do zwierząt, z których futer wykonano płaszcze, kurtki i czapki. Można go też rozu-

---

<sup>1</sup> Posługują się angielskimi tytułami prac, gdyż w ten sposób są one opisywane w międzynarodowych katalogach sztuki.



mieć jako „inne życie”, co odnosi się do odmiennych znaczeń ubioru w Rosji i świecie zachodnim.

Tematyka związana z kodami życia codziennego była obecna także we wcześniejszych pracach moskwiczanki. W pochodzących z początku lat 90. instalacjach „Art of / for the consumption” i „BW Book” wykorzystała nadnaturalnej wielkości modele żywności — słodczy i tradycyjnych rosyjskich potraw — czyniąc je obiektami artystycznymi, nie tylko dzięki uruchomieniu Duchampowskiego gestu artysty, ale też dzięki czysto wizualnym skojarzeniom z malarstwem i ceramiką. Jednym z tematów powracających w jej pracach jest więc nowy układ sił między sferą konsumpcji i sztuki. Rosja w czasach komunizmu represjonowała postawy konsumpcyjne, jednocześnie zezwalając na ograniczoną samorealizację jednostki w przestrzeni doznań artystycznych. Dziś sfery te uległy przemieszczeniu, także dlatego że sztuka w Rosji przełomu wieków w sposób gwałtowny podległa procesowi urynkowania.

Ciekawym projektem była praca „Russian chocolates or natural anti-depressant” zainspirowana doświadczeniami połowy lat 80. Artystka wspomina, że w czasie najgłębszego kryzysu w sklepach zawsze dostępne były czekoladki — jako rodzaj kompensacji, mającej „osłodzić” niedostatki zaopatrzenia sklepów. W bombonierkach można było znaleźć indywidualnie zapakowane słodcze opatrzone numerem oraz imieniem i nazwiskiem osoby, która odpowiedzialna była za pakowanie produktu. Nabywca otrzymywał w ten sposób podpisaną „przesyłkę” od konkretnej osoby. Instalacja wykorzystująca fotografie oraz model bombonierki zawierającej spersonalizowane łakocie przynosi kolejną refleksję na temat więzi społecznych w nowej Rosji, w czasach kiedy zaniechano już praktyki, która zainspirowała artystkę.

W twórczości Chernyshevej często pojawia się nostalgia i emocje, choć jej prace mają też postkonceptualny charakter. Być może w ten sposób ujawnia się jej rosyjskość, zderzona jednak z inspiracjami sztuką Europy zachodniej. W komentarzach do prac Olga Chernysheva często przywołuje Waltera Benjamina, przede wszystkim jako autora koncepcji *flâneura*.

Dla *flâneura* ulica podlega tej oto metamorfozie: prowadzi go ona przez czas już znikniony. Wędruje nią sobie, a każda jest dlań stroma, wiedzie go w dół: jeśli nie wprost do Matek, to jednak w przeszłość, która może być tym głębsza, że nie jest jego własną, prywatną przeszłością. Mimo to pozostaje ona przeszłością pewnej młodości. (...)

Figura *flâneura* posuwa się wybrukowaną ulicą o podwójnej nawierzchni jakby poruszana mechanizmem zegarowym. (...)

Lekkie oszołomienie ogarnia tego, kto dłuго i bez celu wędruje ulicami. Każdy krok takiego marszu potężnieje; ponęty sklepów, knajpek, uśmiechniętych kobiet słabną coraz bardziej, za to coraz silniejszy staje się magnetyzm najbliższego rogu, odległego zamglonego placu, pleców idące przed nami kobiety.<sup>1</sup>

Ona sama jest takim wędrowcem podpatrującym ludzi i miejsca. Ulica wybrukowana podwójną nawierzchnią, o której wspomina autor „Pasaży”, przywołuje figurę palimpsestu, będącą bodaj najważniejszym tropem twórczości rosyjskiej artystki. Jej światy są zawsze podwójne: na stare struktury nakładają się nowe wzory, tworząc całość niepozwalającą się rozdzielić.

W cyklu lightboxów „Kind People!” fotografuje kloszardów, handlujących starzyzną, a także przedmioty — stare ubrania, buty, naczynia. Jej bohaterowie są zawieszani pomiędzy niebem a ziemią, starym i nowym. Ich działania są z jednej strony echem ekonomicznych praktyk starego porządku, będących rodzajem jedynie możliwej alternatywy dla socjalistycznej pseudoekonomii, a z drugiej strony zwiastunem nowego, kapitalistycznego porządku. Kiedy indziej — w „Dream Street” — przygląda się miescom. Instalacja składająca się z dziesięciu obrazów pokazuje obrazy ulicy, której nazwę zmieniono z „Leśnej” na tytułową „Ulicę Snu”. Pierwszy lightbox ukazuje tablicę, na której umieszczono nową nazwę — ponownie na zasadzie palimpsestu, zasłaniającego oryginalny napis. Litery przyklejone do emaliowanej powierzchni szybko jednak odpadły ukazując trwanie przeszłości i pamięci oraz bezsens działań adaptujących stare do potrzeb współczesności. Należy jednak pamiętać, że Chernysheva nie waloryzuje przeszłości jednoznacznie pozytywnie. Nostalgiczność jej twórczości nie ma charakteru ani uproszczonego, ani tym bardziej melodramatycznego. Nie mamy tu do czynienia z prostym westchnieniem za imperialnym porządkiem, lecz raczej ze wskazaniem nieuchronności pamięci, a jednocześnie nieodwołalności jej dekompozycji.

„Dream Street” chyba w najbardziej dobitny sposób podkreśla sygnalizowane już wcześniej swoiste rozumienie czasu. Olivier Vargin w swej monografii poświęconej współczesnej sztuce Rosji przywołuje Dostojewskiego i Tarkowskiego, jako wcześniejszych uczestników tradycji, do której przypisuje też Chernyshevą. Autor wskazuje<sup>2</sup> na nostalgiczność realizacji artystki, dla której czas jest zawsze przeszły: utracony, zapomniany lub odtworzony.

---

<sup>1</sup> Benjamin W., *Pasaże*, przeł. Ireneusz Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 932.

<sup>2</sup> Vargin O. *Regards sur l'art contemporain russe*, L'Harmattan, Paris 2010, s. 104.

Problematyka obecna we wspomnianych instalacjach powraca także w fotografiach artystki. Zawsze układają się one w cykle i serie, często oparte na czytelnym koncepcie, a zawsze na szczególnej przenikliwości spojrzenia, pozwalającej wyodrębnić z rzeczywistości to, co istotne.

Szczególne miejsce zajmuje w jej dorobku wideo. Medium to zostało odkryte przez artystów w drugiej połowie lat 60. Jednak w wielu krajach bloku socjalistycznego — również w Rosji — z różnych przyczyn miało marginesowe znaczenie. Dziś zaległości odrabiane są w przyspieszonym tempie.

Chernysheva znajduje doskonałą równowagę między obserwacją, a subtelnie wpisanym w jej prace komentarzem. Inaczej niż Robakowski, artystka nie przemawia do widza. Jej postawa ujawnia się w zderzeniach obrazów, dźwięków, subtelnej inscenizacji. W jednym z najbardziej znanych wideo-filmów zatytułowanym „Train” ukazała pasażerów pociągu podczas niekreślonej bliżej podróży. Obrazom towarzyszy muzyka Mozarta, a kamera przemieszcza się pomiędzy wagonami ukazując kolejne postaci: zwyczajnych podróżnych, ale także „rezydentów” szukających schronienia w dalekobieżnych pociągach. Pociąg jest dla artystki metaforą Rosji — ogromnego imperium poprzecinanego siecią linii kolejowych, łączących ze sobą odległe od siebie obszary i umożliwiających przemieszczanie się obywateli. Jednocześnie mieszkańcy dalekobieżnych ekspresów — w pewnym sensie pozostają unieruchomieni, choć z drugiej strony przemierzają setki, a nawet tysiące kilometrów. Kolejny paradoks zmieniającej się rosyjskiej rzeczywistości. Czy jednostka w istocie przemierza ogromne przestrzenie Rosji, czy doświadczenie obywateli tego kraju nie sprowadza się do miejsca, które określa jego doczesny byt? Znaczenia pracy wyrastają tu w dużej mierze z formy, zestawienia obrazu ze ścieżką dźwiękową, stylizacji czarno-białych zdjęć, będących ruchomymi fotogramami, w których spotykają się po raz kolejny dwa porządki: dokumentalnej prawdy i dyskretnie stylizowanego „upiększenia”, pozwalającego przenieść pozornie banalnych bohaterów pracy w rodzaj wyidealizowanej, zmitologizowanej przestrzeni.

Moment przejścia ukazuje również projekt „Anonymous” składający się dwóch projekcji wideo, wykonanych z wykorzystaniem strategii ukrytej kamery. Ciekawe jest to, jak różnych strategii można użyć, by osiągnąć podobne efekty. „Train” to popis dopracowanej formy, z precyzyjnie dopracowaną pracą kamery, przemyślaną koncepcją plastyczną i starannie dobraną ścieżką muzyczną. „Anonymous” zaskakuje niezwykłą surowością — ingerencja artystki w zarejestrowany materiał jest minimalna, w drugiej części praktycznie żadna.

Olga Chernysheva podgląda dwie postaci. „Bohaterka” części pierwszej jest starszą kobietą widzianą zza drzew, za którymi ukrywa się operator. Chernysheva ukazuje ją podczas banalnej czynności: kobieta przebiera się w kostium kąpielowy, by następnie

opalać się na leśnej polanie. Tym czysto obserwacyjnym obrazom towarzyszy niediegetyczny komentarz: instruktaż dotyczący ćwiczeń mięśni pochwy. W drugim filmie widzimy kłoszarda, który znajduje butelkę wódki, a następnie przygotowuje sobie „drinka”, ukrywając się za krzakami odgradzającymi go od przechodniów.

Olga Chernysheva po raz kolejny przyjmuje pozycję obserwatora, który — jak niedgdyś Dziga Wiertow — rejestruje obrazy „na wszelki wypadek”, licząc, że nieoczekiwanie ujawnią one jakąś prawdę o rzeczywistości. Podglądani przez artystkę przypadkowi ludzie ponownie zostali ukazani jako postaci zawieszony między trzema sferami: tradycją sięgającą Rosji przedrewolucyjnej z jej rytuałami i stosunkiem do natury, wypartym, ale upominającym się o swoje czasem radzieckiego imperium, oraz wyzwaniem dzisiejszych czasów, w których Rosjanin — stając się w przyspieszonym tempie obywatelem świata — musi wpisać się w obowiązujące w nim normy, określające jak mamy wyglądać, jak spędzać wolny czas, jak dbać o zdrowie, seksualność, co mamy jeść, pić, gdzie i jak mamy odpoczywać...

Do zderzenia starego z nowym dochodzi także w „March”, powstałym również na bazie obserwacji zastanej rzeczywistości. Tym razem artystką kieruje swoją kamerę na paradę wojskową zorganizowaną na placu Suworowa. Wydarzenie, którego była przypadkowym świadkiem oczywiście wzbudziło skojarzenia z licznymi celebracjami „ku czci”, jakich nie brakowało w radzieckiej rzeczywistości. Tym razem przyczyną celebracji pozostaje w osobliwy sposób niedookreślona, tak jakby wrośnięta w rosyjską / radziecką naturę forma stała się całkowicie autonomiczna wobec treści. Niezależnie od braku możliwości zdefiniowania przyczyny, dla której żołnierze uczestniczą w paradzie, uważny widz dostrzeże napisy na kolorowych balonikach przywiązanych do metalowych barierkach ograniczających przestrzeń wydarzenia: „Gazprom” i „Panasonic. Ideas for Life”. Znajdują one oczywiście proste wytłumaczenie: wspomniane firmy zapewne sponsorowały paradę. Artystka jednak zwraca na nie uwagę z innego powodu: aby pokazać, jak dokonuje się kolejne przemieszczenie w rosyjskiej rzeczywistości, jak stare, dobrze zakorzenione w rzeczywistości kraju formy niepostrzeżenie wypełniają się nowymi, nie zawsze jednoznacznymi treściami.

Popularność wideo w Rosji jest ogromna. Świadectwem wagi tego medium może być fakt, że wspomniana wcześniej wystawa poświęcona historii rosyjskiego wideo doczekała się już trzeciej edycji. Przedstawiono na niej prace kilkudziesięciu artystów, w tym oczywiście również Olgi Chernyshevej, którzy często skutecznie dowiedli, że potencjał sztuki wideo — wbrew diagnozom niektórych krytyków zachodnich — nie wyczerpał się. Oczywiście przyczyn zainteresowania tą dziedziną jest wiele. Rosja — podobnie jak inne kraje postkomunistyczne — zapewne nadrabia zaległości powstałe

z przyczyn pozaartystycznych. Ale wydaje się też — i potwierdza to sztuka Olgi Chernyshevej — że rzeczywistość rosyjska jest szczególnie przyjazna oku elektronicznej kamery. Zmiana, paradoksy życia codziennego, rekonfiguracje ustalonych kodów — to wszystko wymaga zmysłu obserwacji i natychmiastowego reagowania. A także cierpliwości, której wzorem może być wspomniany we wstępie Józef Robakowski, obserwujący plac widziany z okna jego mieszkania przez ponad dwadzieścia lat. Rosyjskiej artystce nie brakuje żadnej z wspomnianych cnót — jest nie tylko *flâneuse*, ale również *glaneuse* — zbieraczką obrazów, z których układa zaskakujące kompozycje.

Ekaterina Degot<sup>1</sup> w artykule poświęconym twórczości rosyjskiej artystki posługuje się ciekawą metaforą, którą warto przywołać podsumowując dokonania Chernyshevej. Metaforą tą jest panorama, a ściślej Kinopanorama — zbudowana w 1959 jako ruchomy wariant malarskich panoram popularnych już w końcu XVIII wieku. Wynalazek ten pozwalał widzom zanurzyć się w przestrzeni mającej być niemal idealną symulacją rzeczywistości, otaczającej obserwatora ze wszystkich stron.

Moskiewska autorka zaczyna swoją interpretację od przywołania słów samej artystki podkreślającej zainteresowanie formą kolistą, nawracającą, na które nakłada się zgoła inna fascynacja: bezkształtnością. Zestawienie wydawałoby się paradoksalne, niemal wykluczające. Forma kolistą nie dość, że jest — z uwagi na swą idealną symetrię — najbardziej doskonała, to pozostaje także najbardziej zamknięta — jak precyzyjnie skonstruowany mechanizm. Amorficzność konotuje natomiast pełną otwartość, ciągłą możliwość nawarstwiania znaczeń, rozrostu kłacza multiplikujących się sensów. Sprzeczność jest jednak pozorna. W konkluzji artykułu autorka pisze:

Naiwny widz mógłby powiedzieć, że prace Chernyshevej ukazują nam Kinoramę, w momencie, kiedy film zaczyna się w projektorze. Zgodnie z logiką w tej właśnie chwili powinniśmy zobaczyć taśmę topiącą się od temperatury lampy, tak abyśmy mogli uczestniczyć w rodzaju requiem. Mniej naiwny widz dostrzeże jednak może, że mamy tu do czynienia z archeologią zbiorowego spojrzenia, które nie jest już dłużej zdolne zachować swej kolektywności z powodu braku odpowiedniego „obiektywu”. Panorama rozpadła się na indywidualne wizje, aparycje i subiektywne spojrzenia (w ten sposób ludzie patrzą bowiem na przeszłość Związku Radzieckiego, każdy na swój sposób). Całość została pokawałkowana w sposób niezdarny i zespolona z powrotem tak, że wszystkie szwy pozostają doskonale widoczne. Czym jest humanizm w tym czasie po-

---

<sup>1</sup> Ekaterina Degot, Olga Chernysheva and the Politics of the Panorama, Art Margins Online, [http://www.artmargins.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=160%3Aolga-chernysheva-and-the-politics-of-the-panorama&Itemid=133/](http://www.artmargins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=160%3Aolga-chernysheva-and-the-politics-of-the-panorama&Itemid=133/)

wszelkiej prywatyzacji? Czy to powrót indywidualnej osobowości? A może każdy z tych rozproszonych obrazów stanowi jednak część cudownie zachowanej całości?<sup>1</sup>

Jeśli zgodzimy się z Ekateriną Degot, za najważniejszy trop twórczości Olgi Chernyshevej należy uznać pamięć. Pamięć imperium, ale także imperium pamięci.

---

<sup>1</sup> Там же.

**К. Р. Пиотровская**

Российский государственный педагогический институт  
им. А.И.Герцена

## ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Р.Г.ПИОТРОВСКОГО. VIA SCIENTIARUM Р.Г.ПИОТРОВСКОГО

Раймунд Генрихович Пиотровский (1922–2009 гг.), почетный профессор Российского государственного педагогического института им. А.И.Герцена и кафедры ЮНЕСКО, действующей на базе Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии, иностранный член Польской академии науки и искусств и Академии кибернетики «Штефана Одobleжа», принадлежал к когорте российских ученых и педагогов, которые составляют гордость и славу мировой науки. Его научная жизнь является поучительным примером высокого служения делу науки и образования. Он никогда не останавливался на достигнутом в своем научном поиске, диапазон его научных интересов постоянно расширялся.

Пиотровский внес неоценимый вклад в развитие таких научных областей как: лингвистическая география, грамматика и стилистика романских языков, креолистика, семиотическая теория знака, психолингвистика, математическая, квантитативная и инженерная лингвистика, лингвистическая синергетика и, наконец, культурология. Под научным руководством профессора Пиотровского было защищено 134 кандидатских и 14 докторских диссертаций. Его перу принадлежало более 300 научных трудов, основные из которых были переведены в Германии, США, Великобритании и Японии. Многие из его работ сегодня можно с трудом купить лишь у букинистов в рубрике «научный бестселлер», эти книги ждут своего переиздания.

В рамках III Международного конгресса «Россия и Польша: Память империй / империи памяти» была проведена дискуссионная панель «Польский микрокосмос в Санкт-Петербурге», посвященная памяти профессора Раймунда Пиотровского, первого президента Санкт-Петербургского общества «Полония». В



течение первых 20 лет существования культурно просветительского общества «Полония» в Санкт-Петербурге, Раймунд Пиотровский являлся его председателем, а затем почетным председателем. На долгие годы он задал программу развития этого общества, основной задачей которого была реполонизация поляков, живущих в России [18]. Эта программа основывалась на триаде: язык, культура и вера.

Все двадцать лет существования Санкт-Петербургской Полонии, Р. Пиотровский достойно представлял эту организацию на международном уровне. Он участвовал в первой исторической встрече представителей мировой Полонии со Святым Отцом Иоанном Павлом II в Риме в 1990 г. Также он выступил инициатором и соучредителем Европейского объединения польских организаций.

Активная гражданская позиция профессора Р. Пиотровского была оценена высокими правительственными наградами республики Польша. В 1997г. он был





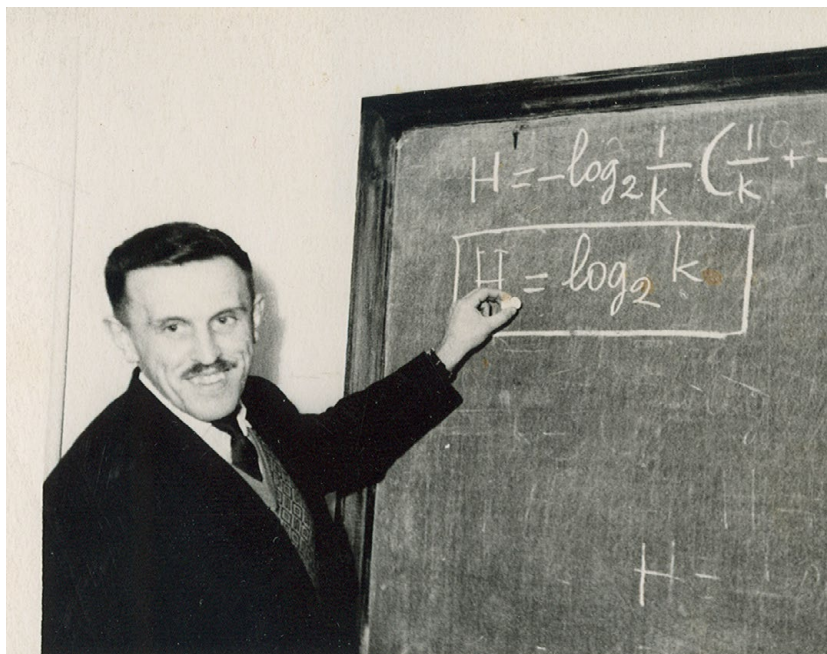
награжден офицерским, а в 2002 г. — Командорским крестами, имел ордена Заслуги РП, а также Командорский крест с большой лентой ордена Заслуги, которые были присвоены ему в 2009 г. В благодарность за вклад в развитие мирового полонийного движения, библиотеке Дома Польского в Санкт-Петербурге в январе 2010г. было присвоено имя Раймунда Пиотровского.



Р. Г. Пиотровский родился 17 августа 1922 г. в городе Рубежная на Донбассе в семье инженера-химика. Его отец, Хенрик Пиотровский, коренной варшавянин, сын нотариуса, учился в университете г. Краков, а затем получил степень магистра и доктора наук (Ph.D.) в области химии в университете в г. Берн. Во время I Мировой войны в 1915 г. он был эвакуирован вместе с военным химическим предприятием «Русско-Краска» в Москву, а затем переведён на новый химический комбинат на станцию Рубежная (Донбасс), где он работал в должности главного инженера завода. Мать Раймунда Генриховича, Ксения Семёновна Пиотровская, урождённая Сцепуро, происходила из белорусско-русской семьи духовного звания с польскими и немецкими корнями из г. Брест, перед Октябрьской революцией получила образование в Петербурге, где жила и работала. Однако, во время голода в 1919 году вместе со своей семьёй она переехала из Петрограда на Донбасс и остановилась в г. Рубежная, где и познакомилась с Хенриком Пиотровским.

По воспоминаниям Раймунда Генриховича детство, проведенное на Украине, было очень благополучным и счастливым. Отец занимался делами завода, руководил любительским театром. В доме часто собиралась местная интеллигенция, среди которой было много выходцев из Польши. Мальчик рос двуязычным: с отцом он говорил по-польски, с матерью — по-русски. Однако в 1929 году Генрих Антонович был арестован по делу Промпартии и расстрелян в 1931 г. После гибели отца, чтобы избежать дальнейших репрессий, осиротевшая семья спешно вернулась в Ленинград. Здесь Раймунд Пиотровский, закончив среднюю школу с отличием, поступил на романское отделение филологического факультета Ленинградского университета. Его учителями были такие блестящие советские филологи, как Л.В.Щерба, В.Ф.Шишмарёв, С.Н.Берков, Р.А.Будагов, И.И.Толстой, Л.Р.Зиндер, В.Я.Пропп, Е.А. Реферовская.

Через три года после окончания филологического факультета, успешно защитив кандидатскую диссертацию в 1947 г. по теме: «Язык и стиль Ж. Ж. Руссо в его “Исповеди”», он начинает свою педагогическую карьеру в Ленинградском университете в качестве ассистента и совмещает ее с научными исследованиями в Институте истории, языка и литературы АН СССР. Однако, будучи человеком честолюбивым, независимым и инициативным, 25-летний, совсем молодой ученый выигрывает конкурс на замещение вакантной должности заведующего кафедрой сразу в двух институтах: Ленинградском институте культуры им. Н.К.Крупской и в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И.Герцена. Выбрав Герценовский университет, он одновременно возглавил факультет романских языков, в качестве декана, а также кафедру романской филологии.



В этот же период, начиная с 1946 г., он принимает деятельное участие в ряде диалектологических экспедиций, организуемых на территории Молдавии, работает над вопросником для Молдавского лингвистического атласа. Научные интересы этого периода были связаны с вопросами сравнительной грамматики и фонетики восточно-романских языков и лингвистической географией, это направление научной деятельности позволило проводить научные исследования с живым романским языком [1].

В 1956 г., после окончания докторантуры, Р.Г.Пиотровский защитил в Институте языкознания АН СССР докторскую диссертацию по теме: «О формировании определённого артикля в романских языках» [5;3]. С 1956–1958 гг. он занимался вопросами диалектологии и экспериментальной фонетики в Молдавском отделении Института языкознания АН СССР, а затем вплоть до 1975 г. работал в качестве научного сотрудника в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР. В этот период, интересуясь проблемами теоретико-вероятностного моделирования естественно-языковых процессов, он организует исследовательские группы: сначала в Бельцком педагогическом институте, а за-

тем, в середине 60-х годов, научную группу в Минском институте иностранных языков.

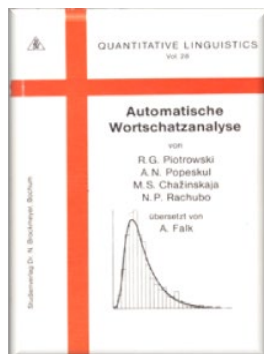
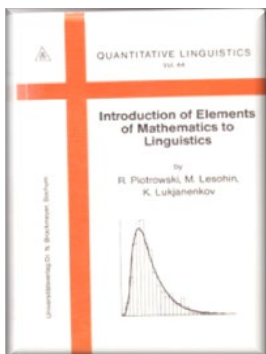
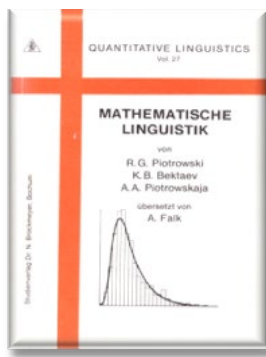
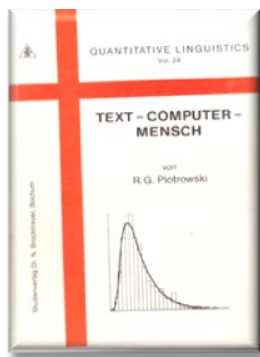
С 1966 года, Р.Г.Пиотровский вернулся к преподавательской деятельности на факультете иностранных языков Ленинградского педагогического института им. А.И.Герцена. Здесь в разные годы он возглавлял кафедры испанского, затем французского языка и, наконец, кафедру романской филологии.

В 1966 г., в Педагогическом университете им. А.И.Герцена Р. Г. Пиотровский организовал и возглавил лабораторию инженерной лингвистики. В лаборатории проводились статистические исследования речи и строились системы автоматической переработки текста, в том числе системы машинного перевода [6; 7; 17]. Занимаясь проблемами автоматической переработки текста, профессор Пиотровский создал Всесоюзную группу «Статистика речи», филиалы которой работали практически во всех крупных городах бывшего Советского Союза и даже за рубежом.



Работа этого периода позволила Р.Г.Пиотровскому создать и теоретически обосновать новое направление в языкознании, которое он назвал «Инженерная лингвистика» [8]. Термин «инженерная» здесь подчеркивал суть исследований, которые проводились на стыке наук: лингвистики, математики и информатики. Неизменными требованиями к этим исследованиям были: реализация «инженерного подхода», доказательность и практическая значимость получаемых результатов. В 80–90 гг. в лаборатории инженерной лингвистики, и организованной на ее базе в эти годы, отраслевой научно-исследовательской лаборатории машинного перевода, была создана коммерческая многоязыковая система машинного перевода SILOD/MULTIS. Система разрабатывалась для перевода на русский язык с основных европейских языков, некоторых восточных язы-

ков; также рассматривались задачи обратного перевода. Идеи и результаты по созданию систем машинного перевода, выработанные под руководством Р.Г.Пиотровского, успешно применяются коммерческой компанией PROMT при создании программ машинного перевода с некоторых европейских языков на русский и обратно [16]. Опыт создания практической системы машинного перевода был обобщен Пиотровским в теории лингвистических автоматов [9].



Многие годы Р.Г.Пиотровский являлся активным членом международной ассоциации «International Quantitative Linguistics» [15]. В области квантитативной лингвистики широко применяется закон Пиотровского, который описывает процесс восприятия иноязычных лексических элементов [13]. Сегодня этот закон активно применяется немецкими исследователями при изучении тенденций развития в русском языке, а также динамики заимствования в немецком

и венгерском языках [12]. Это творческое сотрудничество позволило осуществить перевод и издание на немецком и английском языках ряда книг профессора и его учеников [4,19].



В 2002 г. Р.Г.Пиотровский создал и возглавил межвузовский центр теоретических и прикладных компьютерных исследований в филологии. В рамках этого центра успешно проводились исследования в области лингвистической синергетики и патологии речемыслительной деятельности человека [2, 10]. В своих последних работах профессор Пиотровский, анализируя основные этапы становления филологии, выделил новый этап в развитии филологической парадигмы, который он назвал синергетическим [10]. Новая синергетическая парадигма филологии характеризуется выявлением скрытых от прямого наблюдения механизмов самоорганизации и саморазвития языковых явлений. В филологии эта новая парадигма опирается на фундаментальные представления о языке как об открытой самоорганизующейся «мягкой» системе.

Р.Г. Пиотровский всячески поддерживал инновационные изменения в парадигме гуманитарного знания. В течение многих десятилетий, он выступал бескомпромиссным борцом за построение новой филологической парадигмы на доказательной основе, а также призывал представителей иных более молодых гуманитарных наук вырабатывать собственный доказательный инструментарий [3]. Как представитель символической школы, одной из наиболее влиятельных современных школ современной культурологии, Раймунд Генрихович писал: «...Крайне важно, не теряя темпа развития, серьезно заняться разработкой технологического комплекса верификационных приемов, с помощью которых можно было бы оценивать достоверность и полезность предположений, выдвигаемых в изобилии культурологами разных направлений» [11]. Он с интересом принял участие в двух первых Российских культурологических конгрессах, являлся ведущим научным сотрудником сектора фундаментальных исследований культуры Санкт-Петербургского филиала института культурологии. В 2005 г., профессор выступил в качестве руководителя проекта, поддержанного грантом РФФИ, под названием «Концептуально-теоретический анализ экстремальных и оптимальных условий бытия культуры». В 2007 году ему было присвоено звание профессора кафедры ЮНЕСКО Российского института культурологии.

За долгий путь в науке и общественной жизни, Раймунду Генриховичу удалось приоткрыть завесу дальнейшего развития не только филологии, но всего гуманитарного знания. Еще в середине 50-х годов он предложил, опираясь на исследования В.Я. Буняковского, А.М. Пешковского и Н. А. Морозова, а также, опираясь на успехи тогда еще молодой науки кибернетики, использовать аппарат математической статистики и теории множеств и моделирования для построения эффективных моделей для извлечения филологических знаний, скрытых от непосредственного наблюдения и, тем самым, способствовал дальнейшему усилению доказательных методик в гуманитарных областях знания [3].

Принципиальность, целеустремленность, трудолюбие, высокий уровень требовательности к себе и к своему окружению позволила сохранить Раймунду Генриховичу долголетие в науке и общественной жизни. До самых последних дней он сохранял интерес к науке, жизни и к людям. Несмотря на тяжелую болезнь, он был полон научных планов на будущее. В общении с коллегами и учениками его отличала необыкновенная демократичность, он никогда не жалел своего личного времени для того, чтобы помочь советом и поделиться своей мудростью.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лисицкий В. А., Пиотровский Р.Г. Вопросник Молдавского Лингвистического Атласа.- Кишинев: Изд. МФАН, 1960.- 231 с.
2. Пашковский В.Э., Пиотровская В.Р., Пиотровский Р.Г. Психиатрическая лингвистика. М.: Изд-во УРСС, 2013. — 187с.
3. Пиотровская В. Р., Пиотровская К. Р., Пиотровский Р. Г., Романов Ю. В. Культурология: от бесед за чашкой кофе к доказательно-экспериментальной парадигме современной науки // Фундаментальные проблемы культурологии: в 4-х тт. Том IIII: Культурная динамика. Отв. ред. Д. Л. Спивак. — СПб.: Алтейя, 2008.- 518 с.
4. Пиотровский Р. Г., Бектаев К. Б., Пиотровская А. А. Математическая лингвистика. Учеб. пособие для пед. институтов. М.: Высшая школа, 1977.- 383 с.
5. Пиотровский Р.Г. Формирование артикля в романских языках. (Выбор формы). — Л.: Изд. АН СССР; М.: Изд-во УРСС, 1960; 2007. — 175с.
6. Пиотровский Р.Г. Информационные измерения языка. Л.: Наука ЛО, 1968. — 166 с.
7. Пиотровский Р.Г. Текст, машина, человек. Л.: Наука ЛО, 1975.- 328 с.
8. Пиотровский Р.Г. Инженерная лингвистика и теория языка. — Л.: Наука, 1979.-121 с.
9. Пиотровский Р.Г. Лингвистический автомат. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 1999. –254с.
10. Пиотровский Р.Г. Лингвистическая синергетика. Исходные положения, первые результаты, перспективы. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2006.- 158с.
11. Пиотровский Р.Г. Технологии культурологических исследований. //Культурное многообразие: от прошлого к будущему. Тезисы докладов II Российского культурологического конгресса. СПб.:Эйдос, 2008. — С.108–109
12. Altmann, G., v. Buttlar, H., Rott, W., Strauß, U. A law of change in language. In: Historical linguistics. Brainerd, B. (ed.). Bochum: Brockmeyer, 1983. — P. 104–115.
13. Altmann, G. Das Piotrowski-Gesetz und seine Verallgemeinerungen. In: Best, K.-H., Kohlhase, J. (Hrsg.), Exakte Sprachwandelforschung: Göttingen: Herodot., 1983.- P.54–90.
14. Kelih E. Bedeutung der Gruppe “Statistika Reči”. //Geschite der Anwendung quantitativer Verfahren in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft. Studien zur Slavistik. Band 19. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2008. P. 205–227.
15. Köhler R., Altmann G., Piotrowski R.. Quantitative Linguistik. Quantitative Linguistik. Ein internationales Handbuch. Quantitative Linguistics. An international Handbook. Berlin, New York: W. de Gruyter, 2005. — 1041p.
16. Piotrowska X., Piotrowski R., Romanov Yu., Zaitseva N., Blekhman M. MT in the former USSR and in the new Russia; ed. M.S.Blekhman. — New Delhi : Bahri Publications, 2001. P. 87–104



17. Piotrowski R. Text — Computer — Mensch. — Bochum : Brockmeyer, 1984. — 422 p.
18. Piotrowski R. Polacy w Petersburgu: kartki historii. // Polonica Petropolitana ; вып. 2, — SPb, 2001.— 47p.
19. Piotrowski R., Bektaev K.B., Piotrowskaja A.A.. Mathematische linguistik — Bochum : Brockmeyer, 1985. — 514 p.

(Иллюстрации предоставлены автором)

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

*Баженова Анна Юрьевна* — кандидат исторических наук, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Украина, аспирантка Люблинского Католического Университета Иоанна Павла II, Институт Истории, кафедра истории историографии и методологии истории

*Bażenowa Anna Jurjewna* — doktor nauk historycznych (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina), doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii

*Вирен Денис Георгиевич* — эксперт по вопросам кино в Польском культурном центре в Москве, аспирант Государственного института искусствознания

*Wiren Denis Georgijewicz* — ekspert ds kina w Polskim Centrum Kulturalnym w Moskwie, doktorant Państwowego Instytutu Sztuki

*Вовина-Лебедева Варвара Гелиевна* — старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, кандидат исторических наук

*Wowina-Lebiediewa Warwara Gelijewna* — starszy pracownik naukowy Instytutu Historii RAN w Sankt-Petersburgu, doktor nauk historycznych

*Заморски Кишиштоф* — профессор Ягеллонского университета, Краков

*Zamorski Krzysztof* — profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

*Крокош Павел* — Папский университет Иоанна Павла II, Краков, доктор наук

*Krokosz Paweł* — Papieski Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków, doktor habilitowany

*Куля Мартин* — преподаватель Варшавского университета

*Kula Martin* — Uniwersytet Warszawski

*Лукоянов Игорь Владимирович* — заведующий отделом Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук

*Łukojanow Igor' Władimirowicz* — kierownik Oddziału Sankt-Petersburskiego Instytutu Historii RAN, doktor habilitowany nauk historycznych

*Люсий Александр Павлович* — старший научный сотрудник сектора теории искусства Российского института культурологии, Москва, кандидат культурологии

*Lusyj Aleksandr Pawłowicz* — starszy naukowy pracownik Oddziału Teorii Sztuki Rosyjskiego Instytutu Kulturologii, Moskwa, doktor sztuki

*Марков Борис Васильевич* — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философской антропологии Санкт-Петербургского государственного университета

*Markow Boris Wasiljewicz* — doktor habilitowany nauk filozoficznych, profesor, Kierownik Katedry Antropologii Filozoficznej Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego

*Мусхелишвили Николай Львович* — главный научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, ректор Института философии, теологии и истории св. Фомы, Москва, доктор психологических наук, профессор

*Muscheliszwili Nikołaj Lwowicz* — główny naukowy pracownik Instytutu Problemów Przekazu Informacji RAN, rektor Instytutu Filozofii, Teologii i Historii św. Tomasza, Moskwa, doktor habilitowany nauk psychologicznych, profesor

*Нардова Валерия Антониновна* — доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела новой истории Санкт-Петербургского Института истории РАН

*Nardowa Waleria Antoninowna* — doktor habilitowany nauk historycznych, główny naukowy pracownik Oddziału Historii Współczesnej Sankt-Petersburskiego Instytutu Historii RAN

*Ныч Рышард* — профессор Ягеллонского университета, Краков

*Nycz Ryszard* — Uniwersytet Jagielloński, Kraków, profesor

*Пиотровская Ксения Раймондовна* — доктор педагогических наук, профессор кафедры информатики Российского педагогического университета им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург

*Piotrowska Ksenia Rajmondowna* — doktor habilitowany nauk pedagogicznych, profesor Katedry Informatyki Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A.I. Hercena, Sankt-Petersburg

*Питрус Анджей* — профессор Ягеллонского университета, Краков

*Pitrus Andrzej* — profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

*Прозерский Вадим Викторович* — профессор Санкт-Петербургского Государственного университета, философский факультет, кафедра эстетики и философии культуры, доктор философских наук

*Prozerskij Wadim Wiktorowicz* — profesor Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, Wydział Filozoficzny, Katedra Estetyki i Filozofii Kultury, doktor habilitowany nauk filozoficznych

*Сафонов Михаил Михайлович* — старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, кандидат исторических наук

*Safonow Michał Michajłowicz* — starszy pracownik naukowy Sankt-Petersburskiego Instytutu Historii RAN, doktor nauk historycznych

*Свердлов Михаил Борисович* — главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор

*Swierdłow Michał Borysowicz* — główny pracownik naukowy Sankt-Petersburskiego Instytutu RAN, doktor habilitowany nauk historycznych, profesor

*Спивак Дмитрий Леонидович* — директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии, доктор филологических наук, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культуры и межрелигиозного диалога

*Spiwak Dmitrij Leonidowicz* — dyrektor Sankt-Petersburskiego Oddziału Rosyjskiego Instytutu Kulturologii, doktor habilitowany nauk filologicznych, kierownik katedry UNESCO do spraw badań porównawczych, specyfiki ich kultur i dialogu międzyreligijnego

*Степанова Полина Михайловна* — кандидат искусствоведения, доцент кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства

*Stiepanowa Polina Michajłowna* — doktor sztuki, docent katedry Sztuki Zagranicznej Sankt-Petersburskiej Akademii Państwowej Sztuki Teatralnej

*Тульчинский Григорий Львович* — профессор национального исследовательского университета — Высшая школа экономики, Санкт-Петербург, кафедра прикладной политологии, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

*Tulczynskij Grigorij Lwowicz* — profesor Narodowego Badawczego Uniwersytetu — Wyższa Szkoła Gospodarki, Sankt-Petersburg, Katedra Politologii Stosowanej, doktor habilitowany nauk filozoficznych, profesor, zasłużony działacz nauki Federacji Rosyjskiej

*Фалькович Светлана Михайловна* — ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии наук, Москва, доктор исторических наук

*Falkowicz Swietłana Michajłowna* — wiodący pracownik naukowy Instytutu Sławistyki RAN, Moskwa, doktor habilitowany nauk historycznych

*Хренов Николай Андреевич* — заместитель директора по научной работе Государственного института искусствознания, доктор философских наук, профессор

*Chrienow Nikołaj Andriejewicz* — zastępca dyrektora d/s nauki Państwowego Instytutu Sztuki, doktor habilitowany nauk filozoficznych, profesor

*Шевцов Константин Павлович* — старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, философский факультет, кандидат философских наук

*Szewcow Konstantin Pawłowicz* — starszy wykładowca Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu, Wydział Filozoficzny, doktor nauk filozoficznych